

издательский дом «дети»

МИР
ЛИТЕРАТУРНЫХ
ГЕРОЕВ



Коллекция
«Фантастика»



Об авторе

На своем надгробии Воннегут попросил написать такую эпитафию: *«Для него необходимым и достаточным доказательством существования Бога была музыка»*.

Вероятно, *Курт Воннегут* (1922—2007) — самый плодовитый и известный из «черных» юмористов 1950—1960-х годов. Его палитра художественных приемов, стилей и жанров очень широка — сатира, научная фантастика, неоавангард. Родился он в Индианаполисе, и этот город стал сценой для многих его произведений.

После окончания университета Корнелл в штате Нью-Йорк, где Воннегут участвовал в издании студенческой газеты, он отправился воевать в Европу. И оказался одним из семи военнопленных, уцелевших во время страшной бомбардировки Дрездена в 1945 году. Эти события Воннегут описал в романе *«Бойня номер пять, или Крестовый поход детей»* (1969).

Работа полицейским репортером в бюро новостей в Чикаго, как утверждал впоследствии Воннегут, помогла ему найти собственный литературный стиль. После неудачной защиты диссертации будущий писатель переехал в город Скенектеди и устроился в отдел связей с общественностью корпорации *«General Electric»*.

Открывает список произведений Воннегута фантастический роман «Механическое пианино» (1952), в русском переводе — «Утопия 14». Следующая вещь, «Сирены титана» (1959), считается пародией на научную фантастику. А за «Колыбель для кошки» (1963) Курту Воннегуту присудили степень магистра ... антропологии. В романе «Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельник» (1975) острая сатира направлена на положение дел со свободной продажей оружия в США. Последствия взрыва нейтронной бомбы он описал в романе «Малый не промах» (1982).

На протяжении всего творчества Курта Воннегута волновала тема «однобокого» развития цивилизации — в сторону усиления технологий, без углубления нравственных ценностей. Особенно ярко эта тема прозвучала в романе «Галапагосы» (1985).

*Кеннету Литтауэру,
человеку смелому и благородному*

Нет в этой книге правды, но «эта правда — ф́ома, и от нее ты станешь добрым и храбрым, здоровым, счастливым».

«Книга Боконона» 1:5

«Безобидная ложь — ф́ома»

*1. День,
когда настал конец света*

Можете звать меня Ионой. Родители меня так называли, вернее, чуть не называли. Они меня называли Джоном.

Иона-Джон — будь я Сэмом, я все равно был бы Ионой, и не потому, что мне всегда сопутствовало несчастье, а потому, что меня неизменно куда-то заносило¹ — в определенные места, в определенное время, кто или что — не знаю. Возникал повод, предоставлялись средства передвижения — и самые обычные и весьма странные. И точно по плану, именно в назначенную секунду, в назначенном месте появлялся сей Иона.

Послушайте.

Когда я был моложе — две жены тому назад, 250 тысяч сигарет тому назад, три тысячи литров спиртного тому назад...

Словом, когда я был гораздо моложе, я начал собирать материалы для книги под названием *День, когда настал конец света*.

Книга была задумана документальная.

Была она задумана как отчет о том, что делали выдающиеся американцы в тот день, когда сбросили первую атомную бомбу на Хиросиму в Японии.

¹ По библейскому преданию, Иона был занесен в чрево кита.

Эта книга была задумана как книга христианская. Тогда я был христианином.

Теперь я — боконист.

Я бы и тогда стал боконистом, если бы кто-нибудь преподал мне кисло-сладкую ложь Боконона. Но о боконизме никто не знал за пределами песчаных берегов и коралловых рифов, окружавших крошечный остров в Карибском море — Республику Сан-Лоренцо.

Мы, боконисты, веруем в то, что человечество разбито на группы, которые выполняют Божью волю, не ведая, что творят. Боконон называет такую группу *карасс* — и в мой личный *карасс* меня привел мой так называемый *канкан* — и этим *канканом* была моя книга, та недописанная книга, которую я хотел назвать *День, когда настал конец света*.

2. Хорошо, хорошо, это очень хорошо

«ЕСЛИ вы обнаружите, что ваша жизнь переплелась с жизнью чужого человека, без особых на то причин, — пишет Боконон, — этот человек скорее всего член вашего *карасса*».

И в другом месте, в *Книгах Боконона*, сказано: «Человек создал шахматную доску, Бог создал *карасс*». Этим он хочет сказать, что для *карасса* не существует ни национальных, ни ведомственных, ни профессиональных, ни семейных, ни классовых преград.

Он лишен определенной формы, как амеба.

Пятьдесят третья калипсо, написанное для нас Боконном, поется так:

И пьянчужки в парке,
Лорды и кухарки,
Джефферсоновский шофер

И китайский зубодер,
Дети, женщины, мужчины —
Винтики одной машины.
Все живем мы на Земле,
Варимся в одном котле.
Хорошо, хорошо,
Это очень хорошо.

3. Глупость

Боконон нигде не предостерегает вас против людей, пытающихся обнаружить границы своего *карасса* и разгадать промысел Божий. Боконон просто указывает, что такие поиски довести до конца невозможно.

В автобиографической части *Книг Боконона* он приводит притчу о глупости всякой попытки что-то открыть, что-то понять:

«Когда-то в Ньюпорте, Род-Айленд, я знал одну даму епископального вероисповедания, которая попросила меня спроектировать и построить конуру для ее датского дога. Дама считала, что прекрасно понимает и Бога, и пути Господни. Она никак не могла понять, почему люди с недоумением смотрят в прошлое и в будущее.

И однако, когда я показал ей чертеж конуры, которую я собирался построить, она мне сказала: «Извините, я в чертежах не разбираюсь».

— Отдайте мужу или духовнику, пусть передадут Богу, — сказал я, — и если Бог найдет свободную минутку, я не сомневаюсь — он вам так растолкует мой проект конуры, что даже вы поймете.

Она меня выгнала. Но я ее никогда не забуду. Она верила, что Бог гораздо больше любит владельцев яхт, чем владельцев

простых моторок. Она видеть не могла червяков. Как увидит червяка, так и завизжит.

Она была глупа, и я глупец, и всякий, кто думает, что ему понятны дела рук Господних, тоже глуп». (Так пишет Боконон.)

4. Попытка поискать пути

Как бы то ни было, я собираюсь рассказать в этой книге как можно больше о членах моего *карасса* и попутно выяснить по непреложным данным, что мы все, скопом, натворили.

Я вовсе не собираюсь сделать из этой книги трактат в защиту боконизма. Однако я, как боконист, хотел бы сделать одно предупреждение. Первая фраза в *Книгах Боконона* читается так:

«Все истины, которые я хочу вам изложить, — гнусная ложь».

Я же, как боконист, предупреждаю:

Тот, кто не поймет, как можно основать полезную религию на лжи, не поймет и эту книжку.

Да будет так.

А теперь — о моем *карассе*.

В него, конечно, входят трое детей доктора Феликса Хонникера, одного из так называемых «отцов» атомной бомбы. Сам доктор Хонникер, безусловно, был членом моего *карасса*, хотя он умер, прежде чем мои *синуусики*, то есть вьюнки моей жизни, переплелись с жизнями его детей.

Первый из его наследников, кого коснулись усики моих *синуусиков*, был Ньютон Хонникер, младший из двух сыновей. Я узнал из бюллетеня моей корпорации «Дельта-ипсилон», что Ньютон Хонникер, сын лауреата Нобелевской премии физика Феликса Хонникера, был принят кандидатом в члены моей корпорации при университете Корнелл.



И я написал Ньюту следующее письмо:

«Дорогой мистер Хонникер. (Может быть, следует написать: «Дорогой мой брат Хонникер»?)

Я, член корпорации Корнелла «Дельта-ипсилон», сейчас зарабатываю на жизнь литературным трудом. В данное время собираю материал для книги о первой атомной бомбе. В книге я коснусь только событий, имевших место 6 августа 1945 года, то есть в тот день, когда была сброшена бомба на Хиросиму.

Так как всеми признано, что ваш покойный отец — один из создателей атомной бомбы, я был бы очень благодарен за любые сообщения о том, как прошел в доме вашего отца день, когда была сброшена бомба.

К сожалению, должен сознаться, что знаю о вашем прославленном семействе куда меньше, чем следовало бы, так что мне неизвестно, есть ли у вас братья и сестры. Но если они у вас есть, мне очень хотелось бы получить их адреса, чтобы и к ним обратиться с той же просьбой.

Я понимаю, что вы были совсем маленьким, когда сбросили бомбу, но тем лучше. В своей книге я хочу подчеркнуть главным образом не техническую сторону вопроса, а отношение людей к этому событию, так что воспоминания «младенца», если разрешите так вас называть, органически войдут в книгу.

О стиле и форме не беспокойтесь. Предоставьте это мне. Дайте мне просто голый скелет ваших воспоминаний.

Разумеется, перед публикацией я вам пришлю окончательный вариант на утверждение.

С братским приветом — ...»

5. Письмо от студента-медика

Вот что ответил Ньют:

«Простите, что так долго не отвечал. Вы как будто задумали очень интересную книгу. Но я был так мал, когда сбросили бомбу, что вряд ли смогу вам помочь. Вам надо обратиться к моим брату и сестре — они много старше меня. Мою сестру зовут миссис Гэрисон С. Коннерс, 4918 Норс Меридиен стрит, Индианаполис, штат Индиана. Сейчас это и мой домашний адрес. Думаю, что она охотно вам поможет. Никто не знает, где мой брат Фрэнк. Он исчез сразу после похорон отца два года назад, и с тех пор о нем ничего не известно. Возможно, что его и нет в живых.

Мне было всего шесть лет, когда сбросили атомную бомбу на Хиросиму, так что я вспоминаю этот день главным образом по рассказам других.

Помню, как я играл на ковре в гостиной, около кабинета отца. На нем были пижама и купальный халат. Он курил сигару. Он крутил в руках веревочку. В тот день отец не пошел в лабораторию и просидел дома в пижаме до вечера. Он оставался дома когда хотел.

Как вам, вероятно, известно, отец всю свою жизнь проработал в научно-исследовательской лаборатории Всеобщей сталелитейной компании в Илиуме. Когда был выдвинут Манхэттенский проект, проект атомной бомбы, отец отказался уехать из Илиума. Он заявил, что вообще не станет работать над этим, если ему не разрешат работать там, где он хочет. Почти всегда он работал дома. Единственное место, кроме Илиума, куда он любил уезжать, была наша дача на мысе Код.

Там, на мысе Код, он и умер. Умер он в сочельник. Но вам, наверно, и это известно.

Во всяком случае, в тот день, когда бросили бомбу, я играл на ковре около отцовского кабинета. Сестра Анджела рассказывает, что я часами играл с заводными грузовичками, приговаривая: „Бип-бип-тррр-трррр...“ Наверно, я и в тот день, когда сбросили бомбу, гудел: „Тррр“, а отец сидел у себя в кабинете и играл с веревочкой.

Случайно я знаю, откуда он взял эту веревочку. Может быть, для вашей книги и это пригодится. Отец снял эту веревочку с рукописи — один человек прислал ему свой роман из тюрьмы. Роман описывал конец света в двухтысячном году, он так и назывался: *Анно Домини, 2000*. Там описывалось, как психопаты-ученые сделали чудовищную бомбу, стершую все с лица земли. Когда люди узнали, что скоро конец света, они устроили чудовищную оргию, а потом, за десять секунд до взрыва, появился сам Иисус Христос. Автора звали Марвин Шарп Холдернесс, и в письме, приложенном к роману, он писал отцу, что попал в тюрьму за убийство своего родного брата. Рукопись он прислал отцу, потому что не мог придумать, каким взрывчатым веществом начинить свою бомбу. Он просил отца что-нибудь ему подсказать.

Не подумайте, что я читал эту рукопись, когда мне было шесть лет. Она валялась у нас дома много лет. Мой брат, Фрэнк, пристроил ее у себя в комнате в „стенном сейфе“, как он говорил. На самом деле никакого сейфа у него не было, а был старый дымоход с жестяной вьюшкой. Сто тысяч раз мы с Фрэнком еще мальчишками читали описание оргии. Рукопись лежала у нас много лет, но потом моя сестра Анджела нашла ее. Она

все прочла, сказала, что это дрянь, сплошная мерзость, просто гадость. И она сожгла рукопись вместе с веревочкой. Анджела была нам с Фрэнком матерью, потому что родная наша мать умерла, когда я родился.

Я уверен, что отец так и не прочитал эту книжку. Помоему, он и вообще за всю свою жизнь, с самого детства, не прочел ни одного романа, даже ни одного рассказика. Он никогда не читал ни писем, ни газет, ни журналов. Вероятно, он читал много научной литературы, но, по правде говоря, я никогда не видел отца за чтением.

Из всей той рукописи ему пригодилась только веревочка. Он всегда был такой. Невозможно было предугадать, что его заинтересует. В день, когда сбросили бомбу, его заинтересовала веревочка.

Читали ли вы речь, которую он произнес при вручении ему Нобелевской премии? Вот она вся целиком: „Леди и джентльмены! Я стою тут, перед вами, потому что всю жизнь я озирался по сторонам, как восьмилетний мальчишка весенним днем по дороге в школу. Я могу остановиться перед чем угодно, посмотреть, подумать, а иногда чему-то научиться. Я очень счастливый человек. Благодарю вас“.

Словом, отец играл с веревочкой, а потом стал переплетать ее пальцами. И сплел такую штуку, которая называется „колыбель для кошки“. Не знаю, где отец научился играть с веревочкой. Может быть, у своего отца. Понимаете, его отец был портным, так что в доме, когда отец был маленьким, всегда валялись нитки и тесемки.

До того как отец сплел „кошкину колыбель“, я ни разу не видел, чтобы он, как говорится, во что-то играл. Ему неинтересны были всякие забавы, игры, всякие правила, кем-то выдуманные. Среди вырезок, которые собирала моя сестра Анджела, была заметка из журнала „Тайм“.

Отца спросили, в какие игры он играет для отдыха, и он ответил: „Зачем мне играть в выдуманные игры, когда на свете так много настоящей игры“.

Должно быть, он сам удивился, когда нечаянно сплел из веревочки „кошкину колыбель“, а может быть, это напомнило ему детство. Он вдруг вышел из своего кабинета и сделал то, чего раньше никогда не делал: он попытался поиграть со мной. До этого он не только со мной никогда не играл, он почти со мной и не разговаривал.

А тут он опустился на колени около меня, на ковер, и оскалил зубы, и завертел у меня перед глазами переплет из веревочки. „Видал? Видал? Видал? — спросил он. — Кошкина колыбель. Видишь кошкину колыбель? Видишь, где спит котенок? Мяу! Мяу!“

Поры на его коже казались огромными, как кратеры на луне. Уши и ноздри заросли волосом. От него несло сигарным дымом, как из врат ада. Ничего безобразнее, чем мой отец вблизи, я в жизни не видал. Мне и теперь он часто снится.

И вдруг он запел: „Спи, котенок, усни, угомон тебя возьми. Придет серенький волчок, схватит киску за бочок, серый волк придет, колыбелька упадет...“

Я заревел. Я вскочил и со всех ног бросился вон из дому.

Придется кончать. Уже третий час ночи. Мой сосед по комнате проснулся и жалуется, что машинка очень гремит».

6. Война жуков

НЬЮТ дописал письмо на следующее утро. Вот что он написал:

«Утро. Пишу дальше, свежий как огурчик после восьмичасового сна. В нашем общежитии сейчас тишина. Все на лекциях, кроме меня. Я — личность привилегированная. Мне на лекции ходить не надо. На прошлой неделе меня исключили... Я был медиком-первокурсником. Исключили меня правильно. Доктор из меня вышел бы препаршивый.

Кончу это письмо и, наверно, схожу в кино. А если выглянет солнце, пойду погуляю вдоль обрыва. Красивые тут обрывы, верно? В этом году с одного из них бросились две девчонки, держась за руки. Они не попали в ту корпорацию, куда хотели. Хотели они попасть в „Три-Дельта“.

Однако вернемся к августу 1945 года. Моя сестра Анджела много раз говорила мне, что я очень обидел отца в тот день, когда не захотел полюбоваться „кошкиной колыбелью“, не захотел посидеть на ковре и послушать, как отец поет. Может, я его и обидел, только, по моему, он не мог обидеться всерьез. Более защищенного от обид человека свет не видал. Люди никак не могли его задеть, потому что людьми он не интересовался. Помню, как-то раз, незадолго до его смерти, я пытался его заставить хоть что-нибудь рассказать о моей матери. И он ничего не мог вспомнить.

Слыхали ли вы знаменитую историю про завтрак в тот день, когда отец с матерью уезжали в Швецию получать Нобелевскую премию? Об этом писала „Сатердей ивнинг пост“. Мать приготовила прекрасный завтрак... А потом, убирая со стола, она нашла около отцовского прибора двадцать пять и десять центов и три монетки по одному пенни. Он оставил ей на чай.

Страшно обидев отца, если только он мог обидеться, я выбежал во двор. Я сам не понимал, куда бегу, пока в зарослях таволги не увидел брата Фрэнка.

Фрэнку было тогда двенадцать лет, и я не удивился, застав его в зарослях. В жаркие дни он вечно лежал там. Он, как собака, вырыл себе ямку в прохладной земле, меж корневищ. Никогда нельзя было угадать, что он возьмет с собой туда. То принесет неприличную книжку, то бутылку лимонада с вином. В тот день, когда бросили бомбу, у Фрэнка были в руках столовая ложка и стеклянная банка. Этой ложкой он сажал всяких жуков в банку и заставлял их драться.

Жуки дрались так интересно, что я сразу перестал плакать, совсем забыл про нашего старика. Не помню, кто там дрался у Фрэнка в тот день, но вспоминаю, как мы потом стравливали разных насекомых: жука-носорога с сотней рыжих муравьев, одну сороконожку с тремя пауками, рыжих муравьев с черными. Драться они начинают, только когда трясешь банку. Фрэнк как раз этим и занимался — он все тряс и тряс эту банку.

Потом Анджела пришла меня искать. Она раздвинула ветви и сказала: „Вот ты где!“ Потом спросила Фрэнка, что он тут делает, и он ответил: „Экспериментирую“. Он всегда так отвечал, когда его спрашивали, что он делает. Он всегда отвечал: „Экспериментирую“.

Анджеле тогда было двадцать два года. С шестнадцати лет, с того дня, когда мать умерла, родив меня, она, в сущности, была главой семьи. Она всегда говорила, что у нее трое детей — я, Фрэнк и отец. И она не преувеличивала. Я вспоминаю, как в морозные дни мы все трое выстраивались в прихожей, и Анджела кутала нас всех по очереди, одинаково. Только я шел в детский сад, Фрэнк — в школу, а отец — работать над атомной бомбой. Помню, однажды утром зажигание испортилось, радиатор замерз, и автомобиль не заводился. Мы все трое сидели в машине, глядя, как Анджела до тех пор



крутила ручку, пока аккумулятор не сел. И тут заговорил отец. Знаете, что он сказал? „Интересно, про черепаха“. Анджела его спросила: „А что тебе интересно про черепаха?“ И он сказал: „Когда они втягивают голову, их позвоночник сокращается или выгибается?“

Между прочим, Анджела — никем не воспетая героиня в истории создания атомной бомбы, и, кажется, об этом нигде не упоминается. Может, вам пригодится. После разговора о черепахах отец ими так увлекся, что перестал работать над атомной бомбой. В конце концов несколько сотрудников из группы „Манхэттенский проект“ явились к нам домой посоветоваться с Анжелой, что же теперь делать. Она сказала, пусть унесут отцовских черепаха. И однажды ночью сотрудники забрались к отцу в лабораторию и украли черепаха вместе с террариумом. А он пришел утром на работу, поискал, с чем бы ему повозиться, над чем поразмыслить, а все, с чем можно было возиться, над чем размышлять, уже имело отношение к атомной бомбе.

Когда Анджела вытащила меня из-под куста, она спросила, что у меня произошло с отцом. Но я только повторял, какой он страшный и как я его ненавижу. Тут она меня шлепнула. „Как ты смеешь так говорить про отца? — сказала она. — Он — великий человек, таких еще на свете не было! Он сегодня войну выиграл! Понял или нет? Он выиграл войну!“ И она опять шлепнула меня.

Я не сержусь на Анжелу за шлепки. Отец был для нее всем на свете. Ухажеров у нее не было. И вообще никаких друзей. У нее было только одно увлечение. Она играла на кларнете.

Я опять сказал, что ненавижу отца, она опять меня ударила, но тут Фрэнк вылез из-под куста и толкнул ее в

живот. Ей было ужасно больно. Она упала и покатила. Сначала задохнулась, потом заплакала, закричала, стала звать отца.

„Да он не придет!“ — сказал Фрэнк и засмеялся. Он был прав. Отец высунулся в окошко, посмотрел, как Анджела и я с ревом барахтаемся в траве, а Фрэнк стоит над нами и хохочет. Потом он опять скрылся в окне и даже не поинтересовался, из-за чего поднялась вся эта кутерьма. Люди были не по его специальности.

Вам это интересно? Пригодится ли для вашей книги? Разумеется, вы очень связали меня тем, что просили рассказать только о дне, когда бросили бомбу. Есть множество других интересных анекдотов про бомбу и отца, про другие времена. Известно ли вам, например, что он сказал в тот день, когда впервые провели испытания бомбы в Аламогордо? Когда эта штука взорвалась, когда стало ясно, что Америка может смести целый город одной-единственной бомбой, некий ученый, обратившись к отцу, сказал: „Теперь наука познала грех“. И знаете, что сказал отец? Он сказал: „Что такое грех?“

Всего лучшего!

Ньютон Хонникер».

7. Прославленные Хонникеры

НЬЮТОН сделал к письму три приписки:

«P.S. Не могу подписаться „с братским приветом“, потому что мне нельзя называться вашим собратом — у меня не то положение: меня только приняли кандидатом в члены корпорации, а теперь и этого лишили.

P.P.S. Вы называете наше семейство „прославленным“, и мне кажется, что это будет ошибкой, если вы нас так станете аттестовать в вашей книжке. Например, я — лилипут, во мне всего четыре фута. А о Фрэнке мы слышали в последний раз, когда его разыскивала во Флориде полиция, ФБР и министерство финансов, потому что он переправлял краденые машины на списанных военных самолетах. Так что я почти уверен, что „прославленное“ — не совсем то слово, какое вы ищете. Пожалуй, „нашумевшее“ ближе к правде.

P.P.S. На другой день: перечитал письмо и вижу, что может создаться впечатление, будто я только и делаю, что сижу и вспоминаю всякие грустные вещи и очень себя жалею. На самом же деле я очень счастливый человек и чувствую это. Я собираюсь жениться на прелестной крошке. В этом мире столько любви, что хватит на всех, надо только уметь искать. Я — лучшее тому доказательство».

8. Роман Ньюта и Зики

НЬЮТ не написал, кто его нареченная. Но недели через две после его письма вся страна узнала, что зовут ее Зика — просто Зика. Фамилии у нее, как видно, не было.

Зика была лилипуткой, балериной иностранного ансамбля. Случилось так, что Ньют попал на выступление этого ансамбля в Индианаполисе до того, как поступил в Корнеллский университет. А потом ансамбль выступал и в Корнелле. Когда концерт окончился, маленький Ньют уже стоял у служебного входа с букетом великолепных роз на длинных стеблях — «Краса Америки».

В газетах эта история появилась, когда крошка Зика исчезла вместе с крошкой Ньютом.

Но через неделю после этого крошка Зика объявилась в своем посольстве. Она сказала, что все американцы — материалисты. Она заявила, что хочет домой.

Ньют нашел прибежище в доме своей сестры в Индианаполисе. Газетам он дал короткое интервью. «Это дела личные... — сказал он. — Сердечные дела. Я ни о чем не жалею. То, что случилось, никого не касается, кроме меня и Зики...»

Один предприимчивый американский репортер, расспрашивая о Зике кое-кого из балетных, узнал неприятный факт: Зике было вовсе не двадцать три года, как она говорила. Ей было сорок два — и Ньюту она годилась в матери.

9. Вице-президент, заведующий вулканами

Книга о дне, когда была сброшена бомба, что-то у меня не шла.

Примерно через год, за два дня до Рождества, другая тема привела меня в Илиум, штат Нью-Йорк, где доктор Феликс Хонникер проработал дольше всего и где выросли и крошка Ньют, и Фрэнк, и Анджела.

Я остановился в Илиуме посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного.

Живых Хонникеров в Илиуме не осталось, но там было множество людей, которые как будто бы отлично знали и старика, и трех его странноватых отпрысков.

Я сговорился о встрече с доктором Эйзой Бридом, вице-президентом Всеобщей сталелитейной компании, который заведовал научно-исследовательской лабораторией. Полагаю, что доктор Брид тоже был членом моего карасса, но он меня сразу невлюбил.



«Приязнь и неприязнь тут никакого значения не имеют», — говорит Боконон, но это предупреждение забывается слишком легко.

— Я слышал, что вы были заведующим лабораторией, когда там работал доктор Хонникер? — сказал я доктору Бриду по телефону.

— Только на бумаге, — сказал он.

— Не понимаю, — сказал я.

— Если бы я действительно был заведующим при Феликсе, — сказал он, — то теперь я мог бы заведовать вулканами, морскими приливами, перелетом птиц и миграцией леммингов. Этот человек был явлением природы, и ни один смертный управлять им не мог.

10. Тайный агент Икс-9

Доктор Брид обещал принять меня на следующий день с самого утра. Он сказал, что заедет за мной по дороге на работу и тем самым упростит мой допуск в научно-исследовательскую лабораторию, куда вход был строго воспрещен.

Поэтому вечером мне некуда было девать время. Я жил в отеле «Эль Прадо» — средоточии всей ночной жизни в Илиуме. В баре отеля «Мыс Код» собирались все проститутки.

Случилось так («должно было так случиться», — сказал бы Боконон), что гулящая девица и бармен, обслуживающий меня, когда-то учились в школе вместе с Фрэнклином Хонникером — учителем жуков, средним сыном, пропавшим отпрыском Хонникеров.

Девица, назвавшая себя Сандрой, предложила мне наслаждения, какие нельзя получить нигде в мире, кроме площади Пигаль и Порт-Саида. Я сказал, что мне это неинтересно, и у нее хватило остроумия сказать, что и ей это тоже ничуть не

интересно. Как потом оказалось, мы оба несколько преувеличивали наше равнодушие, хотя и не слишком.

Но до того как мы стали сравнивать наши вкусы, у нас завязался долгий разговор — мы поговорили о Фрэнке Хонникере, поговорили о его папаше, немножко поговорили о докторе Эйзе Бриде, поговорили о Всеобщей сталелитейной компании, поговорили о римском папе и контроле над рождаемостью, о Гитлере и евреях. Мы говорили о жуликах. Мы говорили об истине. Мы говорили о гангстерах и о коммерческих делах. Поговорили мы и о симпатичных бедняках, которых сажают на электрический стул, и о подлых богачах, которых не сажают. Мы говорили о людях набожных, но извращенных. Мы поговорили об очень многом.

И мы напились.

Бармен очень хорошо обращался с Сандрой. Он ее любил. Он ее уважал. Он сказал, что в илиумской средней школе Сандра была председателем комиссии по выбору цвета для классных значков. Каждый класс, объяснил он, должен был выбрать свои цвета для значка и с гордостью носить эти цвета до окончания.

— Какие же цвета вы выбрали? — спросил я.

— Оранжевый и черный.

— Красивые цвета.

— По-моему, тоже.

— А Фрэнклин Хонникер тоже участвовал в этой комиссии?

— Ни в чем он не участвовал, — с презрением сказала Сандра. — Никогда он не был ни в одной комиссии, никогда не играл в игры, никогда не приглашал девочек в кино. По-моему, он с девочками вообще не разговаривал. Мы его прозвали тайный агент Икс-9.

— Икс-9?

— Ну, сами понимаете — он вечно притворялся, будто бежит с одной тайной явки на другую, будто ему ни с кем и разговаривать нельзя.

— А может быть, у него и вправду была очень сложная тайная жизнь?

— Не-ет...

— Не-ет! — насмешливо протянул бармен. — Обыкновенный мальчишка, из тех, что вечно мастерают игрушечные самолеты и вообще занимаются черт-те чем...

11. Протеин

— Он должен был выступать у нас в школе на выпускном вечере с приветственной речью.

— Вы о ком? — спросил я.

— О докторе Хонникере — об их отце.

— Что же он сказал?

— Он не пришел.

— Значит, вы так и остались без приветственной речи?

— Нет, речь была. Прибежал доктор Брид, тот самый, вы его завтра увидите, весь в поту, и чего-то там наговорил.

— Что же он сказал?

— Говорил: надеюсь, что многие из вас сделают научную карьеру, — сказала Сандра. Эти слова ей не казались смешными. Она просто повторяла урок, который произвел на нее впечатление. И повторяла она его с запинками, но добросовестно. — Он говорил: беда в том, что весь мир... — тут она остановилась, подумала, — беда в том, что весь мир, — запинаясь продолжала она, — что все люди живут суевериями, а не наукой. Он сказал, что если бы все больше изучали науки, то не было бы тех бедствий, какие есть сейчас.

— Он еще сказал, что наука когда-нибудь откроет основную тайну жизни, — вмешался бармен, потом почесал затылок и нахмурился: — Что-то я читал на днях в газете, будто нашли, в чем секрет, вы не помните?

— Не помню, — пробормотал я.

— А я читала, — сказала Сандра, — позавчера, что ли.

— Ну и в чем же тайна жизни? — спросил я.

— Забыла, — сказала Сандра.

— Протеин, — заявил бармен, — чего-то они там нашли в этом самом протеине.

— Ага, — сказала Сандра, — верно.

12. Предел наслаждения

В это время в баре «Мыс Код», при отеле «Эль Прадо», к нам присоединился бармен постарше. Услыхав, что я пишу книгу о дне, когда сбросили бомбу, он рассказал мне, как он провел этот день, как он его провел именно в этом самом баре, где мы сидели. Говорил он с растяжкой, как клоун Филдс, а нос у него был похож на отборную клубничину.

— Тогда бар назывался не «Мыс Код», — сказал он, — не было этих сетей и ракушек, всей этой холеры. Назывался он «Вигвам навахо». На всех стенах индейские одеяла повешены, коровьи черепа. А на столиках — тамтамы, махонькие такие. Хочешь позвать официанта — бей в этот тамтамик. Уговаривали меня надеть перья на голову, только я отказался. Раз пришел сюда один настоящий индеец из племени навахо. Говорит, племя навахо в вигвамах не живет. «Вот холера, — говорю, — как нехорошо вышло». А еще раньше этот бар назывался «Помпея», всюду обломков полно, гипсовых всяких. Да только как его ни зови, электропроводку, холеру, так и не сменили. И народ, холера, такой же остался, и город, холера, все тот же. А в тот день, как сбросили на японцев эту холеру, бомбу эту, зашел сюда один шкет, стал кланчить — дай ему выпить. Хотел, чтоб я ему намешал коктейль «Предел наслаждения». Выдолбил я ананас, налил туда полпинты

мятного ликера, наложил взбитых сливок, а сверху вишню. «Пей, — говорю, — сукин ты сын, чтоб не жаловался, будто я для тебя ничего не сделал». А потом пришел второй, говорит, ухожу из лаборатории, и еще говорит: над чем бы ученые ни работали, у них все равно получается оружие. Не желаю, говорит, больше помогать политикам разводить эту холеру войну. Фамилия ему была Брид. Спрашиваю: не родственник ли он босса той растреклятой лаборатории? А как же, говорит. Я, говорит, сын этого самого босса, холера его задави.

13. Трамплин

О Господи, до чего безобразный город этот Илиум!

«О Господи! — говорит Боконон. — До чего безобразный город, любой город на свете!»

Копоть оседала на все сквозь недвижную пелену тумана. Было раннее утро. Я ехал в «линкольне» с доктором Эйзой Бридом. Меня слегка мутило, я еще не совсем проснулся после вчерашнего пьянства. Доктор Брид вел машину. Рельсы давно заброшенной узкоколейки то и дело цеплялись за колеса машины.

Доктор Брид, розовощекий старик, был прекрасно одет и, по-видимому, очень богат. Держался он интеллигентно, оптимистично, деловито и невозмутимо. Я же, напротив, чувствовал себя колючим, больным циником. Ночь я провел с Сандрой.

Душа моя смердела, как дым от паленой кошачьей шерсти. Про всех я думал самое скверное, а про доктора Брида я узнал от Сандры довольно мрачную историю.

Сандра рассказала мне, будто весь Илиум был уверен, что доктор Брид был влюблен в жену Феликса Хонникера. Она

сказала, что многие считали, будто Брид был отцом всех троих детей Хонникера.

— Вы бывали когда-нибудь в Илиуме? — спросил меня доктор Брид.

— Нет, я тут впервые.

— Город тихий, семейный.

— Как?

— Тут почти никакой ночной жизни нет. У каждого жизнь ограничена семейным кругом, своим домом.

— По-видимому, обстановка тут здоровая.

— Конечно. У нас и юношеской преступности очень мало.

— Прекрасно.

— У города Илиума интереснейшая история.

— Вот как? Интересно.

— Он был, так сказать, трамплином.

— Как?

— Для эмигрантов, уходящих на запад.

— А-а-а...

— Тут их снаряжали в дорогу. Примерно там, где сейчас научно-исследовательская лаборатория, находилась старая эстакада. Кстати, там и преступников со всего штата вешали публично.

— Наверное, и тогда преступления к добру не вели, как и сейчас.

— Тут повесили одного малого в 1782 году, он убил двадцать шесть человек. Я часто думал — надо бы кому-нибудь написать про него книжку. Его звали Джордж Майор Мокли. Он пел песню на эшафоте. Сам сочинил песню на такой случай.

— О чем же он пел?

— Можете найти текст в Историческом обществе, если вам действительно интересно.

— Нет, я вообще спросил: о чем там говорилось?

— Что он ни в чем не раскаивается.

— Да, есть такие люди.
— Только подумать, — сказал доктор Брид, — что у него на совести было целых двадцать шесть человек!
— Уму непостижимо! — сказал я.

14. Когда в автомобилях висели хрустальные вазочки

Голова у меня болела, шея затекла, а тут меня еще трянуло. Блестящий «линкольн» доктора Брида опять зацепился за рельс.

Я спросил доктора Брида, сколько человек пытается добраться к восьми утра на работу во Всеобщую сталелитейную компанию, и он сказал — тридцать тысяч.

Полисмены в желтых дождевиках стояли на каждом перекрестке, и каждый жест их рук в белых перчатках противоречил вспышкам светофора.

А светофоры пестрыми призраками вспыхивали сквозь туман в непрерывной шутовской игре, направляя лавину автомобилей. Зеленый — ехать, красный — стоять, оранжевый — осторожно, смена.

Доктор Брид рассказал мне, что, когда доктор Хонникер был еще совсем молодым человеком, он однажды утром просто-напросто бросил свою машину в потоке илиумских машин.

— Полиция стала искать, что задерживает движение, — сказал доктор Брид, — и в самой гуще обнаружила машину Феликса, мотор жужжал, в пепельнице догорала сигара, в вазочках стояли свежие цветы.

— В каких вазочках?

— У него был небольшой «мормон», величиной с коляску, и на дверцах внутри были приделаны хрустальные вазочки,

куда жена Феликса каждое утро ставила свежие цветы. Вот эта машина и стояла посреди потока машин.

— Как шхуна «Мари-Селеста», — подсказал я.

— Полицейские вывели машину. Они знали, чья она, позвонили Феликсу и очень вежливо объяснили, откуда он может ее забрать. А Феликс сказал, что они могут оставить машину себе, она ему больше не нужна.

— И они ее забрали?

— Нет. Они позвонили его жене, она пришла и увела машину.

— Кстати, как ее звали?

— Эмили. — Доктор Брид провел языком по губам, и взгляд его помутнел, и он снова повторил имя женщины, которой давно не было на свете: — Эмили.

— Как вы думаете, никто не будет возражать, если я использую эту историю в своей книге?

— Нет, если только вы не станете писать, чем это кончилось.

— Чем кончилось?

— Эмили не привыкла водить машину. По дороге домой она попала в катастрофу. Ей повредило тазовые кости. — Движение остановилось, доктор Брид закрыл глаза и крепче вцепился в руль. — Вот почему она умерла, когда родился маленький Ньют.

15. Счастливого Рождества!

Научно-исследовательская лаборатория Всеобщей сталелитейной компании находилась далеко от главного входа на илиумские заводы компании, примерно в квартале от площадки для служебных машин, где доктор Брид поставил свой «линкольн».

Я спросил доктора Брида, сколько человек занято в научно-исследовательских лабораториях.

— Семьсот человек, — сказал он, — но лишь около ста из них действительно заняты научными исследованиями. Остальные шестьсот так или иначе занимаются хозяйством, а главная экономка — это я.

Когда мы влились в поток пешеходов на заводской улице, женский голос сзади нас пожелал доктору Бриду счастливого Рождества. Доктор Брид обернулся, благосклонно вглядываясь в море бледных, как недопеченные оладьи, лиц, и обнаружил, что приветствовала его некая мисс Франсина Пефко. Мисс Пефко была недурненькая здоровая барышня лет двадцати, заурядная и скучная.

Проникаясь, как и полагается на Рождество, чувством благоволения, доктор Брид пригласил мисс Пефко следовать за нами. Он представил ее мне как секретаря доктора Нильсака Хорвата. Он объяснил мне, кто такой доктор Хорват: «Знаменитый химик, специалист по поверхностному натяжению, — сказал он, — тот, что делает такие чудеса с пленкой».

— Что нового в химии поверхностного натяжения? — спросил я у мисс Пефко.

— А черт его знает! — сказала она. — Лучше не спрашивайте. Я просто пишу на машинке то, что он мне диктует. — И она тут же извинилась, что сказала «черт».

— По-моему, вы понимаете больше, чем вам кажется, — сказал доктор Брид.

— Я? Вот уж нет! — Мисс Пефко, видно, не привыкла запросто болтать с такими важными людьми, как доктор Брид, и чувствовала себя очень неловко. Походка у нее стала манерной и напряженной, как у курицы. Лицо остекленело в улыбке, и она явно ворошила свои мозги, ища, что бы такое сказать, но там ничего, кроме бумажных салфеточек и поддельных побрякушек, не находилось.



— Ну-с, — благожелательно пробасил доктор Брид. — Как же вам у нас нравится, ведь вы тут уже давно? Почти год, да?

— Все вы, ученые, чересчур много думаете! — выпалила мисс Пефко. Она залилась идиотским смехом. От приветливости доктора Брида у нее в мозгу перегорели все пробки. Она уже ни за что не отвечала. — Да, все вы думаете слишком много!

Толстая унылая женщина в грязном комбинезоне, задыхаясь, семенила рядом с нами, слушая, что говорит мисс Пефко. Она обернулась к доктору Бриду, глядя на него с беспомощным упреком. Она тоже ненавидела людей, которые слишком много думают. В эту минуту она показалась мне достойной представительницей всего человеческого рода.

По выражению лица толстой женщины я понял, что она тут же, на месте, сойдет с ума, если хоть кто-нибудь еще будет о чем-то думать.

— Вы должны понять, — сказал доктор Брид, — что у всех людей процесс мышления одинаков. Только ученые думают обо всем по-одному, а другие люди — по-другому.

— Ох-хх, — невыразительно вздохнула мисс Пефко. — Пишу под диктовку доктора Хорвата — и как будто все по-иностранному. Наверно, я ничего не поняла бы, даже если бы кончила университет. А он, может быть, говорит о чем-то таком, что перевернет весь мир кверху ногами, как атомная бомба.

Бывало, придя домой из школы, — продолжала мисс Пефко, — мама спрашивает, что случилось за день, я ей рассказываю. А теперь прихожу домой с работы, она спрашивает, а я ей одно твержу. — Тут мисс Пефко покачала головой и распустила накрашенные губы. — Не знаю, не знаю, не знаю...

— Но если вы чего-то не понимаете, — настойчиво сказал доктор Брид, — попросите доктора Хорвата объяснить вам. Доктор Хорват прекрасно умеет объяснять. — Он обернулся ко мне: — Доктор Хонникер любил говорить, что, если уче-

ный не умеет популярно объяснить восьмилетнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан.

— Выходит, я глупей восьмилетнего ребенка, — уныло сказала мисс Пефко. — Я даже не знаю, что такое шарлатан.

16. Возвращение в детский сад

МЫ ПОДНЯЛИСЬ по четырем гранитным ступеням в научно-исследовательскую лабораторию. Лаборатория находилась в шестнадцатизэтажном здании. Само здание было выстроено из красного кирпича. У входа мы миновали двух стражей, вооруженных до зубов.

Мисс Пефко предъявила левому стражу розовый значок секретного допуска, приколотый на ее левой груди.

Доктор Брид предъявил правому стражу черный значок «совершенно секретно» на мягком лацкане пиджака. Он церемонно обхватил меня рукой за плечи, почти не прикасаясь к ним, давая стражам понять, что я нахожусь под его августейшим покровительством и наблюдением.

Я улыбнулся одному из стражей. Он не ответил. Ничего смешного в охране государственной тайны не было, совершенно ничего смешного.

Доктор Брид, мисс Пефко и я осторожно проследовали через огромный вестибюль лаборатории к лифтам.

— Попросите доктора Хорвата как-нибудь объяснить вам хоть основы, — сказал доктор Брид мисс Пефко. — Вот увидите, он хорошо и ясно на все вам ответит.

— Ему придется начинать с первого класса, а может быть, и с детского сада, — сказала мисс Пефко. — Я столько пропустила.

— Все мы много пропустили, — сказал доктор Брид. — Всем нам не мешало бы начать все сначала — предпочтительно с детского сада.

Мы смотрели, как дежурная по лаборатории включила множество наглядных пособий, уставленных по стенам лабораторного вестибюля. Дежурная была худая и высокая, с бледным ледяным лицом. От ее точных прикосновений вспыхивали лампочки, крутились колеса, бурлила жидкость в колбах, звякали звонки.

— Волшебство, — сказала мисс Пефко.

— Мне жаль, что член нашей лабораторной семьи употребляет это заплесневелое средневековое слово, — сказал доктор Брид. — Каждое из этих пособий понятно само по себе. Они и задуманы так, чтобы в них не было никакой мистификации. Они — прямая антитеза волшебству.

— Прямая что?

— Прямая противоположность.

— Только не для меня.

Доктор Брид слегка надулся.

— Что ж, — сказал он, — во всяком случае, мы никого мистифицировать не хотим. Признайте за нами хотя бы эту заслугу.

17. Девичье бюро

Секретарша доктора Брида стояла у него в приемной, на своем бюро, подвешивая к люстре елочный бумажный фонарик гармошкой.

— Послушайте, Ноэми, — воскликнул доктор Брид, — у нас полгода не было ни одного несчастного случая. Нечего вам портить статистику и падать с бюро.

Мисс Ноэми Фауст была сухонькая веселенькая старушка. По-моему, она прослужила у доктора Брида почти всю его, да и всю свою жизнь.

Она засмеялась:

— Я небьющаяся. А если бы я даже упала, рождественские ангелы подхватили бы меня.

— И у них промашки бывали.

С фонарика свисали две бумажные ленты, тоже сложенные гармошкой. Мисс Фауст подергала одну ленту. Она натянулась, разворачиваясь, и превратилась в длинную полосу с надписью.

— Держите, — сказала мисс Фауст, подавая конец ленты доктору Бриду. — Тяните до конца и прикнопьте ее к доске объявлений.

Доктор Брид послушно все выполнил и отступил, чтобы прочесть лозунг на ленте.

— «Мир на Земле!» — радостно прочел он вслух.

Мисс Фауст спустилась с бюро с другой лентой и развернула ее:

— «И в человецех благоволение!»

— Черт возьми! — засмеялся доктор Брид. — Они и Рождество засушили. Но вид у комнаты праздничный, очень праздничный.

— И я не забыла про плитки шоколада для девичьего бюро! — сказала мисс Фауст. — Вы мной гордитесь?

Доктор Брид постучал себя по лбу, огорченный своей забывчивостью:

— Ну слава богу! Совершенно вылетело из головы!

— Никак нельзя забывать, — сказала мисс Фауст. — Это стало традицией: доктор Брид каждое Рождество дарит девушкам из бюро по плитке шоколада. — И она объяснила мне, что «девичьим бюро» у них называется машинное бюро в подвальном помещении лаборатории. — Девушки работают на каждого, у кого есть диктофон.

Весь год, объяснила она, девушки из машинного бюро слушают безликие голоса ученых, записанные на диктофонной пленке, пленки приносят курьерши. Только раз в году девуш-

ки покидают свой железобетонный монастырь и веселятся, а доктор Брид раздает им плитки шоколада.

— Они тоже служат науке, — подтвердил доктор Брид, — хотя, наверно, ни слова не понимают. Благослови их Бог за это!

18. Самое ценное на свете

Когда мы вошли в кабинет доктора Брида, я попытался привести в порядок свои мысли, чтобы взять толковое интервью. Но я обнаружил, что мое умственное состояние ничуть не улучшилось. А когда я стал задавать доктору Бриду вопрос о дне, когда сбросили бомбу, я также обнаружил, что мои мозговые центры, ведающие контактами с внешней средой, затуманены алкоголем еще с той ночи, проведенной в баре. Какой бы вопрос я ни задавал, всегда выходило, что я считаю создателей атомной бомбы уголовными преступниками, соучастниками в подлейшем убийстве.

Сначала доктор Брид удивлялся, потом очень обиделся. Он отодвинулся от меня и ворчливо буркнул:

— По-моему, вы не очень-то жалуете ученых.

— Я бы не сказал этого, сэр.

— Вы так ставите вопросы, словно хотите вынудить у меня признание, что все ученые — бессердечные, бессовестные, узколобые тупицы, равнодушные ко всему остальному человечеству, а может быть, и вообще какие-то нелюди.

— Пожалуй, это слишком резко.

— По всей вероятности, ничуть не резче вашей будущей книжки. Я считал, что вы задумали честно и объективно написать биографию доктора Феликса Хонникера, что для молодого писателя в наше время, в наш век, задача чрезвычайно значительная. Оказывается, ничего похожего, и вы сюда яви-

лись с предубеждением, представляя себе ученых какими-то психопатами. Откуда вы это взяли? Из комиксов, что ли?

— Ну, хотя бы от сына доктора Хонникера.

— От которого из сыновей?

— От Ньютона, — сказал я. У меня с собой было письмо малютки Ньютона, и я показал это письмо доктору Бриду. — Кстати, он и вправду такой маленький?

— Не выше подставки для зонтов, — сказал доктор Брид, читая письмо и хмурясь.

— А двое других детей нормальные?

— Конечно! К сожалению, должен вас разочаровать, но ученые производят на свет таких же детей, как и все люди.

Я приложил все усилия, чтобы успокоить доктора Брида, убедить его, что я и в самом деле стремлюсь создать для себя правдивый образ доктора Хонникера:

— Цель моего приезда — как можно точнее записать все, что вы мне расскажете о докторе Хонникере. Письмо Ньютона — только начало поисков, я непременно сверю его с тем, что вы мне сообщите.

— Мне надоели люди, не понимающие, что такое ученый, что именно делает ученый.

— Постараюсь изжить это непонимание.

— Большинство людей у нас в стране даже не представляют себе, что такое чисто научные исследования.

— Буду очень благодарен, если вы мне это объясните.

— Это не значит искать усовершенствованный фильтр для сигарет, или более мягкие бумажные салфетки, или более устойчивые краски для зданий — нет, упаси бог! Все у нас говорят о научных исследованиях, а фактически никто ими не занимается. Мы одна из немногих компаний, которая действительно приглашает людей для чисто исследовательской работы. Когда другие компании хвастают, что у них ведется научная работа, они имеют в виду коммерческих техников —

лаборантов в белых халатах, которые работают по всяким поваренным книжкам и выдумывают новый образец «дворника» для новейшей модели «олдсмобила».

— А у вас?

— А у нас, и еще в очень немногих местах, людям платят за то, что они расширяют познание мира и работают только для этой цели.

— Это большая щедрость со стороны вашей компании.

— Никакой щедрости тут нет. Новые знания — самое ценное на свете. Чем больше истин мы открываем, тем богаче мы становимся.

Будь я уже тогда последователем Боконона, я бы от этих слов просто взвыл.

19. Конец грязи

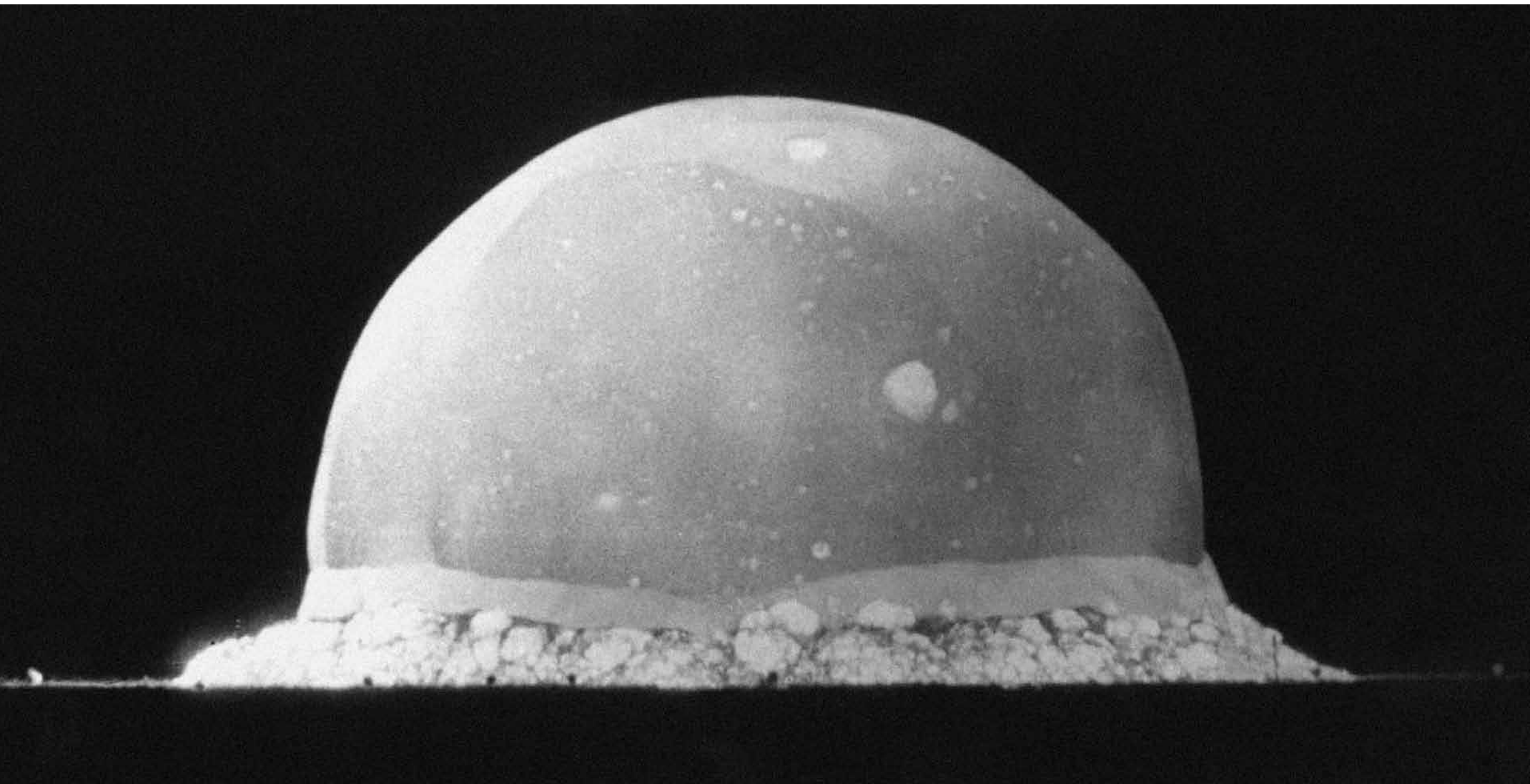
— Вы хотите сказать, что в вашей лаборатории никому не указывают, над чем работать? — спросил я доктора Брида. — Никто даже не *предлагает* им работать над чем-то?

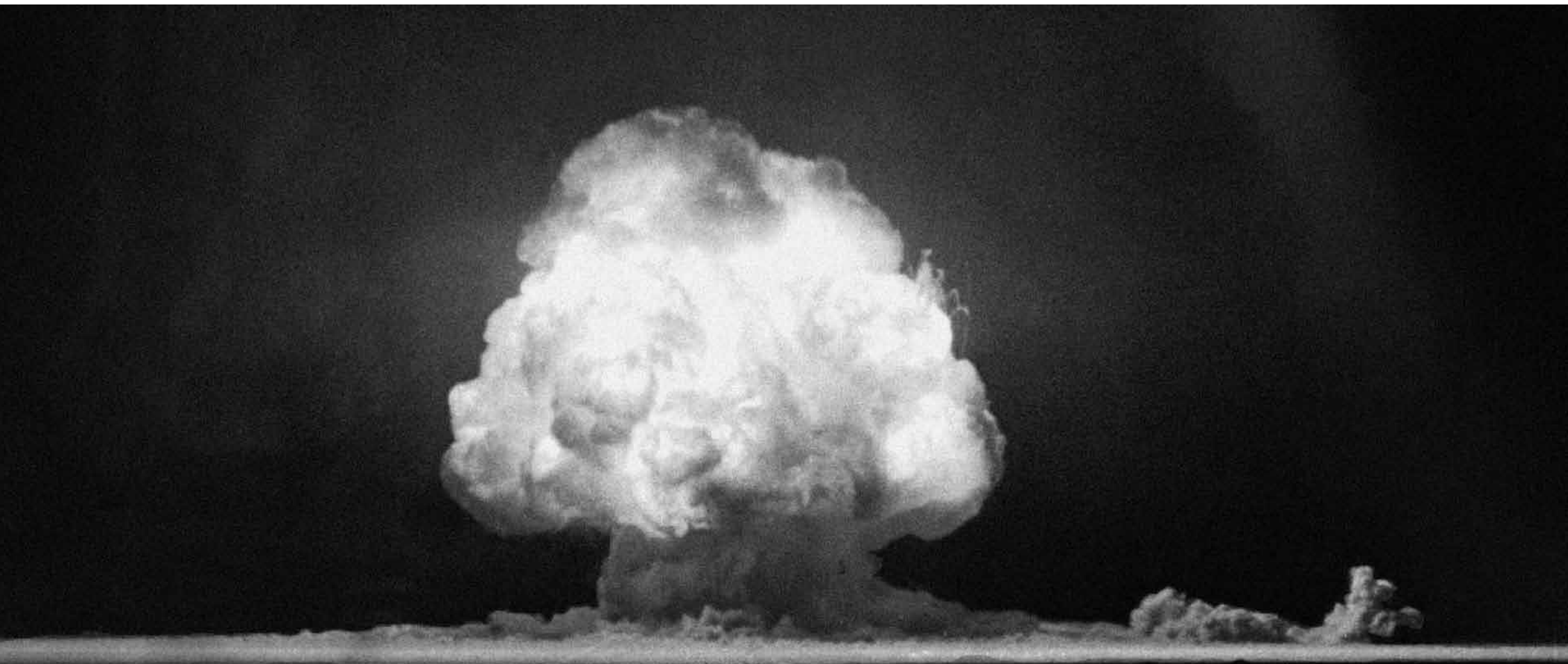
— Конечно, предложения поступают все время, но не в природе настоящего ученого обращать внимание на любые предложения. У него голова набита собственными проектами, а нам только это и нужно.

— А кто-нибудь когда-нибудь предлагал доктору Хонникуру какие-то свои проекты?

— Конечно. Особенно адмиралы и генералы. Они считали его каким-то волшебником, который одним мановением палочки может сделать Америку непобедимой. Они приносили сюда всякие сумасшедшие проекты, да и сейчас приносят. Единственный недостаток этих проектов в том, что на уровне наших теперешних знаний они не срабатывают. Предполагается, что ученые калибра доктора Хонникера могут воспол-

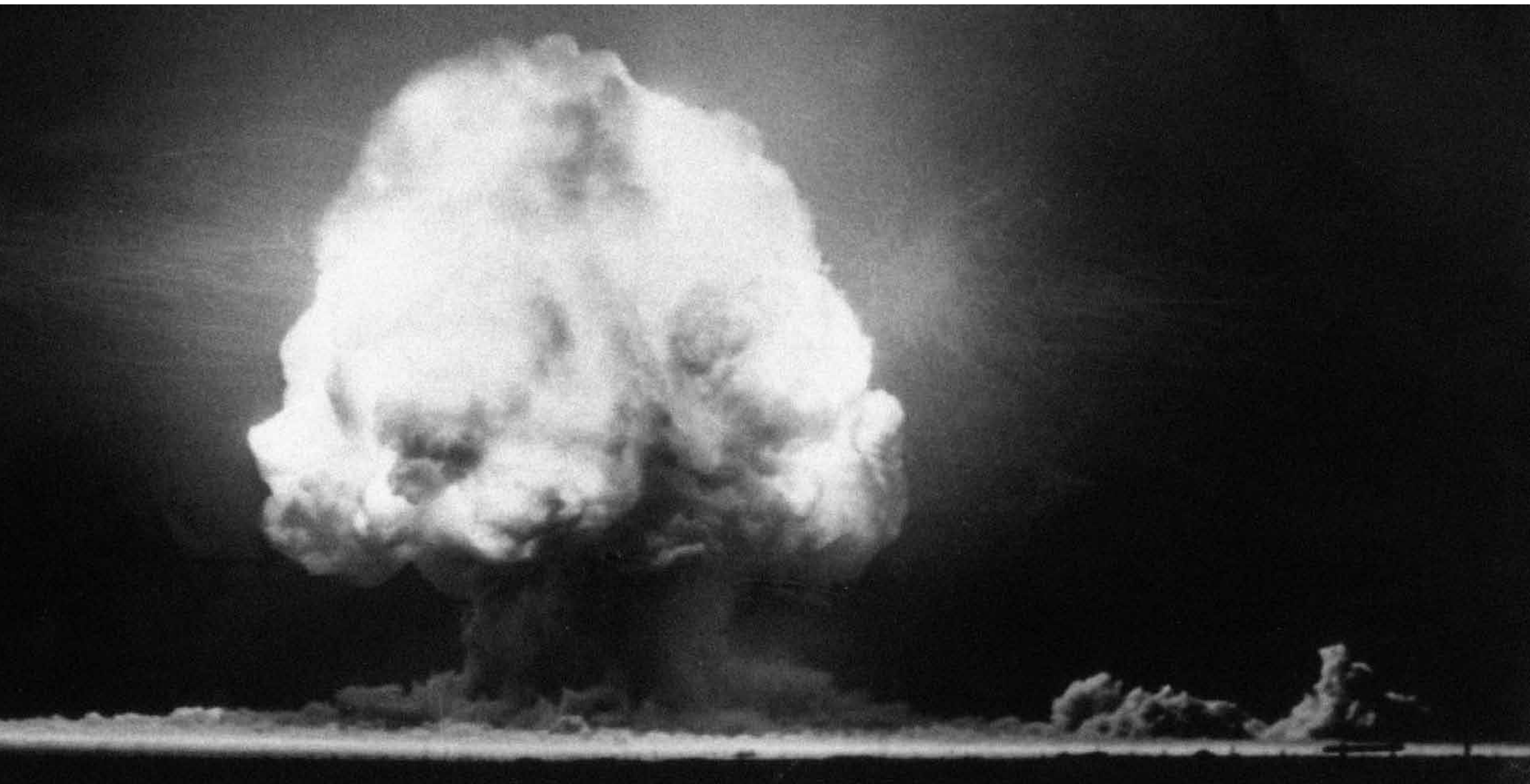






10 SEC.
N

┆┆ 100 METERS



нить этот пробел. Помню, как незадолго до смерти Феликса его изводил один генерал морской пехоты, требуя, чтобы тот сделал что-нибудь с грязью.

— С грязью?!

— Чуть ли не двести лет морская пехота шлепала по грязи, и им это надоело, — сказал доктор Брид. — Генерал этот, как их представитель, считал, что одним из достижений прогресса должно быть избавление морской пехоты от грязи.

— Как же это он себе представлял?

— Чтобы грязи не было. Конец всякой грязи.

— Очевидно, — сказал я, пробуя теоретизировать, — это можно сделать при помощи огромных количеств каких-нибудь химикалий или тяжелыми машинами...

— Нет, генерал именно говорил о какой-нибудь пилюльке или крошечном приборчике. Дело в том, что морской пехоте не только осточертела грязь, но им надоело таскать на себе тяжелую выкладку. Им хотелось носить что-нибудь *легонькое*.

— Что же на это сказал доктор Хонникер?

— Как всегда, полусхуа, а Феликс все говорил полусхуа, он сказал, что можно было бы найти крохотное зернышко — даже микроскопическую кроху, — от которой бесконечные болота, трясины, лужи, хляби и зыби затвердевали бы, как этот стол.

Доктор Брид стукнул своим веснушчатым старческим кулаком по письменному столу. Письменный стол у него был полуовальный, стальной, цвета морской волны:

— Один моряк мог бы нести на себе достаточное количество вещества, чтобы высвободить застрявший в болотах бронетанковый дивизион. По словам Феликса, все вещество, потребное для этого, могло бы уместиться у одного моряка под ногтем мизинца.

— Но это невозможно.

— Это вы так думаете. И я бы так сказал, и любой другой тоже. А для Феликса, с его полусхуатливым подходом ко всему,

это казалось вполне возможным. Чудом в Феликсе было то, что он всегда — и я искренне надеюсь, что вы об этом упомянете в своей книге, — он всегда подходил к старым загадкам, как будто они совершенно новые.

— Сейчас я чувствую себя Франсиной Пефко, — сказал я, — или сразу всеми барышнями из девичьего бюро. Даже доктор Хонникер не сумел бы объяснить мне, каким образом что-то умещающееся под ногтем мизинца может превратить болото в твердое, как ваш стол, вещество.

— Но я вам говорил, как прекрасно Феликс все умел объяснять.

— И все-таки...

— Он мне все сумел объяснить, — сказал доктор Брид. — И я уверен, что смогу объяснить и вам. В чем задача? В том, чтобы вытащить морскую пехоту из болот, так?

— Так.

— Отлично, — сказал доктор Брид, — слушайте же внимательно. Начнем.

20. Лед-девять

— **Различные** жидкости, — начал доктор Брид, — кристаллизуются, то есть замораживаются, различными путями, то есть их атомы различным путем смыкаются и застывают в определенном порядке.

Старый доктор, жестикулируя веснушчатыми кулаками, попросил меня представить себе, как можно по-разному сложить пирамидку пушечных ядер на лужайке перед зданием суда, как по-разному укладывают в ящики апельсины.

— Вот так и с атомами в кристаллах, и два разных кристалла того же вещества могут обладать совершенно различными физическими свойствами.

Он рассказал мне, как на одном заводе вырабатывали крупные кристаллы оксалата этиленовой кислоты.

— Эти кристаллы, — сказал он, — применялись в каком-то техническом процессе. Но однажды на заводе обнаружили, что кристаллы, выработанные этим путем, потеряли свои прежние свойства, необходимые на производстве. Атомы складывались и сцеплялись, то есть замерзали, по-иному. Жидкость, которая кристаллизовалась, не изменялась, но сами кристаллы для использования в промышленности уже не годились.

Как это вышло, осталось тайной. Теоретически «злодеем» была частица, которую доктор Брид назвал *зародыш*. Он подразумевал крошечную частицу, определившую нежелательное смыкание атомов в кристалле. Этот *зародыш*, взявшийся неизвестно откуда, научил атомы новому способу соединения в спайки, то есть новому способу кристаллизации, замораживания.

— Теперь представьте себе опять пирамидку пушечных ядер или апельсины в ящике, — сказал доктор Брид. И он мне объяснил, как строение нижнего слоя пушечных ядер или апельсинов определяет сцепление и спайку всех последующих слоев. Этот нижний слой и есть *зародыш* того, как будет себя вести каждое следующее пушечное ядро, каждый следующий апельсин, и так до бесконечного количества ядер или апельсинов.

— Теперь представьте себе, — с явным удовольствием продолжал доктор Брид, — что существует множество способов кристаллизации, замораживания воды. Предположим, что тот лед, на котором катаются конькобежцы и который кладут в коктейли — мы можем назвать его «лед-один», — представляет собой только один из вариантов льда. Предположим, что вода на земном шаре всегда превращалась в лед-один, потому что ее не коснулся *зародыш*, который бы направил ее, научил превращаться в *лед-два*, *лед-три*, *лед-четыре*... И предполо-

жим, — тут его старческий кулак снова стукнул по столу, — что существует такая форма — назовем ее *лед-девять* — кристалл, твердый, как этот стол, с точкой плавления или таяния, скажем, сто градусов по Фаренгейту, нет, лучше сто тридцать градусов.

— Ну, хорошо, это я еще понимаю, — сказал я.

И тут доктора Брида прервал шепот из приемной, громкий, внушительный шепот. В приемной собралось девичье бюро.

Девушки собирались петь.

И они запели, как только мы с доктором Бридом оказались в дверях кабинета. Все девушки нарядились церковными хористками: они сделали себе воротники из белой бумаги, приколов их скрепками. Пели они прекрасно.

Я чувствовал растерянность и сентиментальную грусть. Меня всегда трогает это редкостное сокровище — нежность и теплота девичьих голосов.

Девушки пели: «О светлый город Вифлеем». Мне никогда не забыть, как выразительно они пропели: «Страх и надежда прошлых лет вернулись к нам опять».

21. Морская пехота наступает

Когда доктор Брид с помощью мисс Фауст раздал девушкам шоколадки, мы с ним вернулись в кабинет.

Там он продолжал рассказ:

— Где мы остановились? А-а, да! — И старик попросил меня представить себе отряд морской пехоты США в забытой богом трясине. — Их машины, их танки и гаубицы барахтаются в болоте, — жалобно сказал он, — утопая в вонючей жиже, полной миазмов.

Он поднял палец и подмигнул мне:

— Но представьте себе, молодой человек, что у одного из моряков есть крошечная капсула, а в ней — зародыш *льда-девять*, в котором заключен новый способ перегруппировки атомов, их сцепления, соединения, замерзания. И если этот моряк швырнет этот зародыш в ближайшую лужу?..

— Она замерзнет? — угадал я.

— А вся трясина вокруг лужи?

— Тоже замерзнет.

— А другие лужи в этом болоте?

— Тоже замерзнут.

— А вода и ручьи в замерзшем болоте?

— Тоже замерзнут.

— Вот именно — замерзнут! — воскликнул он. — И морская пехота США выберется из трясины и пойдет в наступление!

22. Молодчик из «желтой прессы»

— А есть такое вещество? — спросил я.

— Да нет же, нет, нет, нет. — Доктор Брид опять потерял всякое терпение. — Я рассказал вам все это только потому, чтобы вы представили себе, как Феликс совершенно по-новому подходил даже к самым старым проблемам. Я вам рассказал только то, что Феликс рассказал генералу морской пехоты, который пристал к нему насчет болот.

Обычно Феликс обедал в одиночестве в кафетерии. По непisanому закону никто не должен был садиться к его столику, чтобы не прерывать ход его мыслей. Но этот генерал ворвался, пододвинул себе стул и стал говорить про болота. И я вам только передал, что Феликс тут же, с ходу, ответил ему.

— Так, значит... значит, этого вещества на самом деле нет?

— Я же вам только что сказал — нет и нет! — вспылил

доктор Брид. — Феликс вскоре умер. И если бы вы слушали внимательно то, что я пытался объяснить вам про наших ученых, вы бы не задавали таких вопросов! Люди чистой науки работают над тем, что увлекает их, а не над тем, что увлекает других людей.

— А я все думаю про то болото...

— А вы *бросьте* думать об этом! Я только взял болото как пример, чтобы вам объяснить все, что надо.

— Если ручьи, протекающие через болото, превратятся в *лед-девять*, что же будет с реками и озерами, которые питаются этими ручьями?

— Они замерзнут. Но никакого *льда-девять* нет!

— А океаны, в которые впадают замерзшие реки?

— Ну и они, конечно, замерзнут! — рявкнул он. — Уж не разлетелись ли вы продать прессе сенсационное сообщение про *лед-девять*? Опять повторяю — его не существует.

— А ключи, которые питают замерзшие реки и озера, а все подземные источники, питающие эти ключи...

— Замерзнут, черт побери! — крикнул он. — Ну, если бы я только знал, что имею дело с молодчиком из «желтой прессы», — сказал он, величественно подымаясь со стула, — я бы не потратил на вас ни минуты.

— А дождь?

— Коснулся бы земли и превратился в твердые катышки, в *лед-девять*, и настал бы конец света. А сейчас настал конец и нашей беседе! Прощайте!

23. Последняя порция пирожков

Но по крайней мере в одном доктор Брид ошибался: *лед-девять* существовал.

И *лед-девять* существовал на нашей Земле.

Лед-девять был последнее, что подарил людям Феликс Хонникер, перед тем как ему было воздано по заслугам.

Ни один человек не знал, что он делает. Никаких следов он не оставил.

Правда, для создания этого вещества потребовалась сложная аппаратура, но она уже существовала в научно-исследовательской лаборатории. Доктору Хонникуру надо было только обращаться к соседям, одалживать у них то один, то другой прибор, надоедая им по-добрососедски, пока он, так сказать, не испек последнюю порцию пирожков.

Он сделал сосульку *льда-девять*! Голубовато-белого цвета. С температурой таяния сто четырнадцать и четыре десятых по Фаренгейту.

Феликс Хонникер положил сосульку в маленькую бутылочку и сунул бутылочку в карман. И уехал к себе на дачу, на мыс Код, с тремя детьми, собираясь встретить там Рождество.

Анджеле было тридцать четыре, Фрэнку — двадцать четыре, крошке Ньюту — восемнадцать лет.

Старик умер в сочельник, успев рассказать своим детям про *лед-девять*.

Его дети разделили кусочек *льда-девять* между собой.

24. Что такое вампир

Тут мне придется объяснить, что Боконон называет *вампитером*.

Вампир есть ось всякого *карасса*. Нет *карасса* без *вампитера*, учит вас Боконон, так же как нет колеса без оси.

Вампитером может служить что угодно — дерево, камень, животное, идея, книга, мелодия, святой Грааль. Но что бы ни служило этим *вампитером*, члены одного *карасса* вращаются вокруг него в величественном хаосе спирального облака.

Разумеется, орбита каждого члена *карасса* вокруг их общего *вампитера* — чисто духовная орбита. Не тела их, а души описывают круги. Как учит нас петь Боконон:

Кружимся, кружимся — и все на месте:
Ноги из олова, крылья из жести.

Но *вампитеры* уходят, и *вампитеры* приходят, учит нас Боконон.

В каждую данную минуту у каждого *карасса* фактически есть два *вампитера*: один приобретает все большее значение, другой постепенно его теряет.

И я почти уверен, что, пока я разговаривал с доктором Бридом в Илиуме, *вампитером* моего *карасса*, набравшим силу, была эта кристаллическая форма воды, эта голубовато-белая драгоценность, этот роковой зародыш гибели, называемый *лед-девять*.

В то время как я разговаривал с доктором Бридом в Илиуме, Анджела, Фрэнклин и Ньютон Хонникеры уже владели зародышами *льда-девять*, зародышами, зачатými их отцом, так сказать, осколками мощной глыбы.

И я твердо уверен, что дальнейшая судьба этих трех осколков *льда-девять* была основной заботой моего *карасса*.

25. Самое главное в жизни доктора Хонникера

Вот все, что я могу пока сказать о *вампитере* моего *карасса*.

После неприятного интервью с доктором Бридом в научно-исследовательской лаборатории Всеобщей сталелитейной компании я попал в руки мисс Фауст. Ей было приказано вывести меня вон.

Однако я уговорил ее сначала показать мне лабораторию покойного доктора Хонникера.

По пути я спросил ее, хорошо ли она знала доктора Хонникера.

Лукаво улыбнувшись, она ответила мне откровенно и очень неожиданно:

— Не думаю, что его можно было легко узнать. Понимаете, когда люди говорят, что знают кого-то хорошо или знают мало, они обычно имеют в виду всякие тайны, которые им либо поверяли, либо нет. Они подразумевают всякие подробности семейной жизни, интимные дела, любовные истории, — сказала эта милая старушка. — И в жизни доктора Хонникера было все, что бывает у каждого человека, но для него это было не самое главное.

— А что же было самое главное? — спросил я.

— Доктор Брид постоянно твердит мне, что главным для доктора Хонникера была истина.

— Но вы как будто не согласны с ним?

— Не знаю — согласна или не согласна. Но мне просто трудно понять, как истина сама по себе может заполнить жизнь человека.

Мисс Фауст вполне созрела, чтобы понять учение Боконона.

26. Что есть Бог?

— Вам когда-нибудь приходилось разговаривать с доктором Хонником? — спросил я мисс Фауст.

— Ну конечно! Я часто с ним говорила.

— А вам особо запомнился какой-нибудь разговор?

— Да, однажды он сказал: он ручается головой, что я не смогу сказать ему какую-нибудь абсолютную истину. А я ему говорю: «Бог есть любовь».

— А он что?

— Он сказал: «Что такое Бог? Что такое любовь?»

— Гм...

— Но знаете, ведь Бог действительно и есть любовь, — сказала мисс Фауст, — что бы там ни говорил доктор Хонникер.

27. Люди с Марса

Комната, служившая лабораторией доктору Хоннику, помещалась на шестом, самом верхнем этаже здания.

Поперек двери был протянут алый шнур, на стене медная дощечка с надписью, объяснявшей, почему эта комната считается святилищем:

В ЭТОЙ КОМНАТЕ
ДОКТОР ФЕЛИКС ХОННИКЕР,
ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ,
ПРОВЕЛ ПОСЛЕДНИЕ
ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ ЖИЗНИ.

ТАМ, ГДЕ БЫЛ ОН, ПРОХОДИЛ
ПЕРЕДНИЙ КРАЙ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ.

ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА
В ИСТОРИИ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ПОКА ЕЩЕ ОЦЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО.

Мисс Фауст предложила отстегнуть алый шнур, чтобы я мог войти в помещение и ближе соприкоснуться с обитавшими там призраками, если они еще остались.

Я согласился.



— Тут все как при нем, — сказала она, — только на одном из столов валялись резиновые ленты.

— Резиновые ленты?

— Не спрашивайте зачем. И вообще не спрашивайте, зачем все это нужно.

Старик оставил в лаборатории страшнейший беспорядок. Но мое внимание первым делом привлекло множество дешевых игрушек, разбросанных на полу. Бумажный змей со сломанным хребтом. Игрушечный гироскоп, закрученный веревкой и готовый завертеться. И волчок. И трубка для пуска мыльных пузырей. И аквариум с каменным гротом и двумя черепахами.

— Он любил дешевые игрушечные лавки, — сказала мисс Фауст.

— Оно и видно.

— Несколько самых знаменитых своих опытов он проделал с оборудованием, стоившим меньше доллара.

— Грош сбережешь — заработаешь грош.

Было тут и немало обычного лабораторного оборудования, но оно казалось скучным рядом с дешевыми яркими игрушками.

На бюро доктора Хонникера лежала груда нераспечатанной корреспонденции.

— По-моему, он никогда не отвечал на письма, — проговорила мисс Фауст. — Если человек хотел получить от него ответ, ему приходилось звонить по телефону или приходить сюда.

На бюро стояла фотография в рамке. Она была повернута ко мне обратной стороной, и я старался угадать, чей это портрет.

— Жена?

— Нет.

— Кто-нибудь из детей?

— Нет.

— Он сам?

— Нет.

Пришлось взглянуть. Я увидел, что это была фотография скромного памятника военных лет перед зданием суда в каком-то городишке. На мемориальной доске были перечислены имена жителей поселка, погибших на разных войнах, и я решил, что фото сделано ради этого. Имена можно было прочесть, и я уже решил было, что найду там фамилию Хонникер. Но ее там не было.

— Это одно из его увлечений, — сказала мисс Фауст.

— Что именно?

— Фотографировать, как сложены пушечные ядра на разных городских площадях. Очевидно, на этой фотографии они сложены как-то необычно.

— Понимаю.

— Человек он был необычный.

— Согласен.

— Может быть, через миллион лет все будут такие умные, как он, все поймут, что он понимал. От среднего современного человека он отличался, как житель Марса.

— А может быть, он и вправду был марсианин, — предположил я.

— Если так, то понятно, почему у него все трое детей такие странные.

28. Майонез

Пока мы с мисс Фауст ждали лифта, чтобы спуститься на первый этаж, она сказала, что лишь бы не пришел пятый номер.

Не успел я ее спросить почему, как прибыл именно пятый номер.

Лифтером на нем служил престарелый маленький негр по имени Лаймен Эндлесс Ноулз. Ноулз был сумасшедший — это сразу бросалось в глаза, потому что, стоило ему удачно состричь, он хлопал себя по заду и кричал: «Да-с! Да-с!»

— Здорово, братья антропоиды, лилейный носик и нос рулем! — приветствовал он мисс Фауст и меня. — Да-с! Да-с!

— Первый этаж, пожалуйста! — холодно бросила мисс Фауст. Ноулзу надо было только закрыть двери и нажать кнопку, но именно это он пока что делать не собирался. А может быть, и вообще не собирался.

— Один человек мне говорил, — сказал старик, — что здешние лифты — это архитектура племени майя. А я до сих пор и не знал. Я ему говорю: кто же я тогда? Майонез? Да-с! Да-с! И пока он думал, что ответить, я его как стукну еще одним вопросом, а он как подскочит, башка у него как начнет работать! Да-с! Да-с!

— Нельзя ли нам спуститься, мистер Ноулз? — попросила мисс Фауст.

— Я его спрашиваю, — продолжал Ноулз, — тут у нас исследовательская лаборатория? Ис-следовать — значит идти по следу, верно? Значит, они нашли какой-то след, а потом его потеряли, вот им и надо исследовать. Чего же они для такого дела выстроили целый домище с майонезовыми лифтами и набили его всякими психами? Чего они ищут? Какой след исследуют? Кто тут чего потерял? Да-с! Да-с!

— Очень интересно! — вздохнула мисс Фауст. — А теперь можно нам спуститься?

— А мы только спускаться и можем! — крикнул мистер Ноулз. — Тут верх, поняли? Попросите меня подняться, а я скажу — нет, даже для вас — не могу! Да-с! Да-с!

— Так давайте спустимся вниз! — сказала мисс Фауст.

— Погодите, сейчас. Этот джентльмен посетил бывшую лабораторию доктора Хонникера?

— Да, — сказал я. — Вы его знали?

— Ближе нельзя, — сказал он. — И знаете, что я сказал, когда он умер?

— Нет.

— Я сказал: «Доктор Хонникер не умер».

— Ну?

— Он перешел в другое измерение. Да-с! Да-с!

Ноулз нажал кнопку, и мы поехали вниз.

— А детей Хонникера вы знали?

— Ребята — бешеные щенята! — сказал он. — Да-с! Да-с!

29. Ушли, но не забыты

Еще одно мне непременно хотелось сделать в Илиуме. Я хотел сфотографировать могилу старика. Я зашел к себе в номер, увидел, что Сандра ушла, взял фотоаппарат и вызвал такси.

Сыпала снежная крупа, серая, въедливая. Я подумал, что могилка старика, засыпанная снежной крупой, хорошо выйдет на фотографии и, пожалуй, даже пригодится для обложки моей книги *День, когда наступил конец света*.

Смотритель кладбища объяснил мне, как найти могилы семьи Хонникеров.

— Сразу увидите, — сказал он, — на них самый высокий памятник на всем кладбище.

Он не соврал. Памятник представлял собой что-то вроде мраморного фаллоса, двадцати футов вышиной и трех футов в диаметре. Он был весь покрыт изморозью.

— О, черт! — сказал я, выходя с фотокамерой из машины. — Ничего не скажешь — подходящий памятник отцу атомной бомбы. — Меня разбирал смех.

Я попросил водителя стать рядом с памятником, чтобы сравнить размеры. И еще попросил его соскрести изморозь, чтобы видно было имя покойного.

Он так и сделал.

И там, на колонне, шестидюймовыми буквами, Богом клянись, стояло одно слово:

МАМА

30. Ты уснула

— Мама? — не веря глазам, спросил водитель. Я еще больше соскреб изморозь, и открылся стишок:

Молю тебя, родная мать,
Нас беречь и охранять

Анджела Хонникер

А под этим стишком стоял другой:

Не умерла — уснула ты,
Нам улыбнешься с высоты,
И нам не плакать, а смеяться,
Тебе в ответ лишь улыбаться.

Фрэнклин Хонникер

А под стихами в памятник был вделан цементный квадрат с отпечатком младенческой руки. Под отпечатком стояли слова:

Крошка Ньют

— Ну, ежели это мама, — сказал водитель, — так какую хреновину они поставили на папину могилку? — Он доба-

вил не совсем пристойное предположение насчет того, какой подходящий памятник следовало бы поставить там.

Могилу отца мы нашли рядом. Там, как я потом узнал, по его завещанию был поставлен мраморный куб сорок на сорок сантиметров.

ОТЕЦ —

гласила надпись.

31. Еще один Брид

Когда мы выезжали с кладбища, водитель такси вдруг забеспокоился — в порядке ли могила его матери. Он спросил, не возражаю ли я, если мы сделаем небольшой крюк и взглянем на ее могилку.

Над могилой его матери стояло маленькое жалкое надгробие, впрочем, особого значения это не имело.

Но водитель спросил, не буду ли я возражать, если мы сделаем еще небольшой крюк, на этот раз он хотел заехать в лавку похоронных принадлежностей, через дорогу от кладбища.

Тогда я еще не был боконистом и потому с неохотой дал согласие.

Конечно, будучи боконистом, я бы с радостью согласился пойти куда угодно по чьей угодно просьбе. «Предложение неожиданных путешествий есть урок танцев, преподанных Богом», — учит нас Боконон.

Похоронное бюро называлось «Авраам Брид и сыновья». Пока водитель разговаривал с хозяином, я бродил среди памятников — безмянных до поры до времени надгробий.

В выставочном помещении я увидел, как развлекались в этом бюро: над мраморным ангелом висел венок из омелы.

Подножие статуи было завалено кедровыми ветками, на шее ангела красовалась гирлянда электрических елочных лампочек, придавая памятнику какой-то домашний вид.

— Сколько он стоит? — спросил я продавца.

— Не продается. Ему лет сто. Мой прадедушка, Авраам Брид, высек эту статую.

— Значит, ваше бюро тут давно?

— Очень давно.

— А вы тоже из семьи Бридов?

— Четвертое поколение в этом деле.

— Вы не родственник доктору Эйзе Бриду, директору научно-исследовательской лаборатории?

— Я его брат. — Он представился: — Марвин Брид.

— Как тесен мир, — заметил я.

— Особенно тут, на кладбище. — Марвин Брид был человек откормленный, вульгарный, хитроватый и сентиментальный.

32. Деньги-динамит

— Я ТОЛЬКО что от вашего брата, — объяснил я Марвину Бриду. — Я — писатель. Я расспрашивал его про доктора Феликса Хонникера.

— Такого чудака поискать, как этот сукин сын. Это я не про брата, про Хонникера.

— Это вы ему продали памятник для его жены?

— Не ему — детям. Он тут ни при чем. Он даже не удосужился поставить камень на ее могилу. А потом, примерно через год после ее смерти, пришли сюда трое хонникеровских ребят — девочка высоченная такая, мальчик и малыш. Они потребовали самый большой камень за любые деньги, и у старших были с собой стишки, они хотели их высечь на кам-

не. Хотите — смейтесь над этим памятником, хотите — нет, но для ребят это было таким утешением, какого за деньги не купишь. Вечно они сюда ходили, а цветы носили уж не знаю сколько раз в году.

— Наверно, памятник стоил огромных денег?

— Куплен на Нобелевскую премию. Две вещи были куплены на эти деньги — дача на мысе Код и этот памятник.

— На динамитные деньги? — удивился я, подумав о взрывчатой злобе динамита и совершенном покое памятника илетней дачи.

— Что?

— Нобель ведь изобрел динамит.

— Да, всякое бывает...

Будь я тогда боконистом и распутывай невероятно запутанную цепь событий, которая привела динамитные деньги именно сюда, в похоронное бюро, я бы непременно прошептал: «Дела, дела, дела...»

Дела, дела, дела, шепчем мы, боконисты, раздумывая о том, как сложна и необъяснима хитрая механика нашей жизни.

Но, будучи еще христианином, я мог только сказать:

«Да, смешная штука жизнь».

— А иногда и вовсе не смешная, — сказал Марвин Брид.

33. Неблагодарный человек

Я спросил Марвина Брида, знал ли он Эмили Хонникер, жену Феликса, мать Анджелы, Фрэнка и Ньюта, женщину, похороненную под чудовищным обелиском.

— Знал ли я ее? — Голос у него стал мрачным. — Знал ли я ее, мистер? Конечно же, знал. Я хорошо знал Эмили. Вместе учились в илиумской средней школе. Были вице-председателями школьного комитета. Ее отец держал музыкальный ма-

газин. Она умела играть на любом инструменте. А я так в нее втюрился, что забросил футбол, стал учиться играть на скрипке. Но тут приехал домой на весенние каникулы мой старший братец Эйза — он учился в Технологическом институте, — и я оплошал: познакомил его со своей любимой девушкой. — Марвин Брид щелкнул пальцами: — Он ее и отбил, вот так, сразу. Тут я расколошматил свою скрипку — а она была дорогая, семьдесят пять долларов, — прямо об медную шишку на кровати, пошел в цветочный магазин, купил там шикарную коробку — в такой посылают розы дюжинами, — положил туда разбитую скрипку и отослал ее с посылным.

— Она была хорошенькая?

— Хорошенькая? — повторил он. — Слушайте, мистер, когда я увижу на том свете первого ангела, если только Богу угодно будет меня до этого допустить, так я рот разину не на красоту ангельскую, а только на крылышки за спиной, потому что красоту ангельскую я уже видал. Не было человека во всем Илиуме, который в нее не влюбился бы, кто явно, а кто тайно. Она за любого могла выйти, только бы захотела. Он сплюнул на пол. А она возьми и выйди за этого голландца, сукина сына этого! Была невестой моего брата, а тут он явился, ублюдок этот. Отнял ее у брата — вот так! — Марвин Брид снова щелкнул пальцами. — Наверно, это предательство и неблагодарность и вообще отсталость и серость называть покойника, да еще такого знаменитого человека, как Феликс Хонникер, сукиным сыном. Знаю, все знаю, считалось, что он такой безобидный, такой мягкий, мечтательный, никогда мухи не обидит, и плевать ему на деньги, на власть, на шикарную одежду, на автомобили и всякое такое, знаю, как он отличался от всех нас, был лучше нас, такой невинный агнец, чуть ли не Христос, разве что не сын Божий.

Доводить до конца свою мысль Марвин Брид не стал, но я попросил его договорить.



— Как же так? — сказал он. — Как же так?

Он отошел к окну, выходящему на кладбищенские ворота.

— Как же так? — пробормотал он, глядя на ворота, на снежную слякоть и на хонникеровский обелиск, смутно видневшийся вдалеке.

— Но как же так, — сказал он, — как же можно считать невинным агнцем человека, который помог создать атомную бомбу? И как можно называть добрым человека, который пальцем не пошевелил, когда самая милая, самая красивая женщина на свете умирала от недостатка любви, от бесчувственного отношения. — Он весь передернулся. — Иногда я думаю, уж не родился ли он покойником? Никогда не встречал человека, который настолько не интересовался бы жизнью. Иногда мне кажется: вот в чем вся наша беда — слишком много людей занимают высокие места, а сами трупы трупами.

34. Вин-дит

Именно в этой мастерской надгробий я испытал свой первый *вин-дит*. *Вин-дит* — слово боконистское, и означает оно, что ты лично испытываешь внезапно толчок по направлению к боконизму, к пониманию того, что Господь Бог все про тебя знает и что у Него есть довольно сложные планы, касающиеся именно тебя.

Мой *вин-дит* имел отношение к мраморному ангелу под омеловым венком. Водитель такси вбил себе в голову, что должен во что бы то ни стало поставить эту статую на могилу своей матери. Он стоял перед статуей со слезами на глазах.

Высказавши свое мнение о Феликсе Хонникере, Марвин Брид снова уставился на кладбищенские ворота.

— Может, этот чертов голландец, сукин сын, и был современным святым, — добавил он вдруг, — но черт меня разде-



ри, если он хоть раз в жизни сделал не то, чего ему хотелось, и пропади я пропадом, если он не добивался всего, чего хотел. Музыка, — сказал он, помолчав.

— Простите?

— Вот почему она вышла за него замуж. У него, говорит, душа настроена на самую высокую музыку в мире, на музыку звездных миров. — Он покачал головой. — Чушь!

Потом, взглянув на ворота, он вспомнил, как в последний раз видел Фрэнка Хонникера, строителя моделей, мучителя насекомых в банке.

— Да, Фрэнк, — сказал он.

— А что?

— В последний раз я его, чудака несчастного, видал, когда он, бедняга, выходил из кладбищенских ворот, похороны еще шли. Отца в могилу опустить не успели, а Фрэнк уже вышел за ворота. Поднял палец, как только первая машина показалась. Новый такой «понтиак» с номером штата Флорида. Машина остановилась. Фрэнк сел в нее, и больше никто в Илиуме в глаза его не видал.

— Я слышал — его полиция ищет.

— Да это случайно, недоразумение. Какой же Фрэнк преступник? У него на это духу не хватит. Он только одно и умел делать — модели всякие. И на одной работе только и держался — у Джека, в лавке «Уголок любителя», он там и продавал всякие игрушечные модели, и сам их делал, и любителей учил, как самим сделать модель. Когда он отсюда уехал во Флориду, он получил место в мастерской моделей в Сарасате. Оказалось, что эта мастерская служила прикрытием для банды, которая воровала «кадиллаки», грузила их на списанные военные самолеты и переправляла на Кубу. Вот как Фрэнка впутали в эту историю. Думается мне, что полиция его не нашла, потому что его уже нет в живых. Слишком много лишнего он услышал, пока

приклеивал синтетиконом трубы на игрушечный крейсер «Миссури».

— А вы не знаете, где теперь Ньют?

— Как будто у сестры, в Индианаполисе. Знаю только, что он спутался с этой лилипуткой и его выгнали с первого курса медицинского факультета в Корнелле. Да разве можно себе представить, чтобы карлик стал доктором? А дочка в этой несчастной семье выросла огромная, нескладная, больше шести футов ростом. И ваш этот знаменитый мудрец не дал девочке кончить школу, взял ее из последнего класса, чтобы было кому о нем заботиться. Одно у нее было утешение — кларнет, она на нем играла в школьном оркестре «Сто бродячих музыкантов».

Когда она ушла из школы, — продолжал Брид, — ее никто никуда не приглашал. И подруг у нее не было, а ее отцу и в голову не приходило дать ей денег, ей и пойти было некуда. И знаете, что она делала?

— Нет.

— Запретя, бывало, вечером у себя в комнате, заведет пластинку и играет в унисон на кларнете. И по моему мнению, самое большое чудо нашего века — это то, что такая особа нашла себе мужа.

— Сколько хотите за этого ангела? — спросил водитель такси.

— Я же вам сказал — не продается.

— Наверно, сейчас уже никто из мастеров такую работу делать не умеет? — сказал я.

— У меня племянник есть, он все умеет, — сказал Брид, — сын Эйзы. Очень шел в гору, мог бы стать большим ученым. А тут сбросили бомбу на Хиросиму, и мальчик сбежал, напился, пришел ко мне, говорит: хочу работать резчиком по камню.

— Он у вас работает?

— Нет, он скульптор в Риме.

— Если бы вам дать хорошую цену, — сказал водитель, — вы бы продали этот памятник?

— Возможно. Но цена-то ему немалая.

— А где тут надо высечь имя? — спросил водитель.

— Да тут имя уже есть, на подножии, — сказал Брид. Но мы не видели надписи, она была закрыта венками, сложенными у подножия статуи.

— Значит, заказ так и не востребовали? — спросил я.

— За него даже и не заплатили. Рассказывают так: этот немец, иммигрант, ехал с женой на запад, а она тут, в Илиуме, умерла от оспы. Он заказал этого ангела для надгробия жене и показал моему прадеду деньги, обещал хорошо заплатить. А потом его ограбили. Вытащили у него все до последнего цента. У него только и осталось имущества, что та земля, которую он купил в Индиане за глаза. Он туда и двинулся, обещал, что вернется и заплатит за ангела.

— Но так и не вернулся? — спросил я.

— Нет. — Марвин Брид отодвинул ногой ветки, чтобы мы могли разглядеть надпись на пьедестале. Там была написана только фамилия. — И фамилия какая-то чудная, — сказал он, — наверно, потомки этого иммигранта, если они у него были, уже американизировали свою фамилию. Наверно, они давно стали Джонсами, Блейками или Томсонами.

— Ошибаетесь, — пробормотал я.

Мне показалось, что комната опрокинулась и все стены, потолок и пол сразу разверзлись, как пасти пещер, открывая путь во все стороны, в бездну времен. И мне привиделось, в духе учения Боконона, единство всех странников мира: мужчин, женщин, детей, — единство во времени, в каждой его секунде.

— Ошибаетесь, — сказал я, когда исчезло видение.

— А вы знаете людей с такой фамилией?

— Да.

Эта фамилия была и моей фамилией.

35. «Уголок любителя»

По дороге в гостиницу я увидел мастерскую Джека «Уголок любителя», где раньше работал Фрэнклин Хонникер. Я велел водителю остановиться и подождать меня.

Зайдя в лавку, я увидел самого Джека, хозяина всех этих крошечных паровозов, поездов, аэропланов, пароходов, фонарей, деревьев, танков, ракет, полисменов, пожарных, пап, мам, кошек, собачек, курочек, солдатиков, уток и коровок. Человек этот был мертвенно-бледен, человек этот был суров, неопрятен и очень кашлял.

— Какой он был, Фрэнклин Хонникер? — повторил он мой вопрос и закашлялся долгим-долгим кашлем. Он покачал головой, и видно было, что он обожает Фрэнка больше всех на свете. — На такой вопрос словами не ответишь. Лучше я вам покажу, что это был за мальчик. — Он снова закашлялся. — Поглядите, и сами поймете.

И он повел меня в подвал при лавке, где он жил. Там стояли двуспальная кровать, шкаф и электрическая плитка. Джек извинился за неубранную постель.

— От меня жена ушла вот уже с неделю. — Он закашлялся. — Все еще никак не приспособлюсь к такой жизни.

И тут он повернул выключатель, и ослепительный свет залил дальний конец подвала.

Мы подошли туда и увидели, что лампа, как солнце, озаряла маленькую сказочную страну, построенную на фанере, на острове, прямоугольном, как многие города в Канзасе. И беспокойная душа, любая душа, которая попыталась бы узнать, что лежит за зелеными пределами этой страны, буквально упала бы за край света.

Все детали были так изумительно пропорциональны, так тонко выработаны и окрашены, что не надо было даже прищуриваться, чтобы поверить, что это жилье живых людей, —

все эти холмы, озера, реки, леса, города — все, что так дорого каждому доброму гражданину своего края.

И повсюду тонким узором вилась лапша железнодорожных путей.

— Взгляните на двери домиков, — с благоговением сказал Джек.

— Чисто сделано. Точно.

— У них дверные ручки настоящие, и молоточком можно постучаться.

— Черт!

— Вы спрашивали, что за мальчик был Фрэнклин Хонникер. Это он выстроил. — Джек задохнулся от кашля.

— Все сам?

— Ну, я тоже помогал, но все делалось по его чертежам. Этот мальчишка — гений.

— Да, ничего не скажешь.

— Братишка у него был карлик, слышали?

— Слышал. Он снизу кое-что припаивал.

— Да, все как настоящее.

— Не так это легко, да и не за ночь все выстроили.

— Рим тоже не один день строился.

— У этого мальчика, в сущности, семьи и не было, понимаете?

— Да, мне так говорили.

— Тут был его настоящий дом. Он тут провел тыщу часов, если не больше. Иногда он и не заводил эти поезда, просто сидел и глядел, как мы с вами сейчас.

— Да, тут есть на что поглядеть. Прямо путешествие в Европу, столько тут всякого, если посмотреть поближе.

— Он такое видел, что нам с вами и не заметить. Вдруг сорвет какой-нибудь холмик — ну совсем как настоящий, для нас с вами. И правильно делает. Устроит озеро на месте холмика, поставит мостик, и все станет раз в десять красивей, чем было.

— Такой талант не всякому дается.

— Правильно! — восторженно крикнул Джек. Но этот порыв ему дорого обошелся — он страшно закашлялся. Когда кашель прошел, слезы все еще лились у него из глаз. — Слушайте, — сказал он, — ведь я говорил мальчику, пусть бы пошел в университет, выучился на инженера, смог бы работать на Американскую летную компанию или еще на какое-нибудь предприятие, покрупнее — вот где его придумки нашли бы настоящую поддержку.

— По-моему, вы тоже здорово поддерживали его.

— Добро бы так, хотелось бы, чтоб так оно и было, — вздохнул Джек. — Но у меня средств не хватало. Я ему давал материалы, когда мог, но он почти все покупал сам на свои заработки, он работал там, наверху, у меня в лавке. Ни гроша на другое не тратил, никогда не пил, не курил, с девушками не знался, по автомобилям с ума не сходил.

— Побольше бы таких в нашей стране.

Джек пожал плечами:

— Что ж поделаешь... Наверно, бандиты там, во Флориде, его прикончили. Боялись, что он проговорится.

— Да, я тоже так думаю.

Джек вдруг не выдержал и заплакал.

— Наверно, они и представления не имели, сукины дети, — всхлипнул он, — кого они убивают.

36. Мяу

Во время своей поездки в Илиум и за Илиум — она заняла примерно две недели, включая Рождество, — я разрешил неимущему поэту по имени Шерман Кребс бесплатно пожить в моей нью-йоркской квартире. Моя вторая жена бросила меня из-за того, что с таким пессимистом, как я, оптимистке жить невозможно.

Кребс был бородатый мальчик, белобрысый иисусик с глазами спаниеля. Я с ним близко знаком не был. Встретились мы на коктейле у знакомых, и он представился как председатель национального комитета поэтов и художников в защиту немедленной ядерной войны. Он попросил убежища, не обязательно — бомбоубежища, и я случайно смог ему помочь.

Когда я вернулся в свою квартиру, все еще взволнованный странным предзнаменованием невостребованного мраморного ангела в Илиуме, я увидел, что в моей квартире эти нигилисты устроили форменный дебош. Кребс выехал, но перед уходом он нагнал счет на триста долларов за междугородные переговоры, прожег в пяти местах мой диван, убил мою кошку, загубил мое любимое деревце и сорвал дверцу с аптечки.

На желтом линолеуме моей кухни он написал чем-то, что оказалось экскрементами, такой стишок:

Кухня что надо,
Но душа не рада
Без
Му-со-ро-про-вода.

И еще одно послание было начертано губной помадой прямо на обоях над моей кроватью. Оно гласило: «Нет и нет, нет, нет, говорит цыпа-дрипа!»

А на шее убитой кошки висела табличка. На ней стояло «Мяу!»

Кребса я с тех пор не встречал. И все же я чувствую, что и он входит в мой *карасс*. А если так, то он служил *ранг-рангом*. А *ранг-ранг*, по учению Боконона, — это человек, который отваживает других людей от определенного образа мыслей тем, что примером своей собственной *ранг-ранговой* жизни доводит этот образ мыслей до абсурда.

Быть может, я уже отчасти был склонен считать, что в предзнаменовании мраморного ангела не стоит искать смысла, и склонен сделать вывод, что вообще все на свете — бессмыслица. Но когда я увидел, что наделал у меня нигилист Кребс, особенно то, что он сделал с моей чудной кошкой, всякий нигилизм мне опротивел.

Какие-то силы не пожелали, чтобы я стал нигилистом. И миссия Кребса, знал он это или нет, была в том, чтобы разочаровать меня в этой философии. Молодец, мистер Кребс, молодец.

37. Наш современник — генерал-майор

И вдруг в один прекрасный день, в воскресенье, я узнал, где находился беглец от правосудия, создатель моделей, Великий Вседержитель и Вельзевул жуков в банке, — словом, узнал, где найти Фрэнклина Хонникера.

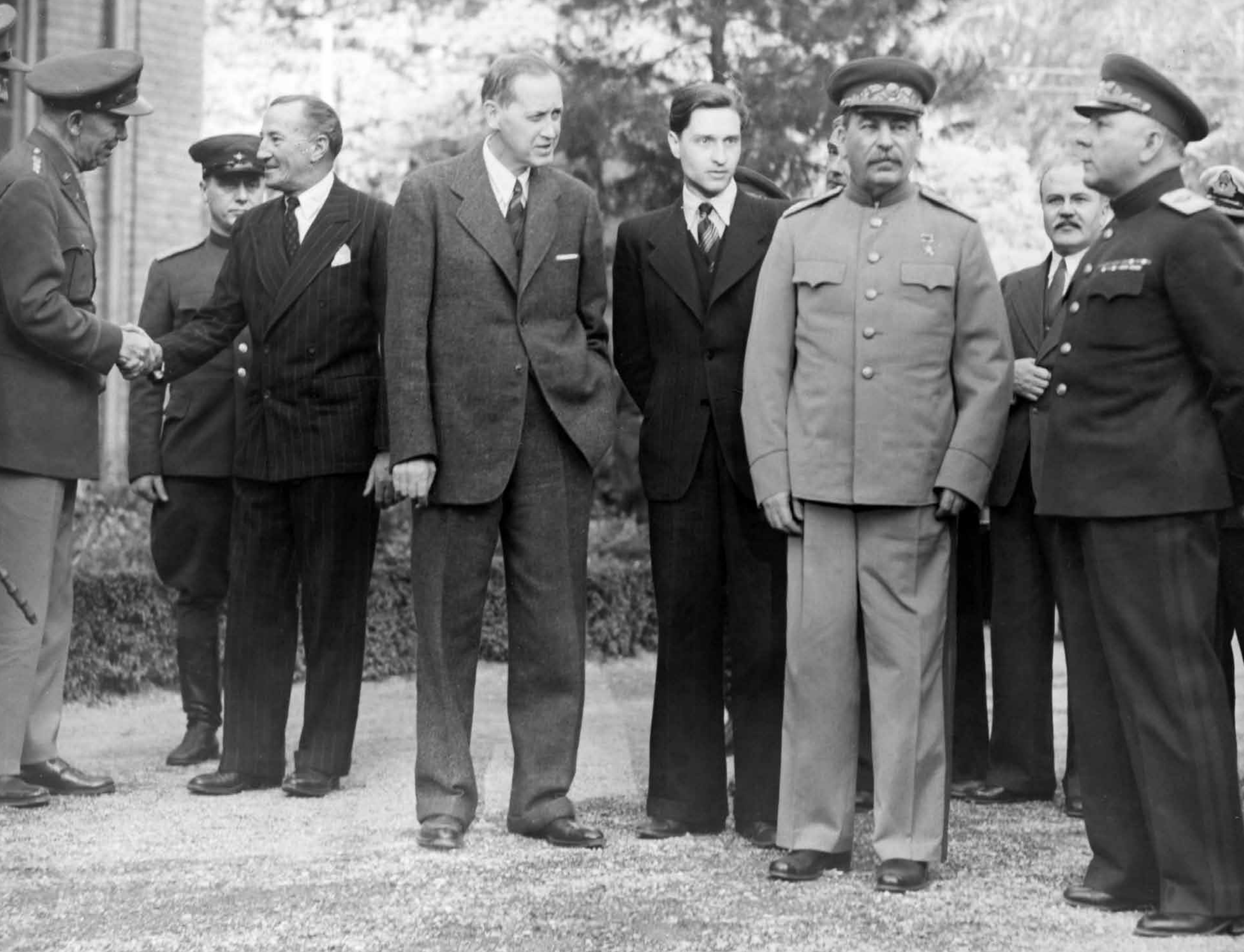
Он был жив!

Узнал я это из специального приложения к «Нью-Йорк Санди Таймс». Это была платная реклама некоей банановой республики. На обложке вырисовывался профиль самой душераздирающе-прекрасной девушки на свете.

За профилем девушки бульдозеры срезали пальмы, расчищая широкий проспект. В конце проспекта высились стальные каркасы трех новых зданий.

«Республика Сан-Лоренцо процветает! — говорилось в тексте на обложке. — Здоровый, счастливый, прогрессивный, свободолюбивый красавец народ непреодолимо привлекает как американских дельцов, так и туристов».

Но читать весь проспект я не торопился. С меня было достаточно девушки на обложке — более чем достаточно, по-



тому что я влюбился в нее с первого взгляда. Она была очень юная, очень серьезная и вся светила пониманием и мудростью.

Кожа у нее была шоколадная. Волосы — золотой лен.

Звали ее, как говорилось на обложке, Мона Эймонс Монзано. Она была приемной дочерью диктатора острова Сан-Лоренцо.

Я открыл проспект, надеясь найти еще фотографии изумительной мадонны-полукровки.

Вместо них я нашел портрет диктатора острова, Мигеля «Папы» Монзано, — гориллы лет под восемьдесят.

Рядом с портретом «Папы» красовалась фотография узкоплечего, остролицего, очень невзрослого юноши. На нем был ослепительно белый военный мундир с чем-то вроде аксельбантов, усыпанных драгоценными камнями. Под близко поставленными глазами виднелись большие синие круги. Очевидно, он всю жизнь требовал, чтобы парикмахеры брили ему затылок и виски и не трогали макушку. И он отрастил себе огромный жесткий кок, что-то вроде невероятно высокого волосяного куба с перманентом.

Подпись под этим малопривлекательным юнцом говорила, что это генерал-майор Фрэнклин Хонникер, министр науки и прогресса республики Сан-Лоренцо.

Ему было двадцать шесть лет.

38. Акуля столица мира

Как я узнал из проспекта, приложенного к нью-йоркскому «Санди Таймс», остров Сан-Лоренцо имел пятьдесят миль в длину и двадцать — в ширину. Население составляло четверта пятьдесят тысяч душ, «беззаветно преданных идеалам Свободного мира».

Наивысшей точкой острова была вершина горы Маккэйб — одиннадцать тысяч футов над уровнем моря. Столица острова — город Боливар — являлась «...сугубо современным городом, расположенным у гавани, могущей вместить весь флот Соединенных Штатов. Главный экспорт — сахар, кофе, бананы, индиго и кустарные изделия».

«А спортсмены-рыболовы признали Сан-Лоренцо первой в мире столицей по промыслу акул».

Я не мог понять, каким образом Фрэнклин Хонникер, не окончивший даже средней школы, получил такое шикарное место. Но мое недоумение отчасти рассеялось, когда я прочел очерк о Сан-Лоренцо, подписанный «Папой» Монзано.

«Папа» писал, что Фрэнк является архитектором, создавшим «генеральный план Сан-Лоренцо», включающий новые дороги, сельскую электрификацию, очистительные сооружения, отели, госпитали, клиники, железные дороги — словом, все строительство. И хотя очерк был краток и явно подредактирован, «Папа» пять раз назвал Фрэнка сыном — «кровью от крови» — доктора Феликса Хонникера.

Эта фраза отдавала каким-то людоедством. Видно, «Папа» хотел сказать, что Фрэнк — плоть от плоти старого колдуна.

39. Фата-Моргана

Немного света пролил еще один очерк в проспекте, очень цветистый очерк под названием «Что дал Сан-Лоренцо одному американцу». Написан он был, несомненно, подставным лицом, но автором значился генерал-майор Фрэнклин Хонникер.

В этом очерке Фрэнк рассказывал, как он очутился один на полузатонувшей семидесятифутовой яхте в Карибском море. Как он там очутился и почему оказался в одиночестве, он не

объяснил. Он намекнул, однако, что пунктом отправления была Куба.

«Роскошное прогулочное судно гибло, и вместе с ним — моя бессмысленная жизнь, — говорилось в очерке. — За четыре дня я съел только две галеты и одну чайку. Плавники акул-людоедов бороздили теплое море вокруг меня, иглозубые барракуды вспенивали волны.

Я поднял взор к Творцу, готовый принять любую участь, предначертанную им. И моему взору открылась сияющая вершина над облаками. Может быть, это была Фата-Моргана, жестокий обман, мираж?»

Я тут же посмотрел в словаре «Фата-Моргана» и узнал, что так действительно называется мираж по имени Морганы Ле Фей, волшебницы, жившей на дне озера. Она прославилась тем, что появлялась в Мессинском проливе, между Калабрией и Сицилией. Короче говоря, Фата-Моргана — глупый вымысел поэтов.

А то, что Фрэнк увидел со своего тонущего суденышка, была вовсе не жестокая Фата-Моргана, а вершина горы Маккэйб. И ласковые волны вынесли яхту Фрэнка на каменистый берег Сан-Лоренцо, словно сам Всевышний направил его туда.

Фрэнк ступил на берег твердой пятой и спросил, где он находится. В очерке даже не упоминалось, что у этого сукина сына был с собой в карманном термосе осколок *льда-девять*.

Беспаспортного Фрэнка посадили в тюрьму города Болливера. Там его посетил «Папа» Монзано, который пожелал узнать, не кровный ли родственник Фрэнк бессмертного доктора Феликса Хонникера.

«Я подтвердил, что я — его сын, — говорилось в очерке. — И с этой минуты все пути на Сан-Лоренцо были для меня открыты».

40. Обитель надежды и милосердия

СЛУЧИЛОСЬ ТАК, должно было так случиться, как сказал бы Боконон, что один журнал заказал мне очерк о Сан-Лоренцо. Но очерк касался не «Папы» Монзано и не Фрэнка. Я должен был написать о докторе Джулиане Касле, американском сахарозаводчике — миллионере, который в сорок лет, последовав примеру доктора Альберта Швейцера, основал бесплатный госпиталь в джунглях и посвятил всю жизнь страдальцам другой расы.

Госпиталь Касла назывался «Обитель Надежды и Милосердия в джунглях». Джунгли эти находились на Сан-Лоренцо, среди диких зарослей кофейных деревьев, на северном склоне горы Маккэйб.

Когда я полетел на Сан-Лоренцо, Джулиану Каслу было шестьдесят лет.

Двадцать лет он вел абсолютно бескорыстную жизнь.

Предыдущие, корыстные годы он был знаком читателям иллюстрированных журнальчиков не меньше, чем Томми Манвиль, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Барбара Хаттон. Прославился он развратом, пьянством, бешеным вождением машины и уклонением от военной службы. Он обладал невероятным талантом швырять на ветер миллионы, принося этим человечеству одни несчастья.

Он был женат пять раз, но произвел на свет только одного сына.

Этот единственный сын, Филипп Касл, был директором и владельцем отеля, где я собирался остановиться. Отель назывался «Каса Мона», в честь Моны Эймонс Монзано, светловолосой негритянки, изображенной на проспекте, приложенном к «Нью-Йорк Санди Таймс». «Каса Мона», новый отель, и был одним из трех новых зданий, на фоне которых красовался портрет Моны. И хотя я еще не понимал, что какие-то

ласковые волны уже влекут меня к берегам Сан-Лоренцо, я чувствовал, что меня влечет любовь.

Я представлял себе любовь с Моной Эймонс Монзано, и этот мираж, эта Фата-Моргана стала страшной силой в моей бессмысленной жизни. Я вообразил, что она сможет дать мне гораздо больше счастья, чем до сих пор удавалось другим женщинам.

41. Карасс на двоих

На самолете из Майами в Сан-Лоренцо кресла стояли по три в ряд. Случилось так — должно было так случиться, — что моими соседями оказались Хорлик Минтон, новый американский посол в республике Сан-Лоренцо, и его жена, Клэр. Оба они были седые, хрупкие и кроткие.

Минтон рассказал мне, что он профессиональный дипломат, но титул посла получил впервые. До сих пор, рассказывал он, они с женой служили в Боливии, Чили, Японии, Франции, Югославии, Египте, Южно-Африканской Республике, Ливии и Пакистане.

Это была влюбленная пара. Они непрестанно развлекали друг друга, обмениваясь маленькими дарами: видом, на который стоило взглянуть из окна самолета, занятыми или поучительными строками из прочитанного, случайными воспоминаниями из прошлого. Они были, как мне кажется, безукоризненным образцом того, что Боконон называет *дюпрасс*, что значит *карасс* из двух человек.

«Настоящий *дюпрасс*, — учит нас Боконон, — никто не может нарушить, даже дети, родившиеся от такого союза».

Поэтому я исключаю Минтонов из моего личного *карасса*, из *карасса* Фрэнка, *карасса* Ньюта, *карасса* Анджелы, из *карасса* Лаймена Эндлесса Ноулза, из *карасса* Шермана Кребса.

Карасс Минтонов был аккуратный *карассик*, созданный для двоих.

— Должно быть, вы очень довольны? — сказал я Минтону.

— Чем же это я должен быть доволен?

— Довольны, что достигли ранга посла.

По сочувственному взгляду, которым Минтон обменялся с женой, я понял, что сморозил глупость. Но они снизошли ко мне.

— Да, — вздохнул Минтон, — я очень доволен. — Он бледно улыбнулся. — Я глубоко польщен.

И на каждую тему, которую я затрагивал, реакция была такой же. Мне никак не удавалось расшевелить их хоть немножко.

Например:

— Вы, наверное, говорите на многих языках, — сказал я.

— О да, на шести или семи мы оба, — сказал Минтон.

— Вам, наверно, это очень приятно?

— Что именно?

— Ну, то, что вы можете разговаривать с таким количеством людей разных национальностей.

— Очень приятно, — сказал Минтон равнодушно.

— Очень приятно, — подтвердила его жена.

И они снова занялись толстой рукописью, отпечатанной на машинке и разложенной между ними, на ручке кресла.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я немного погодя, — вот вы так много путешествовали, как по-вашему: люди, по существу, везде примерно одинаковы или нет?

— Гм! — сказал Минтон.

— Считаете ли вы, что люди, по существу, везде одинаковы?

Он посмотрел на жену, убедился, что она тоже слышала мой вопрос, и ответил:

— По существу, да, везде одинаковы.

— Угу, — сказал я.

Кстати, Боконон говорит, что люди одного *дюпрасса* всегда умирают через неделю друг после друга. Когда пришел смертный час Минтонов, они умерли в одну и ту же секунду.

42. *Велосипеды для Афганистана*

В ХВОСТЕ самолета был небольшой бар, и я отправился туда выпить. И там я встретил еще одного соотечественника-американца, Г. Лоу Кросби из Эванстона, штат Иллинойс, и его супругу Хэзел.

Это были грузные люди, лет за пятьдесят. Голоса у них были громкие, гнусавые. Кросби рассказал мне, что у него был велосипедный завод в Чикаго и что он ничего, кроме черной неблагодарности, от своих служащих не видал. Теперь он решил основать дело в более благодарном Сан-Лоренцо.

— А вы хорошо знаете Сан-Лоренцо? — спросил я.

— До сих пор в глаза не видал, но все, что я о нем слышал, мне нравится, — сказал Лоу Кросби. — У них там дисциплина. У них там есть какая-то устойчивость, на нее можно рассчитывать из года в год. Ихнее правительство не подстрекает каждого стать эдаким оригиналом-писсантом, каких еще свет не видал.

— Как?

— Да там, в Чикаго, черт их дери, никто не занимается обыкновенным производством велосипедов. Там теперь главное — человеческие взаимоотношения. Эти болваны только и ломают себе головы, как бы сделать всех людей счастливыми. Выгнать никого нельзя ни в коем случае, а если кто случайно и сделает велосипед, так профсоюз сразу тебя обвинит в жестокости, в бесчеловечности, и правительство тут же конфискует этот велосипед за неуплату налогов и отправит в Афганистан какому-нибудь слепцу.

— И вы считаете, что в Сан-Лоренцо будет лучше?

— Не считаю, а знаю, будь я проклят. Народ там такой нищий, такой пуганый и такой невежественный, что у них еще ум за разум не зашел.

Кросби спросил меня, как моя фамилия и чем я занимаюсь. Я назвал себя, и его жена Хэзел сразу определила по фамилии, что я из Индианы. Она тоже была родом из Индианы.

— Господи Боже, — сказала она, — да вы из *хужеров*?¹

Я подтвердил, что да.

— Я тоже из *хужеров*, — завопила она. — Нельзя стыдиться, что ты *хужер*!

— А я и не стыжусь, — сказал я, — и не знаю, кто этого может стыдиться.

— Хужеры — молодцы. Мы с Лоу дважды объехали вокруг света, и всюду, куда ни кинь, наши хужеры всем командуют.

— Отрадно слышать.

— Знаете управляющего новым отелем в Стамбуле?

— Нет.

— Он тоже хужер. А военный, ну, как его там, в Токио...

— Атташе, — подсказал ее муж.

— И он — хужер, — сказала Хэзел. — И новый посол в Югославии...

— Тоже хужер?

— И не только он, но и голливудский сотрудник «Лайфа». И тот самый, в Чили...

— И он хужер?

— Куда ни глянь — всюду хужеры в почете, — сказала она.

— Автор «Бен-Гура» тоже был из хужеров.

— И Джеймс Уиткомб Райли.

— И вы тоже из Индианы? — спросил я ее мужа.

¹ Прозвище жителей Индианы.

— Не-ее... Я из Штата прерий. «Земля Линкольна»¹, как говорится.

— Если уж на то пошло, — важно заявила Хэзел, — Линкольн тоже был из хужеров. Он вырос в округе Спенсер.

— Правильно, — сказал я.

— Не знаю, что в них есть, в хужерах, — сказала Хэзел, — но что-то в них, безусловно, есть. Взялся бы кто-нибудь составить список, так весь мир ахнул бы.

— Тоже правда, — сказал я.

Она крепко вцепилась в мою руку:

— Нам, хужерам, надо держаться друг дружки.

— Верно.

— Ты зови меня «мамуля».

— Что-оо?

— Я, как встречу молодого хужера, сразу прошу его: «Зови меня мамуля».

— Угу...

— Ну, скажи же! — настаивала она.

— Мамуля...

Она улыбнулась и выпустила мою руку. Стрелка обошла круг. Когда я назвал Хэзел мамулей, механизм остановился, и теперь Хэзел снова стала его накручивать для встречи со следующим хужером.

То, что Хэзел как одержимая искала хужеров по всему свету, — классический пример ложного *карасса*, кажущегося единства какой-то группы людей, бессмысленного по самой сути, с точки зрения Божьего промысла, классический пример того, что Боконон назвал *гранфаллон*. Другие примеры

¹ Имеется в виду штат Иллинойс, в административном центре которого, городе Спрингфилде, долгое время жил и похоронен президент Линкольн.

гранфаллона — всякие партии, к примеру Дочери американской революции, Всеобщая электрическая компания и Международный орден холостяков — и любая нация в любом месте в любое время.

И Боконон приглашает нас спеть вместе с ним так:

Что такое гранфаллон? Хочешь ты узнать,
Надо с шарика тогда пленку ободрать!

43. Демонстратор

Лоу Кросби считал, что диктаторское правительство — зачастую очень неплохая система. Сам он вовсе не был скверным человеком, не был он и дураком. Ему были свойственны грубоватые, мужицкие повадки в отношениях с людьми, но многое из того, что он высказывал насчет недисциплинированного человечества, было не только забавно, но и правдиво.

Однако в одном важном пункте его покидал и здравый смысл, и чувство юмора — это когда он касался вопроса, для чего, в сущности, люди живут на земле.

Он был твердо уверен, что живут они для того, чтобы делать для него велосипеды.

— Надеюсь, что в Сан-Лоренцо будет ничуть не хуже, чем рассказывали, — сказал я.

— А мне достаточно поговорить только с одним человеком, и сразу узнаю, так это или не так. Если «Папа» Монзано у себя на острове даст честное слово в чем бы то ни было, значит, так оно и есть. И так оно и будет.

— А мне особенно нравится, — сказала Хэзел, — что все они говорят по-английски и все они христиане. Это настолько упрощает все.

— Знаете, как они там борются с преступностью? — спросил меня Кросби.

— Нет.

— У них там вообще нет преступников. «Папа» Монзано сумел всякое преступление сделать таким отвратительным, что человека тошнит при одной мысли о нарушении закона. Я слышал, что там можно положить бумажник посреди улицы, вернуться через неделю — и бумажник будет лежать на месте нетронутый.

— Ого!

— А знаете, как наказывают за кражу?

— Нет.

— Крюком, — сказал он. — Никаких штрафов, никаких условных осуждений, никакой тюрьмы на один месяц. За все — крюк. Крюк за кражу, крюк за убийство, за поджог, за измену, за насилие, за непристойное подглядывание. Нарушишь закон — любой ихний закон, — и тебя ждет крюк. И дураку понятно, почему Сан-Лоренцо — самая добропорядочная страна на свете.

— А что это за крюк?

— Ставят виселицу, понятно? Два столба с перекладиной. Потом берут громадный железный крюк вроде рыболовного и спускают с перекладины. Потом берут того, у кого хватило глупости преступить закон, и втыкают крюк ему в живот с одной стороны так, чтобы вышел с другой, — и все! Он и висит там, проклятый нарушитель, черт его дери!

— Боже правый!

— Я же не говорю, что это хорошо, — сказал Кросби, — но нельзя сказать, что это — плохо. Я и то иногда подумываю: а не уничтожило бы и у нас что-нибудь вроде этого преступность среди несовершеннолетних. Правда, для нашей демократии такой крюк что-то чересчур... Публичная казнь — дело более подходящее. Повесить бы парочку преступников из

тех, что крадут автомашины, на фонарь перед их домом с табличкой на шее: «Мамочка, вот твой сынок!» Разика два проделать это, и замки на машинах отойдут в область предания, как подножки и откидные скамеечки.

— Мы эту штуку видали в музее восковых фигур в Лондоне, — сказала Хэзел.

— Какую штуку? — спросил я.

— Крюк. Внизу, в комнате ужасов, восковой человек висел на крюке. До того похож на живого, что меня чуть не стошнило.

— Гарри Трумэн там совсем не похож на Гарри Трумэна, — сказал Кросби.

— Простите, что вы сказали?

— В кабинете восковых фигур, — сказал Кросби, — фигура Трумэна совсем на него не похожа.

— А другие почти все похожи, — сказала Хэзел.

— А на крюке висел кто-нибудь определенный? — спросил я ее.

— По-моему, нет, просто какой-то человек.

— Просто демонстратор? — спросил я.

— Ага. Все было задержано черным бархатным занавесом, отдернешь — тогда все видно. На занавесе висело объявление — детям смотреть воспрещалось.

— И все равно они смотрели, — сказал Кросби. — Пришло много ребят, и все смотрели.

— Что им объявление, ребятам, — сказала Хэзел. — Им начхать.

— А как дети реагировали, когда увидели, что на крюке висит человек? — спросил я.

— Как? — сказала Хэзел. — Так же, как и взрослые. Подойдут, посмотрят, ничего не скажут и пойдут смотреть дальше.

— А что там было дальше?

— Железное кресло, где живьем зажарили человека, — сказал Кросби. — Его за то зажарили, что он убил сына.

— Но после того, как его зажарили, — беззаботно сказала Хэзел, — выяснилось, что сына убил вовсе не он.

44. Сочувствующий коммунистам

Когда я вернулся на свое место, к *дюпрассу* Клэр и Хорлика Минтонов, я уже знал о них кое-какие подробности. Меня информировало семейство Кросби.

Кросби не знали Минтона, но знали о его репутации. Они были возмущены его назначением в посольство Сан-Лоренцо. Они рассказали мне, что Минтон когда-то был уволен госдепартаментом за снисходительное отношение к коммунизму, но прихвостни коммунистов, а может быть, и кое-кто похуже, восстановили его на службе.

— Очень приятный бар там, в хвосте, — сказал я Минтону, усаживаясь рядом с ним.

— Гм? — Они с женой все еще читали толстую рукопись, лежавшую между ними.

— Славный там бар.

— Прекрасно. Очень рад.

Оба продолжали читать, разговаривать со мной им явно было неинтересно. И вдруг Минтон обернулся ко мне с кисло-сладкой улыбкой и спросил:

— А кто он, в сущности, такой?

— Вы про кого?

— Про того господина, с которым вы беседовали в баре. Мы хотели пройти туда, выпить чего-нибудь, и у самой двери услышали ваш разговор. Он говорил очень громко, этот господин. Он сказал, что я сочувствую коммунистам.

— Он фабрикант велосипедов, Лоу Кросби, — сказал я и почувствовал, что краснею.

— Меня уволили за пессимизм. Коммунизм тут ни при чем.

— Его выгнали из-за меня, — сказала его жена. — Единственной весомой уликой было письмо, которое я написала в «Нью-Йорк Таймс» из Пакистана.

— О чем же вы писали?

— О многом, — сказала она, — потому что я была ужасно расстроена тем, что американцы не могут себе представить, как это можно быть неамериканцем, да еще быть неамериканцем и гордиться этим.

— Понятно.

— Но там была одна фраза, которую они непрерывно повторяли во время проверки моей лояльности, — вздохнул Минтон. — «Американцы, — процитировал он из письма жены в «Нью-Йорк Таймс», — без конца ищут любви к себе в таких местах, где ее быть не может, и в таких формах, какие она никогда не может принять. Должно быть, корни этого явления надо искать далеко в прошлом».

45. За что ненавидят американцев

Письмо Клэр Минтон было напечатано в худшие времена деятельности сенатора Маккарти, и ее мужа уволили через двенадцать часов после появления письма в газете.

— Но что же такого страшного было в письме? — спросил я.

— Высшая форма измены, — сказал Минтон, — это утверждение, что американцев вовсе не обязательно обожают всюду, где бы они ни появились, что бы ни делали. Клэр пыталась доказать, что, проводя свою внешнюю политику, американцы скорее должны исходить из реально существующей ненависти к ним, а не из несуществующей любви.

— Кажется, американцев во многих местах и вправду не любят.

— Во многих местах разных людей не любят. В своем письме Клэр только указала, что и американцев, как всяких людей, тоже могут ненавидеть и глупо считать, что они почему-то должны быть исключением. Но комитет по проверке лояльности никакого внимания на это не обратил. Они только одно и увидели, что мы с Клэр почувствовали, что американцев не любят.

— Что ж, я рад, что все кончилось хорошо.

— Хм-м? — хмыкнул Минтон.

— Ведь все в конце концов обошлось, — сказал я, — и вы сейчас направляетесь в посольство, где будете сами себе хозяевами.

Минтон с женой обменялись обычным своим *дюпрассовским* взглядом, полным сожаления ко мне. Потом Минтон сказал:

— Да. Пойдем по радуге — найдем горшок с золотом.

*46. Как Боконон
учит обращаться с кесарем*

Я заговорил с Минтонами о правовом положении Фрэнклина Хонникера: в конце концов, он был не только важной шишкой в правительстве «Папы» Монзано, но и скрывался от правительства США.

— Все зачеркнуто, — сказал Минтон. — Он больше не гражданин США и на своем теперешнем месте делает много полезного, так что все в порядке.

— Он отказался от американского гражданства?

— Каждый, кто объявляет себя приверженцем чужого правительства, или служит в его вооруженных силах, или занима-



ет там государственную должность, теряет свое гражданство. Прочтите ваш паспорт. Нельзя человеку превратить свою биографию в бульварный романчик из иностранной жизни, как сделал Фрэнк, и по-прежнему прятаться под крылышко дяди Сэма.

— А в Сан-Лоренцо к нему хорошо относятся?

Минтон взвесил в руке толстую рукопись, которую они читали с женой.

— Пока не знаю. По этой книге как будто нет.

— Что это за книга?

— Это единственный научный труд, написанный о Сан-Лоренцо.

— Почти научный, — сказала Клэр.

— Почти научный, — повторил Минтон. — Он пока еще не опубликован. Это один из пяти существующих экземпляров. — Он передал рукопись мне и сказал, чтобы я ее посмотрел.

Я открыл книгу на титульном листе и увидел, что называется она *САН-ЛОРЕНЦО. География. История. Народонаселение*. Автором книги был Филипп Касл, хозяин отеля, сын Джулиана Касла, того великого альтруиста, к которому я направлялся.

Я раскрыл книгу наугад. И она случайно открылась на главе о человеке, объявленном на острове вне закона, — о святом Бокононе.

На открывшейся странице была цитата из *Книг Боконона*. Слова бросились в глаза, запали в душу и оказались мне очень по душе. Это была парафраза евангельских слов: «Воздай Кесарю Кесарево».

По Боконону, эти слова читались так:

«Не обращай внимания на Кесаря. Кесарь не имеет ни малейшего понятия о том, что *на самом деле* происходит вокруг».

47. Динамическое напряжение

Я так увлекся книгой Джулиана Касла, что даже не поднял глаз, когда мы на десять минут приземлились в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Я даже не поднял глаз, когда кто-то за моей спиной взволнованно шепнул, что в самолет сел лилипут.

Немного погодя я оглянулся, ища лилипута, но его не было видно. Только прямо перед супругами Кросби сидела, как видно, новая пассажирка — женщина с лошадиным лицом и обесцвеченными волосами. Рядом с ней кресло казалось пустым, и в этом кресле, конечно, мог скрываться лилипут — отсюда и макушки видно не было.

Но меня заинтересовал Сан-Лоренцо, его земля, его история, его народ, так что я особенно и не стал искать лилипута. В конце концов, лилипуты могут развлечь человека в пустые или спокойные минуты, а я был всерьез взволнован теорией Боконона, которую он называл *динамическое напряжение*, — тем, как он понимал совершенное равновесие между добром и злом.

Когда я впервые увидел термин «динамическое напряжение», я засмеялся, так сказать, высокомерным смехом. Судя по книге молодого Касла, это был любимый термин Боконона, и я подумал, что знаю то, чего Боконон не знает: термин этот был давно опошлен Чарлзом Атласом, автором заочного курса «Как развить мускулатуру?».

Но, бегло перелистывая книгу, я узнал, что Боконон точно знал, кто такой Чарлз Атлас. Боконон, оказывается, сам был приверженцем школы развития мускулатуры.

Чарлз Атлас был убежден, что мускулатуру можно развить без гирь и пружин, простым противопоставлением одной группы мышц другой.

Боконон был убежден, что здоровое общество можно построить, только противопоставив добро злу и поддерживая высокое напряжение между тем и другим.

И в книге Касла я прочел впервые стих, или калипсо, Боконона. Он звучал так:

«Папа» Монзано, он полон скверны,
Но без «Папиной» скверны я пропал бы, наверно,
Потому что теперь по сравнению с ним
Гадкий старый Бококон считается святым.

48. Совсем как святой Августин

Как я узнал из книги Касла, Бококон родился в 1891 году. Он был негр, епископального вероисповедания, британский подданный с острова Тобаго.

При крещении ему дали имя Лайонел Бойд Джонсон.

Он был младшим из шести детей в состоятельной семье. Богатство его семьи началось с того, что дед Боконона нашел спрятанное пиратами сокровище, стоившее четверть миллиона долларов. Сокровище, как предполагали, принадлежало Черной Бороде — Эдварду Тичу.

Семья Боконона вложила сокровище Черной Бороды в асфальт, копру, какао, скот и птицу.

Юный Лайонел Бойд Джонсон учился в епископальной школе, окончил ее прекрасно и больше, чем другие, интересовался церковной службой. Но в молодости, несмотря на любовь ко всяким церемониям, он был порядочным гулякой, потому что в четырнадцатом калипсо он приглашает нас петь вместе с ним так:

Когда я молод был,
Я был совсем шальной,
Я пил и девушек любил,
Как Августин святой.

Но Августин лишь к старости
Причислен был к святым,
Так, значит, к старости могу
И я сравниться с ним.
И если мне в святые
Придется угодить,
Уж ты, мамаша, в обморок
Гляди не упади!

49. Рыбка, выброшенная злым прибором

К 1911 году интеллектуальные притязания Лайонела Бойда Джонсона настолько возросли, что он решил отправиться один на шлюпке под названием «Туфелька» из Тобаго в Лондон. Он поставил себе целью получить высшее образование.

Он поступил в Лондонский институт экономики и политических наук.

Его занятия были прерваны Первой мировой войной. Он пошел в пехоту, отлично воевал, был произведен в офицеры, четыре раза награжден. Во второй битве на Ипре он был отравлен газами, два года провел в госпитале и потом был уволен с военной службы.

И снова в одиночестве он поплыл в Тобаго на своей «Туфельке».

В восьмидесяти милях от дома его остановила и обыскала немецкая подлодка У-99. Он был взят в плен, а его суденышко немцы использовали как мишень для учебной стрельбы. Но перед погружением подлодку обнаружил и захватил английский эсминец «Ворон».

Джонсон вместе с немецкой командой были взяты на борт эсминца, а лодка У-99 потоплена.

«Ворон» направлялся в Средиземное море, но так и не дошел туда. Корабль потерял управление и только беспомощно болтался на волнах или описывал огромные круги. Наконец его прибило к островам Зеленого Мыса.

Джонсон прожил на этих островах восемь месяцев, ожидая какой-нибудь возможности попасть в Западное полушарие.

Наконец он поступил матросом на рыболовецкое судно, которое занималось контрабандной перевозкой иммигрантов в Нью-Бедфорд, штат Массачусетс. Судно потерпело крушение возле Ньюпорта на Род-Айленде.

К этому времени у Джонсона сложилось убеждение, будто что-то гонит его куда-то, по какой-то причине. Поэтому он на некоторое время остался в Ньюпорте — ему хотелось узнать, не нашел ли он тут свою судьбу. Он работал садовником и плотником в знаменитом имении Рэмфордов.

За это время он успел насмотреться на многих высоких гостей семейства Рэмфорд, среди которых были Дж. П. Морган, генерал Дж. Першинг, Франклин Делано Рузвельт, Энрико Карузо, Уоррен Гамалиель Гардинг и Гарри Гудини¹.

За это время окончилась Первая мировая война, убившая десять миллионов и ранившая двадцать, среди них и самого Джонсона.

Когда война окончилась, молодой гуляка, наследник Рэмфордов, Ремингтон Рэмфорд Четвертый, решил совершить путешествие на своей яхте «Шехерезада» вокруг света с заходом в Испанию, Францию, Италию, Грецию, Египет, Индию, Китай и Японию. Он пригласил Джонсона плыть с ним первым помощником капитана, и Джонсон согласился.

Много чудес повидал Джонсон во время этого плавания.

Но «Шехерезада» налетела на рифы в тумане у входа в

¹ Гудини — известный фокусник.

бомбейскую гавань, и из всего экипажа спасся один Джонсон. Он прожил в Индии два года и стал там приверженцем Ганди. Его арестовали за то, что он возглавил группу демонстрантов, протестовавших против господства англичан: они ложились на рельсы и останавливали поезда. Когда Джонсона выпустили из тюрьмы, его за казенный счет отправили домой, в Тобаго.

Там он построил вторую шхуну, назвав ее «Туфелька-2».

И он плавал на ней — без цели, все ища бури, которая вынесла бы его туда, куда его безошибочно вела судьба.

В 1922 году он укрылся от урагана в Порт-о-Пренсе на Гаити, оккупированном тогда американской морской пехотой.

Там к нему обратился человек блестящих способностей, самоучка, идеалист, дезертир из морской пехоты, по имени Эрл Маккэйб. Маккэйб имел чин капрала. Он только что украл отпускные деньги своей роты. Он предложил Джонсону пятьсот долларов, чтобы тот переправил его в Майами.

И они пустились в плавание к Майами.

Но шквал разбил шхуну о скалы острова Сан-Лоренцо. Суденышко пошло ко дну. Джонсон и Маккэйб в чем мать родила еле доплыли до берега. Сам Боконон описывает это приключение так:

Как рыбку, выбросил меня
На берег злой прибой,
Но вскоре я очнулся
И стал самим собой.

Он был восхищен этим тайным знамением — тем, что попал голым на незнакомый берег. И он решил не искушать судьбу — пусть будет что будет, пусть все идет само собой, а он посмотрит, что еще может приключиться с голым человеком, выплеснутым на берег соленой волной.

И для него наступило второе рождение:

Будьте как дети,
Нам Библия твердит.
И я душой ребенок,
Хотя и стар на вид.

А прозвище Боконон он получил очень просто. Так проносили его имя — Джонсон — на островном диалекте английского языка.

Что же касается этого диалекта...

Диалект острова Сан-Лоренцо очень легко понять, но очень трудно записать. Я сказал — легко понять, но это относится лично ко мне. Другим кажется, что этот диалект непонятен, как язык басков, так что, быть может, я понимаю его телепатически.

Филипп Касл в своей книге дает фонетический образец этого диалекта и делает это отлично. Он выбрал для этого сан-лоренцскую версию детской песенки: «Шалтай-Болтай».

По-настоящему это бессмертное произведение звучит так:

Шалтай-Болтай сидел на стене,
Шалтай-Болтай свалился во сне,
И вся королевская конница,
И вся королевская рать
Не может Шалтая, не может Болтая собрать.

На сан-лоренцском диалекте, по утверждению Касла, эти строки звучат так:

Саратая-Боротая сидера на сатене,
Саратая-Боротая сварираса во сене,
И वोся короревская конниса,

И वोся короревская рати
Не могозет Саратая, не могозет Боротая соборати.

Вскоре после того как Джонсон стал Бокононом, спасательную шлюпку с его шхуны выбросило на берег. Впоследствии эту шлюпку позолотили и сделали из нее кровать для самого главного правителя острова.

«Есть легенда, — пишет Филипп Касл, — что золотая шлюпка снова пустится в плавание, когда настанет конец света».

50. Славный карлик

Чтение биографии Боконона прервала жена Лоу Кросби, Хээзел. Она остановилась в проходе около меня.

— Вы не поверите, — сказала она, — но я только что обнаружила у нас в самолете еще двух хужеров.

— Вот это да!

— Они не природные хужеры, но теперь они там живут.

Они живут в Индианаполисе.

— Интересно!

— Хотите с ними познакомиться?

— А по-вашему, это необходимо?

Вопрос ее удивил.

— Но они же из хужеров, как и вы!

— А как их фамилии?

— Фамилия женщины — Коннерс, а его фамилия Хонникер. Они брат и сестра, и он карлик. И очень славный карлик. — Она подмигнула мне: — Хитрая bestия этот малыш.

— А он уже зовет вас мамулей?

— Я чуть было не попросила его звать меня так. А потом раздумала — не знаю, может, это будет невежливо, он же карлик.

— Глупости!

51. *О'кей, мамуля!*

И я пошел в хвост самолета — знакомиться с Анжелой Хонникер Коннерс и с Ньютоном Хонникером, членами моего карасса.

Анджела и была та обесцвеченная блондинка с лошадиной физиономией, которую я заметил раньше.

Ньют был чрезвычайно миниатюрный молодой человек, но в нем не было ничего странного. Очень складный, он казался Гулливером среди Бробдинггенов и, как видно, был столь же наблюдателен и умен.

В руках у него был бокал шампанского, это входило в стоимость билета. Бокал был для него как небольшой аквариум для нормального человека, но он пил из него с элегантно-непринужденностью, будто бокал был сделан специально для него.

И у этого маленького негодяя в чемодане находился термос с кристаллом льда-девять, как и у его некрасивой сестры, а под ними — вода, Божье творение — все Карибское море.

Хэзел с удовольствием перезнакомила всех хужеров и, удовлетворенная, оставила нас в покое.

— Но помните, — сказала она, уходя, — теперь зовите меня мамуля.

— О'кей, мамуля!

— О'кей, мамуля! — повторил Ньютон. Голосок у него был довольно тонкий, как и полагалось при таком маленьком горлышке. Но он как-то ухитрился придать этому голоску вполне мужественное звучание.

Анджела упорно обращалась с Ньютоном как с младенцем, и он ей это милостиво прощал; я и представить себе не мог, что такое маленькое существо может держаться с таким непринужденным изяществом.

И Ньют и Анджела вспомнили меня, вспомнили мои письма и предложили пересесть к ним, на пустовавшее третье кресло.



Анджела извинилась, что не ответила мне.

— Я не могла вспомнить ничего такого, что было бы интересно прочесть в книжке. Конечно, можно было бы что-то придумать про тот день, но я решила, что вам это не нужно. Вообще же, день был как день — самый обыкновенный.

— А ваш брат написал мне отличное письмо.

Анджела удивилась:

— Ньют написал письмо? Как же Ньют мог что-либо вспомнить?

Она обернулась к нему:

— Душенька, но ведь ты ничего не помнишь про тот день, правда? Ты был тогда совсем крошкой.

— Нет, помню, — мягко возразил он.

— Жаль, что я не видела этого письма. — Она сказала это таким тоном, будто считала, что Ньют все еще был недостаточно взрослым, чтобы непосредственно общаться с внешним миром. По своей проклятой тупости Анджела не могла понять, что значит для Ньюта его маленький рост.

— Душечка, ты должен был показать мне письмо, — упрекнула она брата.

— Прости, — сказал Ньют, — я как-то не подумал.

— Должна вам откровенно признаться, — сказала мне Анджела, — что доктор Брид не велел мне помогать вам в вашей работе. Он сказал, что вы вовсе не намерены дать верный портрет нашего отца.

По выражению ее лица я понял, что она мной недовольна.

Я успокоил ее как мог, сказав, что, по всей вероятности, книжка все равно никогда не будет написана и что у меня нет ясного представления, о чем там надо и о чем не надо писать.

— Но если вы когда-нибудь все же напишете эту книгу, вы должны написать, что наш отец был святой, потому что это правда.

Я обещал, что постараюсь нарисовать именно такой образ. Я спросил, летят ли они с Ньютом на семейную встречу с Фрэнком в Сан-Лоренцо.

— Фрэнк собирается жениться, — сказала Анджела. — Мы едем праздновать его обручение.

— Вот как? А кто же эта счастливая особа?

— Сейчас покажу, — сказала Анджела и достала из сумочки что-то вроде складной гармошки из пластика. В каждой складке гармошки помещалась фотография. Анджела полистала фотографии, и я мельком увидел малютку Ньюта на пляже мыса Код, доктора Феликса Хонникера, получающего Нобелевскую премию, некрасивых девочек-близнецов, дочек Анджелы, и, наконец, Фрэнка, пускающего игрушечный самолет на веревочке.

И тут она показала мне фото девушки, на которой собирался жениться Фрэнк. С таким же успехом она могла бы ударить меня ногой в пах.

На фотографии красовалась Мона Эймонс Монзано — женщина, которую я любил.

52. Совсем безболезненно

Развернув свою пластикатную гармошку, Анджела не собиралась ее складывать, пока не покажет все фотографии до единой.

— Тут все, кого я люблю, — заявила она.

Пришлось мне смотреть на тех, кого она любит. И все, кого она поймала под плексиглас, поймала, как окаменелых жучков в янтаре, все они были по большей части из нашего *караса*. Ни единого *гранфаллонца* среди них не было.

Многие фотографии изображали доктора Феликса Хонникера, отца атомной бомбы, отца троих детей, отца *льда-де-*

вать. Предполагаемый производитель великанши и карлика был совсем маленького роста.

Из всей коллекции Анджелиных окаменелостей мне больше всего понравилась та фотография, где он был весь закутан — в зимнем пальто, в шарфе, галошах и вязаной шерстяной шапке с огромным помпоном на макушке.

Эта фотография, дрогнувшим голосом объяснила мне Анджела, была сделана в Хайяиннисе за три часа до смерти старика.

Фотокорреспондент какой-то газеты узнал в похожем на рождественского деда старике знаменитого ученого.

— Ваш отец умер в больнице?

— Нет! Что вы! Он умер у нас на даче, в огромном белом плетеном кресле, на берегу моря. Ньют и Фрэнк пошли гулять по снегу у берега...

— Снег был какой-то теплый, — сказал Ньют, — казалось, что идешь по флердоранжу. Удивительно странный снег. В других коттеджах никого не было...

— Один наш коттедж отапливался, — сказала Анджела.

— На мили вокруг — ни души, — задумчиво вспоминал Ньют, — и нам с Фрэнком на берегу повстречалась огромная черная охотничья собака, сеттер. Мы швыряли палки в океан, а она их приносила.

— А я пошла в деревню купить лампочек для елки. Мы всегда устраивали елку.

— Ваш отец любил, когда зажигали елку?

— Он никогда нам не говорил.

— По-моему, любил, — сказала Анджела. — Просто он редко выражал свои чувства. Бывают такие люди.

— Бывают и другие, — сказал Ньют, пожав плечами.

— Словом, когда мы вернулись домой, мы нашли его в кресле, — сказала Анджела. Она покачала головой: — Думаю, что он не страдал. Казалось, он спит. У него было бы другое лицо, если бы он испытывал хоть малейшую боль.

Но она умолчала о самом интересном из всей этой истории. Она умолчала о том, что тогда же, в сочельник, она, Фрэнк и крошка Ньют разделили между собой отцовский *лед-девять*.

53. Президент «Фабри-Тека»

Анджела настояла, чтобы я досмотрел фотографии до конца.

— Вот я, хотя сейчас трудно этому поверить, — сказала Анджела. Она показала мне девочку-школьницу, шести футов ростом, в форме оркестрантки средней школы города Илиума, с кларнетом в руках. Волосы у нее были подобраны под мужскую шапочку. Лицо светилось застенчивой и радостной улыбкой.

А потом Анджела — женщина, которую творец лишил всего, чем можно привлечь мужчину, — показала мне фото своего мужа.

— Так вот он какой, Гаррисон С. Коннерс. — Я был потрясен. Муж Анджелы был поразительно красивый мужчина и явно сознавал это. Он был очень элегантен, и ленивый блеск в его глазах выдавал донжуана.

— Что... Чем он занимается? — спросил я.

— Он президент «Фабри-Тека».

— Электроника?

— Этого я вам не могу сказать, даже если бы знала. Это сверхсекретная государственная служба.

— Вооружение?

— Ну, во всяком случае, военные дела.

— Как вы с ним познакомились?

— Он работал ассистентом в лаборатории у отца, а потом уехал в Индианаполис и организовал «Фабри-Тек».

— Значит, ваш брак был счастливым завершением долгого романа?

— Нет, я даже не знала, замечает ли он, что я существую. Мне он казался очень приятным, но он никогда не обращал на меня внимания, до самой смерти отца. Однажды он заехал в Илиум. Я жила в нашем громадном старом доме, считая, что жизнь моя кончилась...

Дальше Анджела рассказала мне о страшных днях и неделях после смерти отца:

— Мы были одни, я и маленький Ньют, в этом огромном старом доме. Фрэнк исчез, и привидения шумели и гремели в десять раз громче, чем мы с Ньютом. Я не пожалела бы жизни, лишь бы снова заботиться об отце, возить его на работу и с работы, кутать, когда холодно, и раскутывать, когда теплело, заставлять его есть, платить по счетам. Вдруг я оказалась без дела. Близких друзей у меня никогда не было. И рядом ни живой души, кроме Ньюта.

И вдруг, — продолжала она, — раздался стук в дверь, и появился Гаррисон Коннерс. Никого прекраснее я в жизни не видала. Он зашел, мы поговорили о последних часах отца и вообще о старых временах...

Анджела с трудом сдерживала слезы.

— Через две недели мы поженились.

54. Нацисты, монархисты, парашютисты и дезертиры

Я вернулся на свое место, чувствуя себя довольно поганно оттого, что Фрэнк отбил у меня Мону Эймонс Монзано, и стал дочитывать рукопись Филиппа Касла.

В именном указателе я посмотрел *Монзано, Мона Эймонс*, но там было сказано: см. *Эймонс Мона* — и увидел, что ссылок на страницы там почти столько же, сколько после имени самого «Папы» Монзано.

За Эймонс Моной шел Эймонс Нестор. И я сначала посмотрел те несколько страниц, где упоминался Нестор, и узнал, что это был отец Моны, финн по национальности, архитектор.

Нестора Эймонса во время Второй мировой войны сначала взяли в плен русские, а потом — немцы. Домой ему вернуться не разрешили и принудили работать в вермахте, в инженерных войсках, сражавшихся с югославскими партизанами. Он был взят в плен четниками — сербскими партизанами-монархистами, а потом захвачен партизанами, нападшими на четников.

Итальянские парашютисты, напавшие на партизан, освободили Эймонса и отправили его в Италию.

Итальянцы заставляли его строить укрепления в Сицилии. Он украл рыбацью лодку и добрался до нейтральной Португалии.

Там он познакомился с уклонявшимся от воинской повинности американцем по имени Джулиан Касл.

Узнав, что Эймонс архитектор, Касл пригласил его на остров Сан-Лоренцо строить там для него госпиталь, который должен был называться «Обитель Надежды и Милосердия в джунглях». Эймонс согласился. Он построил госпиталь, женился на туземке по имени Селия, произвел на свет совершенство — свою дочь — и умер.

55. Не делай указателя к собственной книге

Что касается жизни Эймонс Моны, то указатель создавал путаную, сюрреалистическую картину множества противодействующих сил в ее жизни и ее отчаянных попыток выйти из-под их влияния.

«Эймонс Мона, — сообщал указатель, — удочерена Монзано для поднятия его престижа, 194—199; 216; детство

при госпитале «Обитель Надежды и Милосердия», 63—81; детский роман с Ф. Каслом, 721; смерть отца, 89; смерть матери, 92; смущена доставшейся ей ролью национального символа любви, 80, 95, 166, 209, 247, 400—406, 566, 678; обручена с Филиппом Каслом, 193; врожденная наивность, 67—71, 80, 95, 166, 209, 274, 400—406, 566, 678; жизнь с Бокононом, 92—98, 196—197; стихи о..., 2, 26, 114, 119, 311, 316, 477, 501, 507, 555, 689, 718, 799, 800, 841, 846, 908, 971, 974; ее стихи, 89, 92, 193; убегает от Монзано, 197; возвращается к Монзано, 199; пытается изуродовать себя, чтобы не быть символом любви и красоты для островитян, 80, 95, 116, 209, 247, 400—406, 566, 678; учится у Боконона, 63—80; пишет письмо в Объединенные Нации, 200; виртуозка на ксилофоне, 71».

Я показал этот указатель Минтонам и спросил их, не кажется ли им, что он сам по себе — увлекательная биография, биография девушки, против воли ставшей богиней любви. И неожиданно, как это случается в жизни, я получил разъяснение специалистки: оказалось, что Клер Минтон в свое время была профессиональной составительницей указателей. Я впервые услышал, что есть такая специальность.

Она рассказала, что помогла мужу окончить колледж благодаря своим заработкам, что составление указателей хорошо оплачивается и что хороших составителей не так много.

Еще она сказала, что из авторов книг только самые что ни на есть любители берутся за составление указателей. Я спросил, какого она мнения о работе Филиппа Касла.

— Лестно для автора, оскорбительно для читателя, — сказала она. — Говоря точнее, — добавила она со снисходительной любезностью специалистки, — сплошное самоутверждение, без оговорок. Мне всегда неловко, когда сам автор составляет указатель к собственной книге.

— Неловко?

— Слишком разоблачительная вещь такой указатель, сделанный самим автором, — поучительно сказала она. — Просто бесстыдная откровенность, конечно, для опытного глаза.

— Она может определить характер по указателю! — сказал ее муж.

— Да ну? — сказал я. — Что же вы скажете о Филиппе Касле? Она слегка улыбнулась:

— Неудобно рассказывать малознакомому человеку.

— О, простите!

— Он явно влюблен в эту Мону Эймонс Монзано.

— По-моему, это можно сказать про всех мужчин из Сан-Лоренцо.

— Котцуонипытывает смешанные чувства, — сказала она.

— Но это можно сказать о каждом человеке на земле, — слегка поддразнил ее я.

— Он чувствует себя в жизни очень неуверенно.

— А кто из смертных чувствует себя уверенно? — спросил я. Тогда я не знал, что задаю вопрос совершенно в духе Боконона.

— И он никогда на ней не женится.

— Почему же?

— Я все сказала, что можно, — ответила она.

— Приятно встретить составителя указателей, уважающего чужие тайны, — сказал я.

— Никогда не делайте указателя к своим собственным книгам, — заключила она.

Боконон учит нас, что *дюпрасс* помогает влюбленной паре в уединенности их неослабевающей любви развить в себе внутреннее прозрение, подчас странное, но верное. Лишним доказательством этого был хитрый подход Минтонов к книжным указателям имен. И еще, говорит нам Боконон, *дюпрасс* рождает в людях некоторую самонадеянность. Минтоны и тут не были исключением.

Немного погодя Минтон встретился со мной в салоне самолета без жены и дал мне понять, как ему важно, чтобы я с уважением отнесся к сведениям, которые его жена умеет выудить из каждого указателя.

— Вы знаете, почему Касл никогда не женится на той девушке, хотя он любит ее и она любит его, хотя они и выросли вместе? — зашептал он.

— Нет, сэр, понятия не имею.

— Потому что он — гомосексуалист! — прошептал Минтон. — Она и это может узнать по указателю.

56. Самоокупающееся беличье колесо

Когда Лайонел Бойд Джонсон и капрал Эрл Маккэйб были выброшены голышом на берег Сан-Лоренцо, читал я, их встретили люди, которым жилось куда хуже, чем им. У населения Сан-Лоренцо не было ничего, кроме болезней, которые они ни лечить, ни назвать не умели. Напротив, Джонсон и Маккэйб владели бесценными сокровищами — грамотностью, целеустремленностью, любознательностью, наглостью, безверием, здоровьем, юмором и обширными знаниями о внешнем мире.

Как говорится в одном из калипсо:

Ох, какой несчастный
Тут живет народ!
Пива он не знает,
Песен не поет,
И куда ни сунься,
И куда ни кинь,
Все принадлежит католической церкви
Или компании «Касл и Сын».

По словам Филиппа Касла, эта оценка имущественного положения Сан-Лоренцо в 1922 году совершенно справедлива. Сахарная компания «Касл и Сын» действительно была основана прадедом Филиппа Касла. К 1922 году компания владела каждым клочком плодородной земли на этом острове.

«Сахарная компания Касла на Сан-Лоренцо никогда не получала ни гроша прибыли, — пишет молодой Касл. — Но, не платя ничего рабочим за их работу, компания из года в год сводила концы с концами, зарабатывая достаточно, чтобы расплатиться с мучителями и угнетателями рабочих».

На острове царил анархия, кроме тех редких случаев, когда сахарная компания «Касл и Сын» решала что-нибудь присвоить или что-нибудь предпринять. В таких случаях устанавливался феодализм. Феодалами были надсмотрщики плантаций сахарной компании Касла, белые, хорошо вооруженные мужчины из других частей света. Вассалов набирали из знатных туземцев, которые были готовы за мелкие подачки и пустяковые привилегии убивать, калечить или пытаться своих сородичей по первому приказу. Духовную жажду туземцев, пойманных в это дьявольское беличье колесо, утоляла кучка сладкоречивых попов.

«Кафедральный собор Сан-Лоренцо, взорванный в 1923 году, когда-то считался в Западном полушарии одним из чудес света, созданных руками человека», — писал Касл.

57. Скверный сон

Никакого чуда в том, что капрал Маккэйб и Джонсон стали управлять островом, вовсе не было. Многие захватывали Сан-Лоренцо, и никто им не мешал. Причина была проще простого: Творец в неизреченной своей мудрости сделал этот остров совершенно бесполезным.

Фернандо Кортес был первым человеком, закрепившим на бумаге свою бесплодную победу над островом.

В 1519 году Кортес и его люди высадились там, чтобы запастись пресной водой, дали острову название, закрепили его за королем Карлом Пятым и больше туда не вернулись. Многие мореплаватели искали там золото и алмазы, пряности и рубины, ничего не находили, сжигали парочку туземцев для развлечения и остротки и плыли дальше.

«В 1682 году, когда Франция заявила притязания на Сан-Лоренцо, — писал Касл, — испанцы не возражали. Когда датчане в 1699 году заявили притязания на Сан-Лоренцо, французы не возражали. Когда голландцы заявили притязания на Сан-Лоренцо в 1704-м, датчане не возражали. Когда Англия заявила притязания на Сан-Лоренцо в 1706-м, ни один голландец не возражал. Когда Испания снова выдвинула свои притязания на Сан-Лоренцо, ни один англичанин не возражал. Когда в 1786 году африканские негры завладели британским работорговым кораблем, высадились на Сан-Лоренцо и объявили этот остров независимым государством, испанцы не возражали.

Императором стал Тум-Бумва, единственный человек, который считал, что этот остров стоит защищать. Тум-Бумва, будучи маньяком, заставил народ воздвигнуть кафедральный собор Сан-Лоренцо и фантастические укрепления на северном берегу острова, где в настоящее время помещается личная резиденция так называемого президента республики.

Эти укрепления никто никогда не атаковал, да и ни один здравомыслящий человек не смог бы объяснить, зачем их надо атаковать. Они ничего не защищали. Говорят, что во время постройки укреплений погибло полторы тысячи человек. Из этих полутора тысяч половина была публично казнена за недостаточное усердие».

Сахарная компания «Касл и Сын» появилась на Сан-Лоренцо в 1916 году, во время сахарного бума, вызванного Пер-



вой мировой войной. Никакого правительства там вообще не было. Компания решила, что даже глинистые и песчаные пустоши Сан-Лоренцо при столь высоких ценах на сахар можно обработать с прибылью. Никто не возражал.

Когда Маккэйб и Джонсон оказались на острове в 1922 году и объявили, что берут власть в свои руки, сахарная компания вяло снялась с места, словно проснувшись после скверного сна.

58. Особая тирания

«У **НОВЫХ** завоевателей Сан-Лоренцо было по крайней мере одно совершенно новое качество, — писал молодой Касл. — Маккэйб и Джонсон мечтали осуществить в Сан-Лоренцо утопию.

С этой целью Маккэйб переделал всю экономику острова и все законодательство.

А Джонсон придумал новую религию».

Тут Касл снова процитировал очередное калипсо:

Хотелось мне во все
Какой-то смысл вложить,
Чтоб нам не ведать страха
И тихо-мирно жить,
И я придумал ложь —
Лучше не найдешь! —
Что этот грустный край —
Су-ущий рай!

Во время чтения кто-то потянул меня за рукав.

Маленький Ньют Хонникер стоял в проходе рядом с моим креслом:

— Не хотите ли пройти в бар, — сказал он, — поднимем бокалы, а?

И мы подняли, и мы опрокинули все, что полагалось, и у крошки Ньюта настолько развязался язык, что он мне рассказал про Зику, свою приятельницу, — лилипутку, маленькую балерину. Их гнездышком, рассказал он мне, был отцовский коттедж на мысе Код.

— Может быть, у меня никогда не будет свадьбы, — сказал он, — но медовый месяц у меня уже был.

Он описал мне эту идиллию: часами они с Зикой лежали в объятиях друг друга, примостившись в отцовском плетеном кресле на самом берегу моря.

И Зика танцевала для него.

— Только представьте себе, женщина танцует только для меня.

— Вижу, что вы ни о чем не жалеете.

— Она разбила мне сердце. Это не очень приятно. Но я заплатил этим за счастье. А в нашем мире ты получаешь только то, за что платишь. — И он галантно провозгласил тост: — За наших жен и любовниц! — воскликнул он. — Пусть они никогда не встречаются!

59. Пристегните ремни

Я все еще сидел в баре с Ньютом, с Лоу Кросби, еще с какими-то незнакомыми людьми, когда вдали показался остров Сан-Лоренцо. Кросби говорил о писсантах:

— Знаете, что такое писсант?

— Слышал этот термин, — сказал я, — но, очевидно, он не вызывает у меня таких четких ассоциаций, как у вас.

Кросби здорово выпил и, как всякий пьяный, воображал, что можно говорить откровенно, лишь бы говорить с чувс-

твом. Он очень прочувствованно и откровенно говорил о росте Ньюта, о чем до сих пор никто в баре и не заикался.

— Я говорю не про такого малыша, как вот он. — И Кросби повесил на плечо Ньюта руку, похожую на окорок. — Не рост делает человека писсантом, а образ мыслей. Видал я людей, раза в четыре выше этого вот малыша, и все они были настоящими писсантами. Видал я и маленьких людей — конечно, не таких малышей, — но довольно-таки маленьких, будь я неладен, — и вы назвали бы их настоящими мужчинами.

— Благодарствую, — приветливо сказал маленький Ньют, даже не взглянув на чудовищную руку, лежавшую у него на плече.

Никогда я не видел человека, который так умел справляться со своим физическим недостатком. Я был потрясен и восхищен.

— Вы говорили про писсантов, — напомнил я Кросби, надеясь, что он снимет тяжелую руку с бедного Ньюта.

— Правильно, черт побери! — Кросби расправил плечи.

— И вы нам не объяснили, что такое писсант, — сказал я.

— Писсант — это такой тип, который воображает, будто он умнее всех, и потому никогда не промолчит. Что бы другие ни говорили, писсанту всегда надо спорить. Вы скажете, что вам что-то нравится, и, клянусь Богом, он тут же начнет вам доказывать, что вы не правы и это вам нравится не должно. При таком писсанте вы чувствуете себя окончательным болваном. Что бы вы ни сказали, он все знает лучше вас.

— Не очень привлекательный образ, — сказал я.

— Моя дочка собиралась замуж за такого писсанта, — сказал Кросби мрачно.

— И вышла за него?

— Я его раздавил, как клопа. — Кросби стукнул кулаком по стойке, вспомнив слова и дела этого писсанта. — Лопни мои глаза! — сказал он. — Да ведь мы все тоже учились в колледжах! — Он уставился на малыша Ньюта: — Ходил в колледж?



— Да, в Корнелл, — сказал Ньют.
— В Корнелл? — радостно заорал Кросби. — Господи, я тоже учился в Корнелле!
— И он тоже! — Ньют кивнул в мою сторону.
— Три корнелльца на одном самолете! — крикнул Кросби, и тут пришлось отпраздновать еще один *гранфаллонский* фестиваль.
Когда мы немного поутихли, Кросби спросил Ньюта, что он делает.
— Вожусь с красками.
— Дома красишь?
— Нет, пишу картины.
— Фу, черт!
— Займите свои места и пристегните ремни, пожалуйста! — предупредила стюардесса. — Приближаемся к аэропорту «Монзано», город Боливар, Сан-Лоренцо.
— А-а, черт! — сказал Кросби, глядя сверху вниз на Ньюта. — Погодите минутку, я вдруг вспомнил, что где-то слышал вашу фамилию.
— Мой отец был отцом атомной бомбы. — Ньют не сказал «одним из отцов». Он сказал, что Феликс был отцом.
— Правда?
— Правда.
— Нет, мне кажется, что-то было другое, — сказал Кросби. Он напряженно вспоминал. — Что-то про танцовщицу.
— Пожалуй, надо пойти на место, — сказал Ньют, слегка насторожившись.
— Что-то про танцовщицу. — Кросби был до того пьян, что не стеснялся думать вслух: — Помню, в газете читал, будто эта самая танцовщица была шпионка.
— Пожалуйста, джентльмены, — сказала стюардесса, — пора занять места и пристегнуть ремни.
Ньют взглянул на Лоу Кросби невинными глазами.

— Вы уверены, что там упоминалась фамилия Хонникер? — И во избежание всяких недоразумений он повторил свою фамилию по буквам.
— А может, я и ошибся, — сказал Кросби.

60. Обездоленный народ

С ВОЗДУХА остров представлял собой поразительно правильный прямоугольник. Угрожающе и нелепо торчали из моря каменные иглы. Они опоясывали остров по кругу.
На южной оконечности находился портовый город Боливар. Это был единственный город.
Это была столица.
Город стоял на болотистом плато. Взлетные дорожки аэропорта «Монзано» спускались к берегу.
К северу от Боливара круто вздымались горы, грубыми горбами заполняя весь остальной остров. Их звали Сангре де Кристо (Кровь Христова), но, по-моему, они больше походили на стадо свиней у корыта.
Боливар раньше назывался по-разному: Каз-ма-каз-ма, Санта-Мария, Сан-Луи, Сент-Джордж и Порт-Глория — словом, много всяких названий было у него. В 1922 году Джонсон и Маккэйб дали ему теперешнее название, в честь Симона Боливара, великого идеалиста, героя Латинской Америки.
Когда Джонсон и Маккэйб попали в этот город, он был построен из хвороста, жестянок, ящиков и глины, на останках триллионов счастливых нищих, останках, зарытых в кислой каше помоев, отбросов и слизи.
Таким же застал этот город и я, если не считать фальшивого фасада новых архитектурных сооружений на берегу.
Джонсону и Маккэйбу так и не удалось вытащить этот народ из нищеты и грязи. Не удалось и «Папе» Монзано.

И никому не могло удасться, потому что Сан-Лоренцо был бесплоден, как Сахара или Северный полюс.

И в то же время плотность населения там была больше, чем где бы то ни было, включая Индию и Китай. На каждой непригодной для жизни квадратной миле проживало четыреста пятьдесят человек.

«В тот период, когда Джон и Маккэйб, обуреваемые идеализмом, пытались реорганизовать Сан-Лоренцо, было объявлено, что весь доход острова будет разделен между взрослым населением в одинаковых долях, — писал Филипп Касл. — В первый и последний раз, когда это попробовали сделать, каждая доля составляла около шести с лишним долларов».

61. Конец капрала

В помещении таможни аэропорта «Монзано» нас попросили предъявить наши вещи и обменять те деньги, которые мы собирались истратить в Сан-Лоренцо, на местную валюту — капралы. По уверениям «Папы» Монзано, каждый капрал равнялся пятидесяти американским центам.

Помещение было чистое, новое, но множество объявлений уже было как попало наляпано на стены:

Каждый исповедующий боконизм на острове Сан-Лоренцо, — гласило одно из объявлений, — умрет на крюке!

На другом плакате был изображен сам Боконон — тощий старичок негр, с сигарой во рту и с добрым, умным, насмешливым лицом.

Под фотографией стояла подпись: *десять тысяч капралов награды доставившему его живым или мертвым.*

Я присмотрелся к плакату и увидел, что внизу напечатано что-то вроде полицейской личной карточки, которую Боконону пришлось заполнить неизвестно где в 1929 году. Напечатана

эта карточка была, очевидно, для того, чтобы показать охотникам за Бокононом отпечатки его пальцев и образец его почерка.

Но меня заинтересовали главным образом те ответы, которыми в 1929 году Боконон решил заполнить соответствующие графы. Где только возможно, он становился на космическую точку зрения, то есть принимал во внимание такие, скажем, понятия, как краткость человеческой жизни и бесконечность вечности.

Он заявлял, что его призвание: «Быть живым».

Он заявлял, что его основная профессия: «Быть мертвым».

Наш народ — христиане! Всякая игра пятками будет наказана крюком! — угрожал следующий плакат. Я не понял, что это значит, потому что еще не знал, что боконисты выражают родство душ, касаясь друг друга пятками. Но так как я еще не успел прочесть всю книгу Касла, то самой большой тайной для меня оставался вопрос: каким образом Боконон, лучший друг капрала Маккэйба, оказался вне закона?

62. Почему Хэзел не испугалась

В Сан-Лоренцо нас сошло семь человек: Ньют с Анджелой, Лоу Кросби с женой, посол Минтон с супругой и я. Когда мы прошли таможенный досмотр, нас вывели из помещения на трибуну для гостей.

Оттуда мы увидели до странности притихшую толпу.

Пять с лишним тысяч жителей Сан-Лоренцо смотрели на нас в упор. У островитян была светлая кожа, цвета овсяной муки. Все они были очень худые. Я не заметил ни одного толстого человека. У всех не хватало зубов. Ноги у них были кривые или отечные.

И ни одной пары ясных глаз.

У женщин были обвисшие голые груди. Набедренные повязки мужчин висели уныло, и то, что они еле прикрывали, походило на маятники дедовых часов.

Там было много собак, но ни одна не лаяла. Там было много младенцев, но ни один не плакал. То там то сям раздавалось покашливание — и все.

Перед толпой стоял военный оркестр. Он не играл.

Перед оркестром стоял караул со знаменами. Знамен было два — американский звездно-полосатый флаг и флаг Сан-Лоренцо. Флаг Сан-Лоренцо составляли шевроны капрала морской пехоты США на ярко-синем поле. Оба флага уныло повисли в безветренном воздухе.

Мне показалось, что вдали слышится барабанная дробь. Но я ошибся. Просто у меня в душе отдавалась звенящая, раскаленная, как медь, жара Сан-Лоренцо.

— Как я рада, что мы в христианской стране, — прошептала мужу Хэзел Кросби, — не то я бы немножко испугалась.

За нашими спинами стоял ксилофон.

На ксилофоне красовалась сверкающая надпись. Буквы были сделаны из гранатов и хрустала.

Буквы составляли слово: «МОНА».

63. Набожный и вольный

С левой стороны нашей трибуны были выстроены в ряд шесть старых самолетов с пропеллерами — военная помощь США республике Сан-Лоренцо. На фюзеляжах с детской кровожадностью был изображен боа-констриктор, который насмерть душил черта. Из глаз, изо рта, из носа черта лилась кровь. Из окровавленных сатанинских пальцев выпадали трезубые вилы.

Перед каждым самолетиком стоял пилот цвета овсяной муки и тоже молчал.

Потом над этой влажной тишиной послышалось назойливое жужжание, похожее на жужжание комара. Это звучала сирена. Сирена возвещала о приближении машины «Папы»

Монзано — блестящего черного «кадиллака». Машина остановилась перед нами, подымая пыль.

Из машины вышли «Папа» Монзано, его приемная дочь Мона Эймонс Монзано и Фрэнклин Хонникер.

«Папа» повелительно махнул вялой рукой, и толпа запела национальный гимн Сан-Лоренцо. Мотив был взят у популярной песни «Дом на ранчо». Слова написал в 1922 году Лайонел Бойд Джонсон, то есть Боконон. Вот эти слова:

Расскажите вы мне
О счастливой стране,
Где мужчины храбрее акул,
А женщины все
Сияют в красе
И с дороги никто не свернул!
Сан, Сан-Лоренцо!
Приветствует добрых гостей!
Но земля задрожит,
Когда враг побежит
От набожных вольных людей!

64. Мир и процветание

И снова толпа застыла в мертвом молчании.

«Папа» с Моной и с Фрэнком присоединились к нам на трибуне. Одинокая барабанная дробь сопровождала их шаги. Барабан умолк, когда «Папа» ткнул пальцем в барабанщика.

На «Папе» поверх рубашки висела кобура. В ней был сверкающий кольт 45-го калибра. «Папа» был старый-престарый человек, как и многие члены моего *карасса*. Вид у него был совсем больной. Он передвигался мелкими, шаркающими шажками. И хотя он все еще был человеком в теле, но *жир* явно

таял так быстро, что строгий мундир уже висел на нем мешком. Белки жабьих глаз отливали желтизной. Руки дрожали.

Его личным телохранителем был генерал-майор Фрэнклин Хонникер в белоснежном мундире. Фрэнк, тонкорукий, узкоплечий, походил на ребенка, которому не дали вовремя лечь спать. На груди у него сверкала медаль.

Я с трудом мог сосредоточить внимание на «Папе» и Фрэнке — не потому, что их заслоняли, а потому, что не мог отвести глаз от Моны. Я был поражен, восхищен, я обезумел от восторга.

Все мои жадные и безрассудные сны о той единственной совершенной женщине воплотились в Моне. В ней, да благословит Творец ее душу, нежную, как топлёные сливки, был мир и радость во веки веков.

Эта девочка — а ей было всего лет восемнадцать — сияла блаженной безмятежностью. Казалось, она все понимала и воплощала все, что надо было понять. В *Книгах Боконона* упоминается ее имя. Вот одно из высказываний Боконона о ней: «Мона проста, как все сущее».

Платье на ней было белое — греческая туника.

На маленьких смуглых ногах — легкие сандалии.

Длинные прямые пряди бледно-золотистых волос...

Бедра как лира...

О Господи...

Мир и радость во веки веков.

Она была единственной красавицей в Сан-Лоренцо. Она была народным достоянием. Как писал Филипп Касл, «Папа» удочерил ее, чтобы ее божественный образ смягчал жестокость его владычества.

На край трибуны выкатили ксилофон. И Мона заиграла. Она играла гимн «На склоне дня». Сплошное тремоло звучало, замирало и снова начинало звенеть.

Красота опьяняла толпу.

Но пора было «Папе» приветствовать нас.



*65. Удачный момент
для посещения Сан-Лоренцо*

«Папа» был самоучкой и раньше служил управляющим у капрала Маккэйба. Он никогда не выезжал за пределы острова. Говорил он на неплохом англо-американском языке.

Все наши выступления с трибуны передавались в толпу лаем огромных, словно на Страшном суде, рупоров.

Звуки, проходя через рупоры, воплями летели по короткому широкому переходу за спиной толпы, отскакивали от стеклянных стен трехновыхзданий и с клетотом возвращались обратно.

— Привет вам, — сказал «Папа». — Вы прибыли к лучшим друзьям Америки. К Америке неправильно относятся во многих странах, но только не у нас, господин посол. — И он поклонился Лоу Кросби, фабриканту велосипедов, приняв его за нового посла.

— Знаю, знаю, у вас тут отличная страна, господин президент, — сказал Кросби. — Все, что я о ней слышал, по-моему, великолепно. Вот только одно...

— Да?

— Я не посол, — сказал Кросби. — Я бы и рад, но я обыкновенный простой коммерсант. — Ему было неприятно назвать настоящего посла: — Вот тот человек и есть важная шишка.

— Ага! — «Папа» улыбнулся своей ошибке. Но улыбка внезапно исчезла.

Он вздрогнул от боли, потом согнулся пополам и зажмурился, изо всех сил преодолевая эту боль.

Фрэнк Хонникер неловко и неумело попытался поддержать его:

— Что с вами?

— Простите, — пробормотал наконец «Папа», пытаясь выпрямиться. В глазах у него стояли слезы. Он смахнул их и весь выпрямился: — Прошу прощения. — Казалось, он на

минуту забыл, где он, чего от него ждут. Потом вспомнил. Он пожал руку Хорлику Минтону: — Вы тут среди друзей.

— Я в этом уверен, — мягко сказал Минтон.

— Среди христиан, — сказал «Папа».

— Очень рад.

— Среди антикоммунистов, — сказал «Папа».

— Очень рад.

— Здесь коммунистов нет, — сказал «Папа». — Они слишком боятся крюка.

— Так я и думал, — сказал Минтон.

— Вы прибыли сюда в очень удачное время, — сказал «Папа». — Завтра счастливейший день в истории нашей страны. Завтра наш великий национальный праздник — День ста мучеников за демократию. В этот день мы также отпразднуем обручение генерал-майора Фрэнклина Хонникера с Моной Эймонс Монзано, самым дорогим существом в моей жизни, в жизни всего Сан-Лоренцо.

— Желаю вам большого счастья, мисс Монзано, — горячо сказал Минтон. — И поздравляю вас, генерал Хонникер.

Молодая пара поблагодарила его поклоном.

И тут Минтон заговорил о так называемых ста мучениках за демократию и сказал вопиющую ложь:

— Нет ни одного американского школьника, который не знал бы о благородной жертве народа Сан-Лоренцо во Второй мировой войне. Сто храбрых граждан Сан-Лоренцо, чью память мы отмечаем завтра, отдали все, что может отдать свободолюбивый человек. Президент Соединенных Штатов просил меня быть его личным представителем во время завтрашней церемонии и пустить по морским волнам венок — дар американского народа народу Сан-Лоренцо.

— Народ Сан-Лоренцо благодарит вас лично, президента Соединенных Штатов и щедрый американский народ за внимание, — сказал «Папа». — Вы окажете нам большую честь,

если сами опустите в море венки во время завтрашнего праздника обручения.

— Великая честь для меня, — сказал Минтон. «Папа» пригласил всех нас оказать ему честь своим присутствием на церемонии опускания венка и на празднике в честь обручения. Нам надлежало прибыть во дворец к полудню.

— Какие у них будут дети! — сказал «Папа», направляя наши взгляды на Фрэнклина и Мону. — Какая кровь! Какая красота! Тут его снова схватила боль.

Он снова закрыл глаза, скорчившись от мучений.

Он ждал, пока боль пройдет, но она не проходила.

В мучительном припадке он отвернулся от нас к толпе.

Он попытался что-то жестами показать толпе — и не смог.

Он попытался что-то сказать им — и не смог.

Наконец он выдал из себя слова.

— Ступайте домой! — крикнул он, задыхаясь. — Ступайте домой!

Толпа разлетелась, как сухие листья.

«Папа» обернулся к нам, нелепо корчась от боли...

И тут же упал.

66. Сильнее всего на свете

Но он не умер.

Его можно было бы принять за мертвеца, если бы в этой смертной неподвижности по нему изредка не пробегала судорожная дрожь.

Фрэнк громко крикнул, что «Папа» не умер, что он не может умереть. Он был в отчаянии.

— «Папа», не умирайте! Не надо!

Фрэнк расстегнул воротник его куртки, стал растирать ему руки.



— Дайте ему воздуха! Воздуха «Папе»! — кричал он.

Летчики с истребителей побежали помочь нам. У одного из них хватило сообразительности побежать за «скорой помощью» аэропорта.

Я взглянул на Мону, увидел, что она, по-прежнему безмятежная, отошла к парапету трибуны. Смерть, даже если случится при ней, ее не тревожила.

Рядом с ней стоял летчик. Он не смотрел на нее. Но весь сиял потным блаженством, что я объяснил ее близостью.

«Папа» постепенно приходил в сознание. Слабой рукой, трепыхавшейся, как пойманная птица, он указал на Фрэнка:

— Вы... — начал он.

Мы все умолкли, чтобы не пропустить его слова.

Губы у него зашевелились, но мы ничего не услышали, кроме какого-то клокотания.

У кого-то возникла идея, тогда показавшаяся блестящей, — теперь, задним числом, видно, что идея была отвратительная. Кто-то, кажется, один из летчиков, снял микрофон со стойки и поднес к сидящему «Папе», чтобы усилить звук его голоса.

И тут от стен новых зданий, как эхо в горах, стали отдаваться предсмертные хрипы и какие-то судорожные завывания. Потом прорезались слова.

— Вы, — хрипло сказал он Фрэнку, — вы, Фрэнклин Хонникер, вы — будущий президент Сан-Лоренцо. Наука... У вас в руках наука. Наука сильнее всего на свете. Наука, — повторил «Папа», — лед... — Он закатил желтые глаза и снова потерял сознание.

Я взглянул на Мону. Выражение ее лица не изменилось.

Но зато у летчика, стоявшего рядом с ней, на лице застыла восторженная неподвижная гримаса, будто ему вручали Почетную медаль Конгресса за храбрость.

Я опустил глаза и увидел то, чего не надо было видеть.

Мона сняла сандалию. Ее маленькая смуглая ножка была голой. И этой обнаженной ступней она пожимала, мяла, мяла, непристойно мяла сквозь сапог ногу летчика.

67. Ку-рю-ка

На этот раз «Папа» остался жив.

Его увезли из аэропорта в огромном красном фургоне, в каких возят мясо.

Минтонов забрал в посольство американский лимузин.

Ньюта и Анджелу отвезли на квартиру Фрэнка в правительственном лимузине Сан-Лоренцо.

Чету Кросби и меня отвезли в отель «Каса Мона» в единственном сан-лоренцском такси, похожем на катафалк «крайслере» с откидными сиденьями, образца 1939 года. На машине было написано: «Транспортное агентство Касл и Ко». Автомобиль принадлежал Филиппу Каслу, владельцу «Каса Мона», сыну бескорыстнейшего человека, у которого я приехал брать интервью.

И чета Кросби, и я были расстроены. Наше беспокойство выражалось в том, что мы непрерывно задавали вопросы, требуя немедленного ответа. Оба Кросби желали знать, кто такой Боконон. Их шокировала мысль, что кто-то осмелился пойти против «Папы» Монзано.

А мне ни с того ни с сего вдруг приспичило немедленно узнать, кто такие «Сто мучеников за демократию».

Сначала получили ответ супруги Кросби. Они не понимали сан-лоренцкого диалекта, и мне пришлось им переводить. Главный их вопрос к нашему шоферу можно сформулировать так: «Что за чертовщина и кто такой этот писсант Боконон?»

— Очень плохой человек, — ответил наш шофер. Произнес он это так: «Очень прохой черовека».

— Коммунист? — спросил Кросби, выслушав мой перевод.
— Да, да!
— А у него есть последователи?
— Как, сэр?
— Кто-нибудь считает, что он прав?
— О нет, сэр, — почтительно сказал шофер. — Таких сумасшедших тут нет.
— Почему же его не поймали? — спросил Кросби.
— Его трудно найти, — сказал шофер. — Очень хитрый.
— Значит, его кто-то прячет, кто-то его кормит, иначе его давно поймали бы.
— Никто не прячет, никто не кормит. Все умные, никто не смеет.
— Вы уверены?
— Да, уверен! — сказал шофер. — Кто этого сумасшедшего старика накормит, кто его приютит — сразу попадет на крюк. А кому хочется на крюк?
Последнее слово он произносил так: «Крюка».

68. «Сито мусеники»

Я спросил шофера, кто такие «Сто мучеников за демократию». Мы как раз проезжали бульвар, который так и назывался — бульвар имени Ста мучеников за демократию.

Шофер рассказал мне, что Сан-Лоренцо объявил войну Германии и Японии через час после нападения на Перл-Харбор.

В Сан-Лоренцо было призвано сто человек — сражаться за демократию. Эту сотню посадили на корабль, направлявшийся в США: там их должны были вооружить и обучить.

Но корабль был потоплен немецкой подлодкой у самого выхода из боливарской гавани.

— Эси рюди, сэр, — сказал шофер на своем диалекте, — и быри сито мусеники за зимокарасию.

— Эти люди, сэр, — означало по-английски, — и были «Сто мучеников за демократию».

69. Огромная мозаика

Супруги Кросби и я испытывали странное ощущение: мы были первыми посетителями нового отеля. Мы первые занесли свои имена в книгу приезжих в «Каса Мона».

Оба Кросби подошли к регистратуре раньше меня, но Лоу Кросби был настолько поражен видом совершенно чистой книги записей, что не мог заставить себя расписаться. Сначала он должен был это обдумать.

— Распишитесь вы сперва, — сказал он мне. И потом, не желая, чтобы я счел его суеверным, объявил, что хочет сфотографировать человека, который украшал мозаикой оштукатуренную стену холла.

Мозаика изображала Мону Эймонс Монзано. Портрет достигал в высоту футов двадцать. Человек, работавший над мозаикой, был молод и мускулист. Он сидел на верхней ступеньке переносной лестницы. На нем ничего не было, кроме парусиновых брюк.

Он был белый человек.

Сейчас художник делал из золотой стружки тонкие волосики на затылке над лебединой шейкой Моны.

Кросби пошел фотографировать его; вернулся, чтобы сообщить нам, что такого писсанта он еще в жизни не встречал. Лицо у Кросби стало цвета томатного сока: «Ему ни черта сказать невозможно, сразу все выворачивает наизнанку».

Тогда я подошел к художнику, постоял, посмотрел на его работу и сказал:

— Я вам завидую.
— Так я и знал, — вздохнул он, — знал, что стоит мне только выждать, непременно явится кто-то и позавидует мне. Я себе все твердил — надо набраться терпения, и раньше или позже явится завистник.
— Вы — американец?
— Имею счастье. — Он продолжал работать, а взглянуть на меня, посмотреть, что я за птица, ему было неинтересно: — А вы тоже хотите меня сфотографировать?
— Вы не возражаете?
— Я думаю — значит, существую, значит, могу быть сфотографирован.
— К несчастью, у меня нет с собой аппарата.
— Так пойдите за ним, черт подери. Разве вы из тех людей, которые доверяют своей памяти?
— Ну, это лицо на вашей мозаике я так скоро не забуду.
— Забудете, когда помрете, и я тоже забуду. Когда умру, я все забуду, чего и вам желаю.
— Она вам позировала, или вы работаете по фотографии, или еще как?
— Я работаю еще как.
— Что?
— Я работаю еще как. — Он постучал себя по виску. — Все тут, в моей достойной зависти башке.
— Вы ее знаете?
— Имею счастье.
— Фрэнк Хонникер счастливец.
— Фрэнк Хонникер кусок дерьма.
— А вы человек откровенный.
— И к тому же богатый.
— Рад за вас.
— Хотите знать мнение опытного человека? Деньги не всегда дают людям счастье.

— Благодарю за информацию. Вы сняли с меня большую заботу. Ведь я как раз придумал себе заработок.
— Какой?
— Хотел писать.
— Я тоже как-то написал книгу.
— Как она называлась?
— «Сан-Лоренцо. География, история, народонаселение».

70. Питомец Боконона

— Значит, вы — Филипп Касл, сын Джулиана Касла, — сказал я художнику.
— Имею счастье.
— Я приехал повидать вашего отца.
— Вы продаете аспирин?
— Нет.
— Жаль, жаль. У отца кончается аспирин. Может, у вас есть чудодейственные зелья? Папаша любит делать чудеса.
— Нет, я никакими зельями не торгую. Я писатель.
— А почему вы думаете, что писатели не торгуют зельем?
— Сдаюсь. Признаю себя виновным.
— Отцу нужна какая-нибудь книга — читать вслух людям, умирающим в страшных мучениях. Но вы, наверно, ничего такого не написали.
— Пока нет.
— Мне кажется, на этом можно бы подзаработать. Вот вам еще один ценный совет.
— Может, мне удалось бы переписать двадцать третий псалом, немножко его переделать, чтобы никто не догадался, что придумал его не я.
— Боконон уже пытался переделать этот псалом, — сообщил он мне, — и понял, что ни слова изменить нельзя.

— Вы и его знаете?

— Имею счастье. Он был моим учителем, когда я был мальчишкой. — Он с нежностью кивнул на свою мозаику: — Мона тоже его ученица.

— А он был хороший учитель?

— Мы с Моной умеем читать, писать и решать простые задачи, — сказал Касл, — вы ведь об этом спрашиваете?

71. Имею счастье быть американцем

Тут подошел Лоу Кросби — еще раз взглянуть на Касла, на этого писсанта.

— Так кем вы себя считаете? — насмешливо спросил он. — Битником или еще кем?

— Я считаю себя боконистом.

— Но это же против законов этой страны?

— Я случайно имею счастье быть американцем. Я называю себя боконистом, когда мне вздумается, и до сих пор никто меня за это не трогал.

— А я считаю, что надо подчиняться законам той страны, где находишься.

— Это по вас видно.

Кросби побагровел:

— Иди ты в задницу, Джек!

— Самидитуда, Джаспер, — мягко сказал Касл, — и все ваши праздники вместе с Рождеством и Днем благодарения туда же.

Кросби прошагал через весь холл к регистратору и сказал:

— Я желаю заявить на этого человека, на этого писсанта, на этого так называемого художника. У вас тут страна хотя и маленькая, по хорошая, старается привлечь туристов, старается заполучить новые вклады в промышленность. А этот малый так со мной разговаривал, что ноги моей больше тут



не будет, и ежели меня знакомые спросят про Сан-Лоренцо, я им скажу, чтобы носа сюда не совали. Может, там, на стенке, у вас и выйдет красивая картина, но, клянусь честью, такого писсанта, такого нахального, наглого сукина сына, как этот ваш художник, я в жизни не видел.

Клерк позеленел:

— Сэр...

— Слушаю вас! — сказал Кросби, горя негодованием.

— Сэр, это же владелец отеля.

72. Писсантный Хилтон

Лоу Кросби с супругой выбыли из отеля «Каса Мона». Кросби обозвал его «писсантный Хилтон»¹ и потребовал приюта в американском посольстве.

И я оказался единственным постояльцем отеля в сто комнат.

Номер у меня был приятный. Он, как и все другие номера, выходил на бульвар имени Ста мучеников за демократию, на аэропорт «Монзано» и боливарскую гавань. «Каса Мона» архитектурой походила на книжный шкаф — глухие каменные стены позади и сбоку, а фасад сплошь из сине-зеленого стекла. Город, с его нищетой и убожеством, не был виден: он был расположен позади и по сторонам, за глухими стенами «Каса Мона».

Моя комната была снабжена вентилятором. Там было почти прохладно. Войдя с ошеломительной жары в эту прохладу, я стал чихать.

¹ *Хилтон* — название фирмы, владеющей роскошными отелями во многих странах.

На столике у кровати стояли свежие цветы, но постель не была заправлена. На ней даже подушки не было, один только голый новехонький поролоновый матрас. А в шкафу — ни одной вешалки, в уборной — ни клочка туалетной бумаги.

И я вышел в коридор поискать горничную, которая снабдила бы меня всем необходимым. Там никого не было, но в дальнем конце дверь стояла открытой и смутно доносились какие-то живые звуки.

Я подошел к этой двери и увидел большие апартаменты. Пол был закрыт мешковиной. Комнату красили, но, когда я вошел, двое маляров занимались не этим. Они сидели на широких и длинных козлах под окнами.

Они сняли обувь. Они закрыли глаза. Они сидели лицом друг к другу.

И они прижимались друг к другу голыми пятками.

Каждый обхватил свои щиколотки, застыв неподвижным треугольником.

Я откашлялся...

Оба скатились с козел и упали на заляпанную мешковину. Они упали на четвереньки — и так и остались, прижав носы к полу и выставив зады. Они ждали, что их сейчас убьют.

— Простите, — сказал я растерянно.

— Не говорите никому, — жалобно попросил один. — Прошу вас, никому не говорите.

— Про что?

— Про то, что видели.

— Я ничего не видел.

— Если скажете, — проговорил он, прижавшись щекой к полу, и умоляюще посмотрел на меня, — если скажете, мы умрем на ку-рю-ке...

— Послушайте, ребята, — сказал я, — то ли я пришел слишком рано, то ли слишком поздно, но повторяю: я ничего не видел такого, о чем стоит рассказать. Прошу вас, встаньте!

Они поднялись с пола, не спуская с меня глаз. Они дрожали и ежились. Мне еле-еле удалось их убедить, что я никому не расскажу то, что я видел.

А видел я, конечно, боконистский ритуал, так называемое *боко-мару*, или обмен познанием.

Мы, боконисты, верим, что, прикасаясь друг к другу пятками — конечно, если у обоих ноги чистые и ухоженные, — люди непременно почувствуют взаимную любовь.

Основа этой церемонии изложена в следующем калипсо:

Пожмем друг другу пятки
И будем всех любить,
Любить как нашу Землю,
Где надо дружно жить.

73. Черная смерть

Когда я вернулся к себе в номер, я увидел, что Филипп Касл, художник по мозаике, историк, составитель указателя к собственной книге, писант и владелец отеля, прилаживает ролик туалетной бумаги в моей ванной комнате.

— Большое вам спасибо, — сказал я.

— Не за что.

— Вот это действительно гостеприимный отель, — сказал я. — Ну где еще найдешь владельца отеля, который сам непосредственно заботится об удобстве гостей?

— А где еще найдешь отель с одним постояльцем?

— У вас их было трое.

— Незабвенное время...

— Знаете, может быть, я лезу не в свое дело, но трудно понять, как человека с вашим кругозором, с вашими талантами могла так привлечь роль владельца гостиницы?

Он недоуменно нахмурился:

— Вам кажется, что я не совсем так обращаюсь с гостями, как надо?

— Я знал некоторых людей в Школе обслуживания гостиниц в Корнелле, и мне почему-то кажется, что они обошлись бы с этим Кросби как-то по-другому.

Он сокрушенно покачал головой.

— Знаю. Знаю. — Он вдруг хлопнул себя по бокам. — Сам не понимаю, какого дьявола я выстроил эту гостиницу, должно быть, захотелось чем-то заполнить жизнь. Чем-то заняться, как-то уйти от одиночества. — Он покачал головой. — Надо было либо стать отшельником, либо открыть гостиницу — выбора не было.

— Кажется, вы выросли при отцовском госпитале?

— Верно. Мы с Моной оба выросли там.

— И вас никак не соблазняла мысль строить свою жизнь, как устроил ее ваш отец?

Молодой Касл неуверенно улыбнулся, избегая прямого ответа.

— Он чужак, мой отец, — сказал он. — Наверно, он вам понравится.

— Да, по всей вероятности. Бескорыстных людей не так уж много.

— Давно, когда мне было лет пятнадцать, — заговорил Касл, — поблизости отсюда взбунтовалась команда греческого корабля, который шел из Гонконга в Гавану с грузом плетеной мебели. Мятежники захватили корабль, но справиться с ним не могли и разбились о скалы неподалеку от замка «Папы» Монзано. Все утонули, кроме крыс. Крыс и плетеную мебель прибило к берегу.

Этим как будто и кончался его рассказ, но я неуверенно спросил:

— А потом?

— Потом часть населения получила даром плетеную мебель, а часть — бубонную чуму. У отца в госпитале за десять дней умерло около полутора тысяч человек. Вы когда-нибудь видали, как умирают от бубонной чумы?

— Меня миновало такое несчастье.

— Лимфатические железы в паху и под мышками распухают до размеров грейпфрута.

— Охотно верю.

— После смерти труп чернеет — правда, у черных чернеть нечему. Когда чума тут хозяйничала, наша Обитель Надежды и Милосердия походила на Освенцим или Бухенвальд. Трупов накопилось столько, что бульдозер заело, когда их пытались сбросить в общую могилу. Отец много дней подряд работал без сна, но и без всяких результатов: почти никого спасти не удалось.

Жуткий рассказ Касла был прерван телефонным звонком.

— Фу, черт! — сказал Касл. — Я и не знал, что телефоны уже включены.

Я поднял трубку:

— Алло?

Звонил генерал-майор Фрэнклин Хонникер. Он тяжело дышал и, видно, был перепуган до смерти:

— Слушайте! Немедленно приезжайте ко мне домой. Нам необходимо поговорить. Для вас это страшно важно!

— Вы можете мне объяснить, в чем дело?

— Только не по телефону, не по телефону! Приезжайте ко мне. Прошу вас!

— Хорошо.

— Я не шучу. Для вас это страшно важно. Такого важного случая у вас в жизни еще никогда не было... — И он повесил трубку.

— Что случилось? — спросил Филипп Касл.

— Понятия не имею. Фрэнк Хонникер хочет немедленно видеть меня.

— Не торопитесь. Отдохните. Он же идиот.

— Говорит, очень важное дело.

— Откуда он знает — что важно, что неважно? Я бы мог вырезать из банана человечка умнее, чем он.

— Ладно, рассказывайте дальше.

— На чем я остановился?

— На бубонной чуме. Бульдозер заело — столько было трупов.

— А, да. Одну ночь я провел с отцом, помогал ему. Мы только и делали, что искали живых среди мертвецов. Но койка за койкой, койка за койкой — одни трупы.

И вдруг отец засмеялся, — продолжал Касл. — И никак не мог остановиться. Он вышел в ночь с карманным фонарем. Он все смеялся и смеялся. Свет фонаря падал на горы трупов, сложенных во дворе, а он водил по ним лучом фонаря. И вдруг он положил руку мне на голову, и знаете, что этот удивительный человек сказал мне?

— Нет.

— Сынок, — сказал мне мой отец, — когда-нибудь все это будет твоим.

74. Колыбель для кошки

Я поехал домой к Фрэнку в единственном такси Сан-Лоренцо.

Мы ехали мимо безобразной нищеты. Мы поднялись по склону горы Маккэйб. Стало прохладнее. Поднялся туман.

Фрэнк жил в бывшем доме Нестора Эймонса, отца Моны, архитектора, построившего Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.

Эймонс сам спроектировал этот дом.

Дом нависал над водопадом, терраса выступала козырьком прямо в туман, плывший над водой. Это было хитрое переплетение очень легких стальных опор и карнизов. Просветы

переплета были закрыты по-разному то куском местного гранита, то стеклом, то шторкой из парусины.

Казалось, что дом был выстроен не для того, чтобы служить людям укрытием, а чтобы продемонстрировать причуды его строителя.

Вежливый слуга приветствовал меня и сказал, что Фрэнк еще не вернулся домой. Фрэнка ждали с минуты на минуту. Фрэнк приказал, чтобы меня приняли как можно лучше, устроили поудобнее и попросили остаться ужинать и ночевать. Этот слуга — он сказал, что его имя Стэнли, — был первым толстым жителем Сан-Лоренцо, попавшимся мне на глаза.

Стэнли провел меня в мою комнату, мы прошли по центру дома вниз по лестнице грубого камня — сбоку шли то открытые, то закрытые прямоугольники в стальной оправе. Моя постель представляла собой толстый поролоновый тюфяк, лежавший на каменной полке — полке из неотесанного камня. Стены моей комнаты были из парусины. Стэнли показал мне, как их по желанию можно подымать и опускать.

Я спросил Стэнли, кто еще дома, и он сказал, что дома только Ньют. Ньют, сказал он, сидит на висячей террасе и пишет картину. Анджела, сказал он, ушла поглядеть Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.

Я вышел на головокругительную террасу, нависшую над водопадом, и застал крошку Ньюта спящим в раскладном желтом кресле.

Картина, над которой работал Ньют, стояла на мольберте у алюминиевых перил. Полотно как бы вписывалось в туманный фон неба, моря и долины.

Сама картина была маленькая, черная, шершавая. Она состояла из сети царапин на густой черной подмалевке. Царапины оплетались во что-то вроде паутины, и я подумал: не те ли это сети, что липкой бессмыслицей опутывают человеческую жизнь, вывешены здесь на просушку в безлунной ночи?



Я не стал будить лилипута, написавшего эту страшную штуку.

Я закурил, слушая воображаемые голоса в шуме водопада.

Разбудил Ньюта взрыв далеко внизу. Звук прокатился над равниной и ушел в небеса. Палила пушка на боливарской набережной, объяснил мне дворецкий Фрэнка. Она стреляла ежедневно в пять часов.

Маленький Ньют заворочался.

Еще в полусне он потер черными от краски ладонями рот и подбородок, оставляя черные пятна. Он протер глаза, измазав и веки черной краской.

— Привет, — сказал он сонным голосом.

— Привет, — сказал я, — мне нравится ваша картина.

— А вы видите, что на ней?

— Мне кажется, каждый видит ее по-своему.

— Это же кошкина колыбель.

— Ага, — сказал я, — здорово. Царапины — это веревочка. Правильно?

— Это одна из самых древних игр — заплетать веревочку. Даже эскимосам она известна.

— Да что вы!

— Чуть ли не сто тысяч лет взрослые вертят под носом у своих детей такой переплет из веревочки.

— Угу.

Ньют все еще лежал, свернувшись в кресле. Он расставил руки, словно держа между пальцами сплетенную из веревочки «кошкину колыбель».

— Неудивительно, что ребята растут психами. Ведь такая «кошкина колыбель» — просто переплетенные иксы на чьих-то руках. А малыши смотрят, смотрят, смотрят...

— Ну и что?

— И никакой, к черту, кошки, никакой, к черту, колыбельки нет!

75. Передайте привет доктору Швейцеру

А ТУТ пришла Анджела Хонникер Коннерс, долговязая сестра Ньюта, и привела Джулиана Касла, отца Филиппа и основателя Обители Надежды и Милосердия в джунглях. На Касле был мешковатый костюм белого полотна и галстук веревочкой. Усы у него топорщились. Он был лысоват. Он был очень худ. Он, как я полагаю, был святой.

Тут, на висячей террасе, он познакомился с Ньютом и со мной. Но он заранее пресек всякий разговор о его святом призвании, заговорив, как гангстер из фильма, цедя слова сквозь зубы и кривя рот.

— Как я понял, вы последователь доктора Альберта Швейцера? — сказал я ему.

— На расстоянии. — Он осклабился, как убийца. — Никогда не встречал этого господина.

— Но он, безусловно, знает о вашей работе, как и вы знаете о нем.

— То ли да, то ли нет. Вы с ним встречались?

— Нет.

— Собираетесь встретиться?

— Возможно, когда-нибудь и встречусь.

— Так вот, — сказал Джулиан Касл, — если случайно в своих путешествиях вы столкнетесь с доктором Швейцером, можете сказать ему, что он не мой герой. — И он стал раскуривать длинную сигару.

Когда сигара хорошо раскурилась, он повел в мою сторону ее раскаленным кончиком.

— Можете ему сказать, что он не мой герой, — повторил он, — но можете ему сказать, что благодаря ему Христос стал моим героем.

— Думаю, что его это обрадует.



— А мне наплевать, обрадует или нет. Это личное дело — мое и Христово.

*76. Джулиан Касл соглашается с Ньютом,
что все на свете — бессмыслица*

Джулиан Касл и Анджела подошли к картине Ньюта. Касл сложил колечком указательный палец и посмотрел сквозь дырочку на картину.

— Что вы скажете? — спросил я.

— Да тут все черно. Это что же такое — ад?

— Это то, что вы видите, — сказал Ньют.

— Значит, ад, — рявкнул Касл.

— А мне только что объяснили, что это «колыбель для кошки», — сказал я.

— Объяснения автора всегда помогают, — сказал Касл.

— Мне кажется, что это нехорошо, — пожаловалась Анджела. — По-моему, очень некрасиво, правда, я ничего не понимаю в современной живописи. Иногда мне так хочется, чтобы Ньют взял хоть несколько уроков, он бы тогда знал наверняка, правильно он рисует или нет.

— Вы самоучка, а? — спросил Джулиан Касл у Ньюта.

— А разве мы все не самоучки? — спросил Ньют.

— Прекрасный ответ, — с уважением сказал Касл.

Я взялся объяснить скрытый смысл «колыбели для кошки», так как Ньюту явно не хотелось снова заводить всю эту музыку.

Касл серьезно наклонил голову:

— Значит, это картина о бессмысленности всего на свете? Совершенно согласен.

— Вы и вправду согласны? — спросил я. — Но вы только что говорили про Христа.

— Про кого?

— Про Иисуса Христа.

— А-а! — сказал Касл. — Про него! — Он пожал плечами. — Нужно же человеку о чем-то говорить, упражнять голосовые связки, чтобы они хорошо работали, когда придется сказать что-то действительно важное.

— Понятно. — Я сообразил, что нелегко мне будет писать популярную статейку про этого человека. Придется мне сосредоточиться на его благочестивых поступках и совершенно отмести его сатанинские мысли и слова.

— Можете меня цитировать, — сказал он. — Человек гадок, и человек ничего стоящего и делать не делает и знать не знает. — Он наклонился и пожал вымазанную краской руку маленького Ньюта: — Правильно?

Ньют кивнул, хотя ему, как видно, показалось, что тот немного преувеличивает:

— Правильно.

И тут наш святой подошел к картине Ньюта и снял ее с мольберта. Взглянув на нас, он расплылся в улыбке:

— Мусор, мусор, как и все на свете.

И швырнул картину с висячей террасы. Она взмыла кверху в струе воздуха, остановилась, бумерангом отлетела обратно и скользнула в водопад.

Маленький Ньют промолчал.

Первой заговорила Анджела:

— У тебя все лицо в краске, детка. Поди умойся.

77. Аспирин и боко-мару

— Скажите мне, доктор, — спросил я Джулиана Касла, — как здоровье «Папы» Монзано?

— А я почему знаю?

— Но я думал, что вы его лечите.

— Мы с ним не разговариваем, — усмехнулся Касл. — Последний раз, года три назад, он мне сказал, что меня не вешают на крюк только потому, что я — американский гражданин.

— Чем же вы его обидели? Приехали сюда, на свои деньги выстроили бесплатный госпиталь для его народа...

— «Папе» не нравится, как мы обращаемся с пациентами вообще, — сказал Касл, — особенно как мы обращаемся с ними, когда они умирают. В Обители Надежды и Милосердия в джунглях мы напутствуем тех, кто пожелает, перед смертью по боконистскому ритуалу.

— А какой это ритуал?

— Очень простой. Умиравший начинает с повторения того, что читается. Попробуйте повторить за мной.

— Но я еще не так близок к смерти.

Он жутко подмигнул мне:

— Правильно делаете, что осторожничаете. Умиравший, принимая последнее напутствие, от этих слов часто и умирает раньше времени. Но, наверно, мы вас до этого не допустили бы — ведь пятками мы соприкосаться не станем.

— Пятками?

Он объяснил мне теорию Боконона насчет касания пятками.

— Теперь я понимаю, что я видел в отеле. — И я рассказал ему про двух маляров.

— А знаете, это действует, — сказал он. — Люди, которые проделывают эту штуку, на самом деле начинают лучше относиться друг к другу и ко всему на свете.

— Гм-мм...

— *Боко-мару*.

— Простите?

— Так называют эту ножную церемонию, — сказал Касл. — Да, действует. А я радуюсь, когда что-то действует. Не так уж много вещей действуют.

— Наверно, нет.

— Мой госпиталь не мог бы работать, не будь аспирина и *боко-мару*.

— Я так понимаю, — сказала я, — что на острове еще множество боконистов, несмотря на закон, несмотря на «ку-рю-ку».

Он рассмеялся:

— Еще не разобрались?

— В чем это?

— Все до одного на Сан-Лоренцо истинные боконисты, несмотря на «ку-рю-ку».

78. В стальном кольце

— Когда Боконон и Маккэйб много лет назад завладели этой жалкой страной, — продолжал Джулиан Касл, — они выгнали всех попов. И Боконон, шутник и циник, изобрел новую религию.

— Слышал, — сказал я.

— Ну вот, когда стало ясно, что никакими государственными или экономическими реформами нельзя облегчить жалкую жизнь этого народа, религия стала единственным способом вселять в людей надежду. Правда стала врагом народа, потому что правда была страшной, и Боконон поставил себе цель — давать людям ложь, приукрашивая ее все больше и больше.

— Как же случилось, что он оказался вне закона?

— Это он сам придумал. Он попросил Маккэйба объявить вне закона и его самого, и его учение, чтобы внести в жизнь верующих больше напряженности, больше остроты. Кстати, он написал об этом небольшой стишок. И Касл прочел стишок, которого нет в *Книгах Боконона*:

С правительством простился я,
Сказав им откровенно,

Что вера — разновидность
Государственной измены.

— Боконон и крюк придумал как самое подходящее наказание за боконизм, — сказал Касл. — Он видел когда-то такой крюк в комнате пыток в музее мадам Тюссо. — Касл жутко скривился и подмигнул: — Тоже для острастки.

— И многие погибли на крюке?

— Не с самого начала, не сразу. Сначала было одно притворство. Ловко распускались слухи насчет казней, но на самом деле никто не мог сказать, кого же казнили. Маккэйб немало повеселился, придумывая самые кровожадные угрозы по адресу боконистов, то есть всего народа.

А Боконон уютно скрывался в джунглях, — продолжал Касл, — там писал, проповедовал целыми днями и кормился всякими вкусностями, которые приносили его последователи.

Маккэйб собирал безработных, а безработными были почти все, и организовывал огромные облавы на Боконона. Каждый полгода он объявлял торжественно, что Боконон окружен стальным кольцом и кольцо это безжалостно смыкается.

Но потом командиры этого стального кольца, доведенные горькой неудачей чуть ли не до апоплексического удара, докладывали Маккэйбу, что Боконону удалось невозможное.

Он убежал, он испарился, он остался жив, он снова будет проповедовать. Чудо из чудес!

79. Почему Маккэйб огрубел душой

— Маккэйбу и Боконону не удалось поднять то, что зовется «уровень жизни», — продолжал Касл. — По правде говоря, жизнь осталась такой же короткой, такой же грубой, такой же жалкой.

Но люди уже меньше думали об этой страшной правде. Чем больше разрасталась живая легенда о жестоком тиране и кротком святом, скрытом в джунглях, тем счастливее становился народ. Все были заняты одним делом: каждый играл свою роль в спектакле — и любой человек на свете мог этот спектакль понять, мог ему аплодировать.

— Значит, жизнь стала произведением искусства! — воскрился я.

— Да. Но тут возникла одна помеха.

— Какая?

— Вся драма ожесточила души обоих главных актеров — Маккэйба и Боконона. В молодости они очень походили друг на друга, оба были наполовину ангелами, наполовину пиратами.

Но по пьесе требовалось, чтобы пиратская половина Бокононовой души и ангельская половина души Маккэйба сошлись и отпали. И оба, Маккэйб и Боконон, заплатили жестокой мукой за счастье народа: Маккэйб познал муки тирана, Боконон — мучения святого. Оба, по существу, спятили с ума.

Касл согнул указательный палец левой руки крючком:

— Вот тут-то людей по-настоящему стали вешать на «крю-рю-ку».

— Но Боконона так и не поймали? — спросил я.

— Нет, у Маккэйба хватило смекалки понять, что без святого подвижника ему не с кем будет воевать и сам он превратится в бессмыслицу. «Папа» Монзано тоже это понимает.

— Неужто люди до сих пор умирают на крюке?

— Это неизбежный исход.

— Нет, я спрашиваю, неужели «Папа» и в самом деле казнит людей таким способом?

— Он казнит кого-нибудь раз в два года, — так сказать, чтобы каша не остывала. — Касл вздохнул, поглядел на вечернее небо: — Дела, дела, дела...

— Как?
— Так мы, боконисты, говорим, — сказал он, — когда чувствуем, что заваривается что-то таинственное.
— Как, и вы? — Я был потрясен. — Вы тоже боконист?
Он спокойно поднял на меня глаза.
— И вы тоже. Скоро вы это поймете.

80. Водопад в решетке

Анджела и Ньют сидели на висячей террасе со мной и Джулианом Каслом. Мы пили коктейли. О Фрэнке не было ни слуху ни духу.

И Анджела и Ньют, по-видимому, любили выпить. Касл сказал мне, что грехи молодости стоили ему одной почки и что он, к несчастью, вынужден ограничиться имбирным элем.

После нескольких бокалов Анджела стала жаловаться, что люди обманули ее отца:

— Он отдал им так много, а они дали ему так мало.

Я стал добиваться — в чем же, например, сказалась эта скупость, и добился точных цифр.

— Всеобщая сталелитейная компания платила ему по сорок пять долларов за каждый патент, полученный по его изобретениям, — сказала Анджела, — и такую же сумму платили за любой патент. — Она грустно покачала головой: — Сорок пять долларов, а только подумать, какие это были патенты!

— Угу, — сказала. — Но я полагаю, он и жалованье получал.

— Самое большее, что он зарабатывал, это двадцать во-семь тысяч долларов в год.

— Я бы сказал, не так уж плохо.

Она вся вспыхнула:

— А вы знаете, сколько получают кинозвезды?

— Иногда порядочно.

— А вы знаете, что доктор Брид зарабатывал в год на десять тысяч долларов больше, чем отец?

— Это, конечно, большая несправедливость.

— Мне осточертела несправедливость.

Голос у нее стал таким истерически-крикливым, что я сразу переменял тему. Я спросил Джулиана Касла: как он думает, что случилось с картиной Ньюта, брошенной в водопад?

— Там, внизу, есть маленькая деревушка, — сказал мне Касл, — не то пять, не то шесть хижин. Кстати, там родился «Папа» Монзано. Водопад кончается там огромным каменным бассейном. Через узкое горло бассейна, откуда вытекает река, крестьяне протянули частую металлическую сетку. Через нее и процеживается вся вода из водопада.

— Значит, по-вашему, картина Ньюта застряла в этой сетке? — спросил я.

— Страна тут нищая, как вы, может быть, заметили, — сказал Касл. — В сетке ничего не застревает надолго. Я представляю себе, что картину Ньюта сейчас уже сушат на солнце вместе с окурком моей сигары. Четыре квадратных фута проклеенного холста, четыре обточенные и обтесанные планки от подрамника, может, и пара кнопок да еще сигара. В общем, неплохой улов для какого-нибудь нищего-разнищего человека.

— Просто визжать хочется, — сказала Анджела, — как подумаю, сколько платят разным людям и сколько платили отцу — а сколько он им давал!

Видно было, что сейчас она заплачет.

— Не плачь, — ласково попросил Ньют.

— Трудно удержаться, — сказала она.

— Пойди поиграй на кларнете, — настаивал Ньют. — Это тебе всегда помогает.

Мне показалось, что такой совет довольно смешон. Но по реакции Анджелы я понял, что совет был дан всерьез и пошел ей на пользу.

— В таком настроении, — сказала она мне и Каслу, — только это иногда и помогает.

Но она постеснялась сразу побежать за кларнетом. Мы долго просили ее поиграть, но она сначала выпила еще два стакана.

— Она правда замечательно играет, — пообещал нам Ньют.

— Очень хочется вас послушать, — сказал Касл.

— Хорошо, — сказала Анджела и встала, чуть покачиваясь. — Хорошо, я вам сыграю.

Когда она вышла, Ньют извинился за нее:

— Жизнь у нее тяжелая. Ей нужно отдохнуть.

— Она, должно быть, болела? — спросил я.

— Муж у нее скотина, — сказал Ньют. Видно было, что он люто ненавидит красивого молодого мужа Анджелы, преуспевающего Гаррисона С. Коннерса, президента компании «Фабри-Тек». — Никогда дома не бывает, а если явится, то пьяный в доску и весь измазанный губной помадой.

— А мне, по ее словам, показалось, что это очень счастливый брак, — сказал я.

Маленький Ньют расставил ладони на шесть дюймов и растопырил пальцы:

— Кошку видали? Колыбельку видали?

*81. Белая невеста
для сына проводника спальных вагонов*

Я не знал, как прозвучит кларнет Анджелы Хонникер. Никто и вообразить не мог, как он прозвучит.

Я ждал чего-то патологического, но я не ожидал той глубины, той силы, той почти невыносимой красоты этой патологии.

Анджела увлажнила и согрела дыханием мундштук кларнета, не издав ни одного звука. Глаза у нее остекленели, длинные костлявые пальцы перебирали немые клавиши инструмента.

Я ждал с тревогой, вспоминая, что рассказывал мне Марвин Брид: когда Анджеле становилось невыносимо от тяжелой жизни с отцом, она запиралась у себя в комнате и там играла под граммофонную пластинку.

Ньют уже поставил долгоиграющую пластинку на огромный проигрыватель в соседней комнате. Он вернулся и подал мне конверт от пластинки.

Пластинка называлась «Рояль в веселом доме». Это было соло на рояле, и играл Мид Люкс Льюис.

Пока Анджела, как бы впадая в транс, дала Льюису сыграть первый номер соло, я успел прочесть то, что стояло на обложке. «Родился в Луисвилле, штат Кентукки, в 1905 г., — читал я. — Мистер Льюис не занимался музыкой до 16 лет, а потом отец купил ему скрипку. Через год юный Льюис услышал знаменитого пианиста Джимми Янси. «Это, — вспоминает Льюис, — и было то, что надо». Вскоре, — читал я дальше, — Льюис стал играть на рояле буги-вуги, стараясь взять от своего старшего товарища Янси все, что возможно, — тот до самой своей смерти оставался ближайшим другом и кумиром мистера Льюиса. Так как Льюис был сыном проводника пульмановских вагонов, — читал я дальше, — то семья Льюисов жила возле железной дороги. Ритм поездов вошел в плоть и кровь юного Льюиса. И вскоре он сочинил блюз для рояля в ритме буги-вуги, ставший уже классическим в своем роде, под названием «Тук-тук-тук вагончики».

Я поднял голову. Первый номер пластинки уже кончился, игла медленно прокладывала себе дорожку к следующему номеру. Как я прочел на обложке, следующий назывался «Блюз Дракон».

Мид Люкс Льюис сыграл первые такты соло — и тут вступила Анджела Хонникер.

Глаза у нее закрылись.

Я был потрясен.

Она играла блестяще.

Она импровизировала под музыку сына проводника; она переходила от ласковой лирики и хриплой страсти к звенящим вскрикам испуганного ребенка, к бреду наркомана. Ее переходы, глоссандо, вели из рая в ад через все, что лежит между ними.

Так играть могла только шизофреничка или одержимая.

Волосы у меня встали дыбом, как будто Анджела каталась по полу с пеной у рта и бегло болтала по-древнеавилонски.

Когда музыка оборвалась, я закричал Джулиану Каслу, тоже пронзенному этими звуками:

— Господи, вот вам жизнь! Да разве ее хоть чуточку поймешь?

— А вы и не старайтесь, — сказал Касл. — Просто сделайте вид, что вы все понимаете.

— Это очень хороший совет. — Я сразу обмяк.

И Касл процитировал еще один стишок:

Тигру надо жрать,
Порхать — пичужкам всем,
А человеку — спрашивать:
«Зачем, зачем, зачем?»
Но тиграм время спать,
Птенцам — лететь обратно,
А человеку — утверждать,
Что все ему понятно.

— Это откуда же? — спросил я.

— Откуда же, как не из *Книг Боконона*.

— Очень хотелось бы достать экземпляр.

— Их нигде не достать, — сказал Касл. — Книжки не печатались. Их переписывают от руки. И конечно, законченного экземпляра вообще не существует, потому что Боконон каждый день добавляет еще что-то.

Маленький Ньют фыркнул:

— Религия!

— Простите? — сказал Касл.

— Кошку видали? Колыбельку видали?

82. За-ма-ки-бо

Генерал-майор Фрэнклин Хонникер к ужину не явился.

Он позвонил по телефону и настаивал, чтобы с ним поговорил я, и никто другой. Он сказал мне, что дежурит у постели «Папы» и что «Папа» умирает в страшных муках. Голос Фрэнка звучал испуганно и одиноко.

— Слушайте, — сказал я, — а почему бы мне не вернуться в отель, а потом, когда все кончится, мы с вами могли бы встретиться.

— Нет, нет, нет. Не уходите никуда. Надо, чтобы вы были там, где я сразу смогу вас поймать. — Видно было, что он ужасно боится выпустить меня из рук. И оттого, что мне было непонятно, почему он так интересуется мной, мне тоже стало жутковато.

— А вы не можете объяснить, зачем вам надо меня видеть? — спросил я.

— Только не по телефону.

— Это насчет вашего отца?

— Насчет вас.

— Насчет того, что я сделал?

— Насчет того, что вам надо сделать.

Я услышал, как где-то там, у Фрэнка, закудахтала курица. Услышал, как там открылись двери и откуда-то донеслась музыка — заиграли на ксилофоне. Опять играли «На склоне дня». Потом двери закрылись, и музыки я больше не слышал.

— Я был бы очень благодарен, если бы вы мне хоть намекнули, чего вы от меня ждете, надо же мне как-то подготовиться, — сказал я.

— *За-ма-ки-бо*.

— Что такое?

— Это боконистское слово.

— Никаких боконистских слов я не знаю.

— Джулиан Касл там?

— Да.

— Спросите его, — сказал Фрэнк. — Мне надо идти. —

И он повесил трубку.

Тогда я спросил Джулиана Касла, что значит *за-ма-ки-бо*.

— Хотите простой ответ или подробное разъяснение?

— Давайте начнем с простого.

— Судьба, — сказал он. — Неумолимый рок.

*83. Доктор Шлихтер фон Кенигсвальд
приближается к точке равновесия*

— Рак, — сказал Джулиан Касл, когда я ему сообщил, что «Папа» умирает в мучениях.

— Рак чего?

— Чуть ли не всего. Вы сказали, что он упал в обморок на трибуне?

— Ну конечно, — сказала Анджела.

— Это от наркотиков, — заявил Касл. — Он сейчас дошел до той точки, когда наркотики и боли примерно уравновешиваются. Увеличить долю наркотиков — значит убить его.

— Наверно, я когда-нибудь покончу с собой, — пробормотал Ньют. Он сидел на чем-то вроде высокого складного кресла, которое он брал с собой в гости. Кресло было сделано из алюминиевых трубок и парусины. — Лучше, чем подкла-



дывать словарь, атлас и телефонный справочник, — сказал Ньют, расставляя кресло.

— А капрал Маккэйб так и сделал, — сказал Касл. — Назначил своего дворецкого себе в преемники и застрелился.

— Тоже рак? — спросил я.

— Не уверен. Скорее всего нет. По-моему, он просто извелся от бесчисленных злодеяний. Впрочем, все это было до меня.

— До чего веселый разговор! — сказала Анджела.

— Думаю, все согласятся, что время сейчас веселое, — сказал Касл.

— Знаете что, — сказал я ему, — по-моему, у вас есть больше оснований веселиться, чем у кого бы то ни было, вы столько добра делаете.

— Знаете, а у меня когда-то была своя яхта.

— При чем тут это?

— У владельца яхты тоже больше оснований веселиться, чем у многих других.

— Кто же лечит «Папу», если не вы? — спросил я.

— Один из моих врачей, некий доктор Шлихтер фон Кенигсвальд.

— Немец?

— Вроде того. Он четырнадцать лет служил в эсэсовских частях. Шесть лет он был лагерным врачом в Освенциме.

— Искушает, что ли, свою вину в Обители Надежды и Милосердия?

— Да, — сказал Касл. — И делает большие успехи, спасает жизнь направо и налево.

— Молодец.

— Да, — сказал Касл. — Если он будет продолжать такими темпами, то число спасенных им людей сравняется с числом убитых им же примерно к три тысячи десятому году.

Так в мой *карасс* вошел еще один человек, доктор Шлихтер фон Кенигсвальд.

84. Затмение

Прошло три часа после ужина, а Фрэнк все еще не вернулся. Джулиан Касл попрощался с нами и ушел в Обитель Надежды и Милосердия.

Анджела, Ньют и я сидели на висячей террасе. Мягко светились внизу огни Боливара. Над административным зданием аэропорта «Монзано» высился огромный сияющий крест. Его медленно вращал какой-то механизм, распространяя электрифицированную благодать на все четыре стороны света.

На северной стороне острова находилось еще несколько ярко освещенных мест. Но горы заслоняли все, и только отсвет озарял небо. Я попросил Стэнли, дворецкого Фрэнка, объяснить мне, откуда идет это зарево.

Он назвал источник света, водя пальцем против часовой стрелки:

— Обитель Надежды и Милосердия в джунглях, дворец «Папы» и форт Иисус.

— Форт Иисус?

— Учебный лагерь для наших солдат.

— И его назвали в честь Иисуса Христа?

— Конечно. А что тут такого?

Новые клубы света озарили небо на северной стороне. Прежде чем я успел спросить, откуда идет свет, оказалось, что это фары машин, еще скрытых горами. Свет фар приближался к нам.

Это подъезжал патруль.

Патруль состоял из пяти американских грузовиков армейского образца. Пулеметчики стояли наготове у своих орудий.

Патруль остановился у въезда в поместье Фрэнка. Солдаты сразу спрыгнули с машин. Они тут же взялись за работу, копая в саду гнезда для пулеметов и небольшие окопчики. Я вышел вместе с дворецким Фрэнка узнать, что происходит.



— Приказано охранять будущего президента Сан-Лоренцо, — сказал офицер на местном диалекте.

— А его тут нет, — сообщил я ему.

— Ничего не знаю, — сказал он. — Приказано окопаться тут. Вот все, что мне известно.

Я сообщил об этом Анджеле и Ньюту.

— Как по-вашему, ему действительно грозит опасность? — спросила меня Анджела.

— Я здесь человек посторонний, — сказал я. В эту минуту испортилось электричество. Во всем Сан-Лоренцо погас свет.

85. Слошная ф́ома

Слуги Фрэнка принесли керосиновые фонари, сказали, что в Сан-Лоренцо электричество портится очень часто и что тревожиться нечего. Однако мне было трудно подавить беспокойство, потому что Фрэнк говорил мне про мою *за-ма-ки-бо*.

Оттого у меня и появилось такое чувство, словно моя собственная воля значила ничуть не больше, чем воля поросенка, привезенного на чикагские бойни.

Мне снова вспомнился мраморный ангел в Илиуме.

И я стал прислушиваться к солдатам в саду, их стуку, звяканью и бормотанью.

Мне было трудно сосредоточиться и слушать Анджелу и Ньюта, хотя они рассказывали довольно интересные вещи. Они рассказывали, что у их отца был брат-близнец. Но они никогда его не видели. Звали его Рудольф. В последний раз они слышали, будто у него мастерская музыкальных шкатулок в Швейцарии, в Цюрихе.

— Отец никогда о нем не вспоминал, — сказала Анджела.

— Отец почти никогда ни о ком не вспоминал, — сказал Ньют.

Как они мне рассказали, у старика еще была сестра. Ее звали Селия. Она выводила огромных шнауцеров (ризеншнауцеров) на Шелтер-Айленде, в штате Нью-Йорк.

— До сих пор посылает нам открытки к Рождеству, — сказала Анджела.

— С изображением огромного шнауцера (ризеншнауцера), — сказал маленький Ньют.

— Правда, странно, какая разная судьба у разных людей в одной семье? — заметила Анджела.

— Очень верно, очень точно сказано, — подтвердил я. И, извинившись перед блестящим обществом, спросил у Стэнли, дворецкого Фрэнка, нет ли у них в доме экземпляра *Книг Боконона*.

Сначала Стэнли сделал вид, что не понимает, о чем я говорю. Потом проворчал, что *Книги Боконона* — гадость. Потом стал утверждать, что всякого, кто читает Боконона, надо повесить на крюке. А потом принес экземпляр книги с ночной тумбочки Фрэнка.

Это был тяжелый том весом с большой словарь. Он был переписан от руки. Я унес книгу в свою спальню, на свою каменную лежанку с поролоновым матрасом.

Оглавления в книге не было, так что искать значение слова *за-ма-ки-бо* было трудно, и в тот вечер я так его и не нашел.

Кое-что я все же узнал, но мне это мало помогло. Например, я познакомился с бокононовской космогонией, где *Борасизи* — Солнце обнимал *Пабу* — Луну в надежде, что Пабу родит ему огненного младенца.

Но бедная Пабу рожала только холодных младенцев, не дававших тепла, и *Борасизи* с отвращением их выбрасывал. Из них и вышли планеты, закружившиеся вокруг своего грозного родителя на почтительном расстоянии.

А вскоре несчастную Пабу тоже выгнали, и она ушла жить к своей любимой дочке — Земле. Земля была любимицей

Луны — *Пабу*, — потому что на Земле жили люди, они смотрели на *Пабу*, любовались ею, жалели ее.

Что же думал сам Боконон о своей космогонии?

— *Фóма!* Ложь, — писал он. — Сплошная *фóма!*

86. Два маленьких термоса

Трудно поверить, что я уснул, но все же я, наверно, поспал — иначе как мог бы меня разбудить грохот и потоки света?

Я скатился с кровати от первого же раската и ринулся с веранды в дом с безмозглым рвением пожарного-добровольца.

И тут же наткнулся на Анджелу и Ньюта, которые тоже выскочили из постелей.

Мы с ходу остановились, тупо вслушиваясь в кошмарный лязг и постепенно различая звук радио, шум электрической мойки для посуды, шум насоса; все это вернул к жизни включенный электрический ток.

Мы все трое уже настолько проснулись, что могли понять весь комизм нашего положения, понять, что мы реагировали до смешного по-человечески на вполне безобидное явление, приняв его за смертельную опасность. И чтобы показать свою власть над судьбой, я выключил радио.

Мы все трое рассмеялись.

И тут мы наперебой, спасая свое человеческое достоинство, поспешили показать себя самыми лучшими знатоками человеческих слабостей с самым большим чувством юмора.

Ньют опередил нас всех: он сразу заметил, что у меня в руках паспорт, бумажник и наручные часы. Я даже не представлял себе, что именно я схватил перед лицом смерти, да и вообще не знал, когда я все это ухватил.

Я с восторгом отпарировал удар, спросив Анджелу и Ньюта, зачем они оба держат маленькие термосы, одинаковые, серые с красным термосики, чашки на три кофе.

Для них самих это было неожиданностью. Они были поражены, увидев термосы у себя в руках.

Но им не пришлось давать объяснения, потому что на дворе раздался страшный грохот. Мне поручили тут же узнать, что там грохочет, и с мужеством, столь же необоснованным, как первый испуг, я пошел в разведку и увидел Фрэнка Хонникера, который возился с электрическим генератором, поставленным на грузовик.

От генератора и шел ток для нашего дома. Мотор, двигавший его, стрелял и дымил. Фрэнк пытался его наладить.

Рядом с ним стояла божественная Мона. Она смотрела, что он делает, серьезно и спокойно, как всегда.

— Слушайте, ну и новость я вам скажу! — закричал мне Фрэнк и пошел в дом, а мы — за ним.

Анджела и Ньют все еще стояли в гостиной, но каким-то образом они куда-то успели спрятать те маленькие термосы.

А в этих термосах, конечно, была часть наследства доктора Феликса Хонникера, часть *вампитера* для моего *караса* — кусочки *льда-девять*.

Фрэнк отвел меня в сторону:

— Вы совсем проснулись?

— Как будто и не спал.

— Нет, правда, я надеюсь, что вы окончательно проснулись, потому что нам сейчас же надо поговорить.

— Я вас слушаю.

— Давайте отойдем. — Фрэнк попросил Мону чувствовать себя как дома. — Мы позовем тебя, когда понадобится.

Я посмотрел на Мону и подумал, что никогда в жизни я ни к кому так не стремился, как сейчас к ней.

Фрэнк Хонникер, похожий на изголодавшегося мальчишку, говорил со мной растерянно и путано, и голос у него срывался, как игрушечная пастушья дудка. Когда-то, в армии, я слышал выражение: разговаривает, будто у него кишка бумажная. Вот так и разговаривал генерал-майор Хонникер. Бедный Фрэнк совершенно не привык говорить с людьми, потому что все детство скрывается, разыгрывая тайного агента Икс-9.

Теперь, стараясь говорить со мной душевно, по-своему, он непрестанно вставлял заезженные фразы, вроде «вы же свой в доску» или «поговорим без дураков, как мужчина с женщиной».

И он отвел меня в свою, как он сказал, «берлогу», чтобы там «назвать кошку кошкой», а потом «пустить по воле волн».

И мы сошли по ступенькам, высеченным в скале, и попали в естественную пещеру, над которой шумел водопад. Там стояло несколько чертежных столов, три светлых голых скандинавских кресла, книжный шкаф с монографиями по архитектуре на немецком, французском, финском, итальянском и английском языках.

Все было залито электрическим светом, пульсировавшим в такт задыхающемуся генератору.

Но самым потрясающим в этой пещере были картины, написанные на стенах с непринужденностью пятилетнего ребенка, написанные беспримесным цветом — глина, земля, уголь — первобытного человека. Мне не пришлось спрашивать Фрэнка, древние ли это рисунки. Я легко определил период по теме картин. Не мамонты, не саблезубые тигры и не пещерные медведи были изображены на них.

На всех картинах без конца повторялся облик Моны Эймонс Монзано в раннем детстве.

— Значит, тут... тут и работал отец Моны? — спросил я.

— Да, конечно. Он тот самый финн, который построил Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.

— Знаю.

— Но я привел вас сюда не для разговора о нем.

— Вы хотите поговорить о вашем отце?

— Нет, о вас. — Фрэнк положил мне руку на плечо и посмотрел прямо в глаза. Впечатление было ужасное. Фрэнк хотел выразить дружеские чувства, но мне показалось, что он похож на диковинного совенка, ослепленного ярким светом и вспорхнувшего на высокий белый столб.

— Ну, выкладывайте все сразу.

— Да, вола вертеть нечего, — сказал он. — Я в людях разбираюсь, сами понимаете, а вы — свой в доску.

— Спасибо.

— По-моему, мы с вами поладим.

— Не сомневаюсь.

— У нас у обоих есть за что зацепиться.

Я обрадовался, когда он снял руку с моего плеча. Он сцепил пальцы обеих рук, как зубцы передачи. Должно быть, одна рука изображала меня, а другая — его самого.

— Мы нужны друг другу. — И он пошевелил пальцами, изображая взаимодействие передачи.

Я промолчал, хотя сделал дружественную мину.

— Вы меня поняли? — спросил Фрэнк.

— Вы и я, мы с вами что-то должны сделать вместе, так?

— Правильно! — Фрэнк захлопал в ладоши. — Вы человек светский, привыкли выходить на публику, а я техник, привык работать за кулисами, пускать в ход всякую механику.

— Почему вы знаете, что я за человек? Ведь мы только что познакомились.

— По вашей одежде, по разговору. — Он снова положил мне руку на плечо. — Вы — свой в доску.

— Вы уже это говорили.

Фрэнку до безумия хотелось, чтобы я сам довел до конца его мысль и пришел в восторг. Но я все еще не понимал, к чему он клонит.

— Как я понимаю, вы... вы предлагаете мне какую-то должность здесь, на Сан-Лоренцо?

Он опять захлопал в ладоши. Он был в восторге:

— Правильно. Что вы скажете о ста тысячах долларов в год?

— Черт подери! — воскликнул я. — А что мне придется делать?

— Фактически ничего. Будете пить каждый вечер из золотых бокалов, есть на золотых тарелках, жить в собственном дворце.

— Что же это за должность?

— Президент республики Сан-Лоренцо.

*88. Почему Фрэнк
не может быть президентом*

— Мне? Стать президентом? — ахнул я.

— А кому же еще?

— Чушь!

— Не отказывайтесь, сначала хорошенько подумайте! —

Фрэнк смотрел на меня с тревогой.

— Нет! Нет!

— Вы же не успели подумать!

— Я успел понять, что это бред.

Фрэнк снова сцепил пальцы:

— Мы работали бы вместе. Я бы вас всегда поддерживал.

— Отлично. Значит, если в меня запульнут, вы тоже свое получите?

— Запульнут?

— Ну пристрелят. Убьют.

Фрэнк был огорошен:

— А кому понадобится вас убивать?

— Тому, кто захочет стать президентом Сан-Лоренцо.

Фрэнк покачал головой.

— Никто в Сан-Лоренцо не хочет стать президентом, — утешил он меня. — Это против их религии.

— И против вашей тоже? Я думал, что вы станете тут президентом.

— Я... — сказал он и запнулся. Вид у него был несчастный.

— Что вы? — спросил я.

Он повернулся к пелене воды, занавесившей пещеру.

— Зрелость, как я понимаю, — начал он, — это способность осознавать предел своих возможностей.

Он был близок к бокононовскому определению зрелости. «Зрелость, — учит нас Боконон, — это горькое разочарование, и ничем его не излечить, если только смех не считать лекарством от всего на свете».

— Я свою ограниченность понимаю, — сказал Фрэнк. — Мой отец страдал от того же.

— Вот как?

— Замыслов, и очень хороших, у меня много, как было и у отца, — доверительно сообщил мне и водопаду Фрэнк, — но он не умел общаться с людьми, и я тоже не умею.

89. Пуфф...

— Ну как, возьмете это место? — взволнованно спросил Фрэнк.

— Нет, — сказал я.

— А не знаете, кто бы за это взялся?

Фрэнк был классическим примером того, что Боконон зовет *пуфф*... А *пуфф* в бокононовском смысле означает судьбу



тысячи людей, доверенную *дурре*. А *дурра* — значит ребенок, заблудившийся во мгле.

Я расхохотался.

— Вам смешно?

— Не обращайтесь внимания, если я вдруг начинаю смеяться, — попросил я. — Это у меня такой бзик.

— Вы надо мной смеетесь?

Я потряс головой:

— Нет!

— Честное слово?

— Честное слово.

— Надо мной вечно все смеялись.

— Наверно, вам просто казалось.

— Нет, мне вслед кричали всякие слова, а уж это мне не могло казаться.

— Иногда ребята выкидывают гадкие шутки, но без всякого злого умысла, — сказал я ему. Впрочем, поручиться за это я не мог бы.

— А знаете, что они мне кричали вслед?

— Нет.

— Они кричали: «Эй, Икс-9, ты куда идешь?»

— Ну, тут ничего плохого нет.

— Они меня так дразнили, — Фрэнк помрачнел при этом воспоминании:

— «Тайный агент Икс-9».

Я не сказал ему, что уже слышал об этом.

— «Ты куда идешь, Икс-9?» — снова повторил Фрэнк.

Я представил себе этих задир, представил себе, куда их теперь загнала, заткнула судьба.

Остряки, оравшие на Фрэнка, теперь наверняка занимали смертельно скучные места в сталелитейной компании, на электростанции в Илиуме, в правлении телефонной компании...

А тут передо мной, честью клянусь, стоял тайный агент Икс-9, к тому же генерал-майор, и предлагал мне стать королем... Тут, в пещере, занавешенной тропическим водопадом.

— Они бы здорово удивились, скажи я им, куда я иду.

— Вы хотите сказать, что у вас было предчувствие, до чего вы дойдете? — Мой вопрос был бокононовским вопросом.

— Нет, я просто шел в «Уголок любителя» к Джеку, — сказал он, отведя мой вопрос.

— И только-то?

— Они все знали, что я туда иду, но не знали, что там делалось. Они бы не на шутку удивились — особенно девочки, — если бы знали, что там на самом деле происходит. Девочки считали, что я в этих делах ничего не понимаю.

— А что же там на самом деле происходило?

— Я путался с женой Джека все ночи напролет. Вот почему я вечно засыпал в школе. Вот почему я так ничего и не добился при всех своих способностях.

Он стряхнул с себя эти мрачные воспоминания:

— Слушайте. Будьте президентом Сан-Лоренцо. Ей-богу, при ваших данных вы здорово подойдете. Ну, пожалуйста.

90. Единственная загвоздка

И НОЧНОЙ ЧАС, и пещера, и водопад, и мраморный ангел в Илиуме...

И 250 тысяч сигарет, и три тысячи литров спиртного, и две жены, и ни одной жены...

И нигде не ждет меня любовь...

И унылая жизнь чернильной крысы...

И Пабу — Луна, и Борасизи — Солнце, и их дети.

Все как будто сговорились создать единый космический рок — *вин-дит*, один мощный толчок к боконизму, к вере в то, что Творец ведет мою жизнь и что он нашел для меня дело.

И я внутренне *саронгировал*, то есть поддался кажущимся требованиям моего *вин-дита*.

И мысленно я уже согласился стать президентом Сан-Лоренцо.

Внешне же я все еще был настороже и полон подозрений.

— Но, наверно, тут есть какая-то загвоздка, — настаивала я.

— Нет.

— А выборы будут?

— Никаких выборов никогда не было. Мы просто объявим, кто стал президентом.

— И никто возражать не станет?

— Никто ни на что не возражает. Им безразлично. Им все равно.

— Но должна же быть какая-то загвоздка.

— Да, что-то в этом роде есть, — сознался Фрэнк.

— Так я и знал! — Я уже отрешивался от своего *вин-дита*. — Что именно? В чем загвоздка?

— Да нет, в сущности, никакой загвоздки нет, если не захотите, можете отказаться. Но было бы очень здорово...

— Что было бы «очень здорово»?

— Видите ли, если вы станете президентом, то хорошо было бы вам жениться на Моне. Но вас никто не заставляет, если вы не хотите. Тут вы хозяин.

— И она пошла бы за меня?!?!

— Раз она хотела выйти за меня, то и за вас выйдет. Вам остается только спросить ее.

— Но почему она непременно скажет «да»?

— Потому что в *Книгах Боконона* предсказано, что она выйдет замуж за следующего президента Сан-Лоренцо, — сказал Фрэнк.

91. Мона

Фрэнк привел Мону в пещеру ее отца и оставил нас вдвоем.

Сначала нам трудно было разговаривать.

Я оробел. Платье на ней просвечивало. Платье на ней голубело. Это было простое платье, слегка схваченное у талии тончайшим шнуром. Все остальное была сама Мона, «Перси ее как плоды граната», или как это там сказано, но на самом деле просто юная женская грудь.

Обнаженные ноги. Ничего, кроме прелестно отполированных ногтей и тоненьких золотых сандалий.

— Как, как вы себя чувствуете? — спросил я. Сердце мое бешено колотилось. В ушах стучала кровь.

— Ошибку сделать невозможно, — уверила она меня.

Я не знал, что боконисты обычно приветствуют этими словами оробевшего человека. И я в ответ начал с жаром обсуждать, можно сделать ошибку или нет.

— О Господи, вы и не представляете себе, сколько ошибок я уже наделал. Перед вами — чемпион мира по ошибкам, — лопотал я. — А вы знаете, что Фрэнк сейчас сказал мне?

— Про меня?

— Про все, но особенно про вас.

— Он сказал, что я буду вашей, если вы захотите?

— Да.

— Это правда.

— Я... Я... Я...

— Что?

— Не знаю, что сказать...

— *Бокон-мару* поможет, — предложила она.

— Как?

— Снимайте башмаки! — скомандовала она. И с непередаваемой грацией она сбросила сандалии.

Я человек поживший, и, по моему подсчету, я знал чуть ли не полсотни женщин. Могу сказать, что видел в любых вариантах, как женщина раздевается. Я видел, как раздвигается занавес перед финальной сценой.

И все же та единственная женщина, которая невольно заставила меня застонать, только сняла сандалии.

Я попытался развязать шнурки на ботинках. Хуже меня никто из женихов не запутывался. Один башмак я снял, но другой затянул еще крепче.

Я сломал ноготь об узел и в конце концов стянул башмак не развязывая.

Потом я сорвал с себя носки.

Мона уже сидела, вытянув ноги, опираясь округлыми руками на пол сзади себя, откинув голову, закрыв глаза.

И я должен был совершить впервые... впервые, в первый раз... господи боже мой...

Боко-мару.

92. Поэт воспевает свое первое боко-мару

ЭТО сочинил не Боконон. Это сочинил я.

Светлый призрак,
Невидимый дух — чего?
Это я,
Душа моя.
Дух, томимый любовью...
Давно
Одинокий...
Так давно...
Встретишь ли душу другую,
Родную?

Долго вел я тебя,
Душа моя,
Ложным путем
К встрече
Двух душ.
И вот
Душа
Ушла
В пятки.
Теперь
Все в порядке.
Светлую душу другую
Нежно люблю,
Целую...
М-мм-ммм-мммм-ммм.

93. Как я чуть не потерял мою Мону

— Теперь тебе легче говорить со мной? — спросила Мона.

— Будто мы с тобой тысячу лет знакомы, — сознался я. Мне хотелось плакать. — Люблю тебя, Мона!

— И я люблю тебя. — Она сказала эти слова совсем просто.

— Ну и дурак этот Фрэнк.

— Почему?

— Отказался от тебя.

— Он меня не любил. Он собирался на мне жениться, потому что «Папа» так захотел. Он любит другую.

— Кого?

— Одну женщину в Илиуме.

Этой счастливицей, наверно, была жена Джека, владельца «Уголка любителя».

— Он сам тебе сказал?

— Сказал сегодня, когда вернул мне слово, и сказал, чтобы я вышла за тебя.

— Мона...

— Да?

— У тебя... у тебя есть еще кто-нибудь?

Мона очень удивилась:

— Да. Много, — сказала она наконец.

— Ты любишь многих?

— Я всех люблю.

— Как... Так же, как меня?

— Да. — Она как будто и не подозревала, что это меня заденет.

Я встал с пола, сел в кресло и начал надевать носки и башмаки.

— И ты, наверно... ты выполняешь... ты делаешь то, что мы сейчас делали... с теми... с другими?

— *Боко-мару?*

— *Боко-мару.*

— Конечно.

— С сегодняшнего дня ты больше ни с кем, кроме меня, этого делать не будешь, — заявил я.

Слезы навернулись у нее на глаза. Видно, ей нравилась эта распушенность, видно, ее рассердило, что я хотел пристыдить ее.

— Но я даю людям радость. Любовь — это хорошо, а не плохо.

— Но мне, как твоему мужу, нужна вся твоя любовь.

Она испуганно уставилась на меня:

— Ты — *син-ват*.

— Что ты сказала?

— Ты — *син-ват!* — крикнула она. — Человек, который хочет забрать себе чью-то любовь всю, целиком. Это очень плохо!

— Но для брака это очень хорошо. Это единственное, что нужно.

Она все еще сидела на полу, а я, уже в носках и башмаках, стоял над ней. Я чувствовал себя очень высоким, хотя я не



такой уж высокий, и очень сильным, хотя я и не так уж силен. И я с уважением, как к чужому, прислушивался к своему голосу.

Мой голос приобрел металлическую властность, которой раньше не было.

И, слушая свой назидательный тон, я вдруг понял, что со мной происходит. Я уже стал властвовать.

Я сказал Моне, что видел, как она предавалась, так сказать, вертикальному *боко-мару* с летчиком в день моего приезда на трибуне.

— Больше ты с ним встречаться не должна, — сказал я ей. — Как его зовут?

— Я даже не знаю, — прошептала она. Она опустила глаза.

— А с молодым Филиппом Каслом?

— Ты про *боко-мару*?

— И про это, и про все вообще. Как я понял, вы вместе выросли?

— Да.

— Боконон учил вас обоих?

— Да. — При этом воспоминании она снова просветлела.

— И в те дни вы *боко-марничали* всюду?

— О да! — счастливым голосом сказала она.

— Больше ты с ним тоже не должна видеться. Тебе ясно?

— Нет.

— Нет?

— Я не выйду замуж за *син-вата*. — Она встала. — Прощай!

— Как это «прощай»? — Я был потрясен.

— Боконон учит нас, что очень нехорошо не любить всех одинаково. А твоя религия чему учит?

— У... У меня нет религии.

— А у меня есть!

Тут моя власть кончилась.

— Вижу, что есть, — сказал я.

— Прощай, человек без религии. — Она пошла к каменной лестнице.

— Мона!

Она остановилась:

— Что?

— Могу я принять твою веру, если захочу?

— Конечно.

— Я очень хочу.

— Прекрасно. Я тебя люблю.

— А я люблю тебя, — вздохнул я.

94. Самая высокая гора

Так я обручился на заре с прекраснейшей женщиной в мире.

Так я согласился стать следующим президентом Сан-Лоренцо.

«Папа» еще не умер, и, по мнению Фрэнка, мне надо было бы, если возможно, получить благословение «Папы». И когда взошло солнце — *Борасизи*, мы с Фэнком поехали во дворец «Папы» на джипе, реквизируемом у войска, охранявшего будущего президента.

Мона осталась в доме у Фрэнка. Я поцеловал ее, благословляя, и она уснула благословенным сном.

И мы с Фэнком поехали за горы, сквозь заросли кофейных деревьев, и справа от нас пламенела утренняя заря.

В свете этой зари мне и явилось левиафаново величие самой высокой горы острова — горы Маккэйб.

Она выгибалась, словно горбатый синий кит, со страшным диковинным каменным столбом вместо вершины.

По величине кита этот столб казался обломком застрявшего гарпуна и таким чужеродным, что я спросил Фрэнка, не человекьи ли руки воздвигли этот столб.

Он сказал мне, что это естественное образование. Более того, он добавил, что ни один человек, насколько ему известно, никогда не бывал на вершине горы Маккэйб.

— А с виду туда не так уж трудно добраться, — добавил я. Если не считать каменного столба на вершине, гора казалась не более трудной для восхождения, чем ступенька какой-нибудь судебной палаты. Да и сам каменный бугор, по крайней мере так казалось издали, был прорезан удобными выступами и впадинами.

— Священная она, эта гора, что ли? — спросил я.

— Может, когда-нибудь и считалась священной. Но после Боконона — нет.

— Почему же никто на нее не восходил?

— Никому не хотелось.

— Может, я туда полезу.

— Валяйте. Никто вас не держит.

Мы ехали молча.

— Но что вообще священо для боконистов? — помолчав, спросил я.

— Во всяком случае, насколько я знаю, даже не Бог.

— Значит, ничего?

— Только одно.

Я попробовал угадать:

— Океан? Солнце?

— Человек, — сказал Фрэнк. — Вот и все. Просто человек.

95. Я вижу крюк

Наконец мы подъехали к замку.

Он был приземистый, черный, страшный.

Старинные пушки все еще торчали в амбразурах. Плющ и птичьи гнезда забили и амбразуры, и арбалетные пролеты, и зубцы.

Парапет северной стороны нависал над краем чудовищной пропасти в шестьсот футов глубиной, падавшей прямо в тепловатое море.

При виде замка возникал тот же вопрос, что и при виде всех таких каменных громад: как могли крохотные человечки двигать такие гигантские камни?

И, подобно всем таким громадам, эта скала сама отвечала на вопрос: слепой страх двигал этими гигантскими камнями.

Замок был выстроен по желанию Тум-бумвы, императора Сан-Лоренцо, беглого раба, психически больного человека. Говорили, что Тум-бумва строил его по картинке из детской книжки.

Мрачноватая, наверно, была книжица.

Перед воротами замка проезжая дорога вела под грубо сколоченную арку из двух телеграфных столбов с перекладиной.

С перекладины свисал огромный железный крюк. На крюке была выбита надпись.

«Этот крюк, — гласила надпись, — предназначен для Боконона лично».

Я обернулся, еще раз взглянул на крюк, и эта острая железная штука навела меня на простую мысль: если я и вправду буду тут править, я этот крюк сорву!

И я польстился на эту мысль, подумал, что стану твердым, справедливым и добрым правителем и что мой народ будет процветать.

Фата-Моргана.

Мираж!

96. Колокольчик, книга и курица в картоне

Мы с Фрэнком не сразу попали к «Папе». Его лейб-медик, доктор Шлихтер фон Кенигсвальд, проворчал, что надо с полчаса подождать.



И мы с Фрэнком остались ждать в приемной «Папиных» покоев, большой комнате без окон. В ней было тридцать квадратных метров, обстановка состояла из простых скамей и ломберного столика. На столике стоял электрический вентилятор.

Стены были каменные. Ни картин, ни других украшений на стенах не было.

Однако в стену были вделаны железные кольца, на высоте семи футов от пола и на расстоянии футов в шесть друг от друга.

Я спросил Фрэнка, не было ли тут раньше застенка для пыток.

Фрэнк сказал: да, был, и люк, на крышке которого я стою, ведет в каменный мешок.

В приемной стоял неподвижный часовой. Тут же находился священник, который был готов по христианскому обряду подать «Папе» духовную помощь. Около себя на скамье он разложил медный колокольчик для прислуги, продырявленную шляпную картонку, Библию и нож мясника.

Он сказал мне, что в картонке сидит живая курица. Курица сидит смиренно, сказал он, потому что он напоил ее успокоительным лекарством.

Как всем жителям Сан-Лоренцо после двадцати пяти лет, ему с виду было лет под шестьдесят. Он сказал мне, что зовут его доктор Вокс Гумана¹, в честь органной трубы, которая угодила в его матушку, когда в 1923 году в Сан-Лоренцо взорвали собор. Отец, сказал он без стеснения, ему неизвестен.

Я спросил его, к какой именно христианской секте он принадлежит, и откровенно добавил, что и курица и нож, насколько я знаю христианство, для меня новинка.

— Колокольчик еще можно понять, — добавил я.

Он оказался человеком неглупым. Докторский диплом, который он мне показал, был ему выдан «Университетом Запад-

¹ *Vox Humana* — человеческий голос (лат.)

ного полушария по изучению Библии» в городке Литл-Рок в штате Арканзас. Он связался с этим университетом через объявление в журнале «Попьюлер меканикс», рассказал он мне. Он еще добавил, что девиз университета стал и его девизом и что этим объясняется и курица и нож. А девиз звучал так: «Претвори религию в жизнь!»

Он сказал, что ему пришлось нащупывать собственный путь в христианстве, так как и католицизм и протестантизм были запрещены вместе с боконизмом.

— И если я в этих условиях хочу остаться христианином, мне приходится придумывать что-то новое.

— Есери хоцу бити киристиани, — сказал он на ихнем диалекте, — пириходица пиридумари читото ново.

Тут из покоев «Папы» к нам вышел доктор Шлихтер фон Кенигсвальд. Вид у него был очень немецкий и очень усталый.

— Можете зайти к «Папе», — сказал он.

— Мы постараемся его не утомлять, — обещал Фрэнк.

— Если бы вы могли его прикончить, — сказал фон Кенигсвальд, — он, по-моему, был бы вам благодарен.

97. Вонючий церковник

«Папа» Монзано в тисках беспощадной болезни возлежал на кровати в виде золотой лодки — руль, уключины, канаты — словом, все-все было вызолочено. Эта кровать была сделана из спасательной шлюпки со старой шхуны Боконона «Туфелька». На этой спасательной шлюпке в те давние времена и прибыли в Сан-Лоренцо Боконон с капралом Маккэйбом.

Стены спальни были белые. Но «Папа» пылал таким мучительным жаром, что казалось, от его страданий стены накались докрасна.

Он лежал обнаженный до пояса, с лоснящимся от пота узловатым животом. И живот дрожал, как парус на ветру.

На шее у «Папы» висел тоненький цилиндрик размером с ружейный патрон. Я решил, что в цилиндрике запрятан какой-то волшебный амулет. Но я ошибся. В цилиндрике был осколок льда-девять.

«Папа» еле-еле мог говорить. Зубы у него стучали, дыхание прерывалось.

Он лежал, мучительно запрокинув голову к носу шлюпки.

Ксилофон Моны стоял у кровати. Очевидно, накануне вечером она пыталась облегчить музыкой страдания «Папы».

— «Папа», — прошептал Фрэнк.

— Прощай! — прохрипел «Папа», выкатив незрячие глаза.

— Я привел друга.

— Прощай!

— Он станет следующим президентом Сан-Лоренцо. Он будет лучшим президентом, чем я.

— Лед! — простонал «Папа».

— Все просит льда, — сказал фон Кенигсвальд, — а принесут лед, он отказывается.

«Папа» завел глаза. Он повернул шею, стараясь не налегать на затылок всей тяжестью тела. Потом снова выгнул шею.

— Все равно, — начал он, — кто будет президентом...

Он не договорил.

Я договорил за него:

— ...Сан-Лоренцо.

— Сан-Лоренцо, — повторил он. Он с трудом выдавил кривую улыбку: — Желаю удачи! — прокаркал он.

— Благодарю вас, сэр!

— Не стоит! Боконон! Поймайте Боконона!

Я попытался как-то выкрутиться. Я вспомнил, что, на радость людям, Боконона всегда надо ловить и никогда нельзя поймать.

— Хорошо, — сказал я.

— Скажите ему...

Я наклонился поближе, чтобы услышать, что именно «Папа» хочет передать Боконону.

— Скажите: жалко, что я его не убил, — сказал «Папа». — Вы убейте его.

— Слушаюсь, сэр.

«Папа» настолько овладел своим голосом, что он зазвучал повелительно:

— Я вам *серьезно* говорю.

На это я ничего не ответил. Никого убивать мне не хотелось.

— Он учит людей лжи, лжи, лжи. Убейте его и научите людей правде.

— Слушаюсь, сэр.

— Вы с Хонникером обучите их наукам.

— Хорошо, сэр, непременно, — пообещал я.

— Наука — это колдовство, которое действует.

Он замолчал, стих, закрыл глаза. Потом простонал:

— Последнее напутствие!

Фон Кенигсвальд позвал доктора Вокс Гумана. Доктор Гумана вынул наркотизированную курицу из картонки и приготовился дать больному последнее напутствие по христианскому обычаю, как он его понимал.

«Папа» открыл один глаз.

— Не ты! — оскалился он на доктора. — Убирайся!

— Сэр? — переспросил доктор Гумана.

— Я исповедую боконистскую веру! — просипел «Папа». — Убирайся, вонючий церковник.

98. Последнее напутствие

Так я имел честь присутствовать при последнем напутствии по боконовскому ритуалу.

Мы попытались найти кого-нибудь среди солдат и дворцовой челяди, кто сознался бы, что он знает эту церемонию и проделает ее над «Папой». Добровольцев не оказалось. Впрочем, это и неудивительно — слишком близко был крюк и каменный мешок.

Тогда доктор фон Кенигсвальд сказал, что придется ему самому взяться за это дело. Никогда раньше он эту церемонию не выполнял, но сто раз видел, как ее выполнял Джулиан Касл.

— А вы тоже боконист? — спросил я.

— Я согласен с одной мыслью Боконона. Я согласен, что все религии, включая и боконизм, — сплошная ложь.

— Но вас, как ученого, — спросил я, — не смутит, что придется выполнить такой ритуал?

— Я — прескверный ученый. Я готов проделать что угодно, лишь бы человек почувствовал себя лучше, даже если это ненаучно. Ни один ученый, достойный своего имени, на это не пойдет.

И он залез в золотую шляпку к «Папе». Он сел на корму. Из-за тесноты ему пришлось сунуть золотой руль под мышку.

Он был обут в сандалии на босу ногу, и он их снял. Потом он откинул одеяло, и оттуда высунулись «Папины» голые ступни. Доктор приложил свои ступни к «Папиным», приняв позу *боко-мару*.

99. «Боса Сосидара Гирину»

— ПОК состал клину, — проворковал доктор фон Кенигсвальд.

— Боса сосидара гирину, — повторил «Папа» Монзано. На самом деле они оба сказали, каждый по-своему: «Бог создал глину». Но я не стану копировать их произношение.

— Богу стало скучно, — сказал фон Кенигсвальд.

— Богу стало скучно.

— И Бог сказал комку глины: «Сядь!»

— И Бог сказал комку глины: «Сядь!»

— Взгляни, что я сотворил, — сказал Бог, — взгляни на моря, на небеса, на звезды.

— Взгляни, что я сотворил, — сказал Бог, — взгляни на моря, на небеса, на звезды.

— И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг.

— И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг.

— Счастливцев я, счастливый комок.

— Счастливцев я, счастливый комок. — По лицу «Папы» текли слезы.

— Я, ком глины, встал и увидел, как чудно поработал Бог!

— Я, ком глины, встал и увидел, как чудно поработал Бог!

— Чудная работа, Бог!

— Чудная работа, Бог, — повторил «Папа» от всего сердца.

— Никто, кроме тебя, не мог бы это сделать! А уж я и по-давно!

— Никто, кроме тебя, не мог бы это сделать! А уж я и по-давно!

— По сравнению с тобой я чувствую себя ничтожеством.

— По сравнению с тобой я чувствую себя ничтожеством.

— И, только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я хоть немного выхожу из ничтожества.

— И, только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я хоть немного выхожу из ничтожества.

— Мне дано так много, а остальной глине так мало.

— Мне дано так много, а остальной глине так мало.

— Плакотарю тепя са шесть! — воскликнул доктор фон Кенигсвальд.

— Благодарю тебя за сести! — просипел «Папа» Монзано.
На самом деле они сказали: «Благодарю тебя за честь!»
— Теперь ком глины снова ложится и засыпает.
— Теперь ком глины снова ложится и засыпает.
— Сколько воспоминаний у этого комка!
— Сколько воспоминаний у этого комка!
— Как интересно было встречать другие комки, восставшие из глины!
— Как интересно было встречать другие комки, восставшие из глины!
— Я любил все, что я видел.
— Я любил все, что я видел.
— Доброй ночи!
— Доброй ночи!
— Теперь я попаду на небо!
— Теперь я попаду на небо!
— Жду не дождусь...
— Жду не дождусь...
— ...узнать точно, какой у меня *вампитер*...
— ...узнать точно, какой у меня *вампитер*...
— ...и кто был в моем *карассе*...
— ...и кто был в моем *карассе*...
— ...и сколько добра мой *карасс* сделал ради тебя.
— ...и сколько добра мой *карасс* сделал ради тебя.
— Аминь.
— Аминь.

100. И Фрэнк полетел в каменный мешок

Но «Папа» еще не умер и на небо попал не сразу.

Я спросил Фрэнка, как бы нам получше выбрать время, чтобы объявить мое восшествие на трон президента. Но он



мне ничем не помог, ничего не хотел придумать и все предоставил мне.

— Я думал, вы меня поддержите, — жалобно сказал я.

— Да, во всем, что касается *техники*. — Фрэнк говорил подчеркнуто сухо. Мол, не мне подрывать его профессиональные установки. Не мне навязывать ему другие области работы.

— Понимаю.

— Как вы будете обращаться с народом, мне безразлично — это дело ваше.

Резкий отказ Фрэнка от всякого вмешательства в мои отношения с народом меня обидел и рассердил, и я сказал ему намеренно иронически:

— Не откажите в любезности сообщить мне, какие же чисто технические планы у вас на этот высокаторжественный день?

Ответ я получил чисто технический:

— Устранить неполадки на электростанции и организовать воздушный парад.

— Прекрасно! Значит, первым моим достижением на посту президента будет электрическое освещение для моего народа.

Никакой иронии Фрэнк не почувствовал. Он отдал мне честь:

— Попытаюсь, сэр, сделаю для вас все, что смогу, сэр. Но не могу гарантировать, как скоро удастся получить свет.

— Вот это-то мне и нужно — светлая жизнь.

— Рад стараться, сэр! — Фрэнк снова отдал честь.

— А воздушный парад? — спросил я. — Это что за штука?

Фрэнк снова ответил деревянным голосом:

— В час дня сегодня, сэр, все шесть самолетов военно-воздушных сил Сан-Лоренцо сделают круг над дворцом и проведут стрельбу по целям на воде. Это часть торжественной церемонии, отмечающей День памяти «Ста мучеников за демократию». Американский посол тогда же намеревается опустить на воду венки.

Тут я решился предложить, чтобы Фрэнк объявил мое восхождение на трон сразу после опускания венка на воду и воздушного парада.

— Как вы на это смотрите? — спросил я Фрэнка.

— Вы хозяин, сэр.

— Пожалуй, надо будет подготовить речь, — сказал я. — Потом нужно будет провести что-то вроде церемонии приведения к присяге, чтобы было достойно, официально.

— Вы хозяин, сэр. — Каждый раз, как он произносил эти слова, мне казалось, что они все больше и больше звучат откуда-то издали, словно Фрэнк опускается по лестнице в глубокое подземелье, а я вынужден оставаться наверху.

И с горечью я понял, что мое согласие стать хозяином освободило Фрэнка, дало ему возможность сделать то, что он больше всего хотел, поступить так же, как его отец: получая почести и жизненные блага, снять с себя всю личную ответственность. И, поступая так, он как бы мысленно прятался от всего в каменном мешке.

*101. Как и мои предшественники,
я объявляю Божьего
вне закона*

И я написал свою тронную речь в круглой пустой комнате в одной из башен. Никакой обстановки — только стол и стул. И речь, которую я написал, была тоже круглая, пустая и бедно обставленная.

В ней была надежда. В ней было смирение.

И я понял: невозможно обойтись без Божьей помощи. Раньше я никогда не искал в ней опоры, потому и не верил, что такая опора есть.

Теперь я почувствовал, что надо верить, и я поверил.

Кроме того, мне нужна была помощь людей. Я потребовал список гостей, которые должны были присутствовать на церемонии, и увидел, что ни Джулиана Касла, ни его сына среди приглашенных не было. Я немедленно послал к ним гонцов с приглашением, потому что эти люди знали мой народ лучше всех, за исключением Боконона.

Теперь о Бокононе.

Я раздумывал, не попросить ли его войти в мое правительство и, таким образом, устроить что-то вроде Золотого века для моего народа. И я подумал, что надо отдать приказ снять под общее ликование этот чудовищный крюк у ворот дворца.

Но потом я понял, что Золотой век должен подарить людям что-то более существенное, чем святого у власти, что всем надо дать много хорошей еды, уютное жилье, хорошие школы, хорошее здоровье, хорошие развлечения и, конечно, работу всем, кто захочет работать, — а всего этого ни я, ни Боконон дать не могли.

Значит, добро и зло придется снова держать отдельно: зло — во дворце, добро — в джунглях. И это было единственное развлечение, какое мы могли предоставить народу.

В двери постучали. Вошел слуга и объявил, что гости начали прибывать.

И я сунул свою речь в карман и поднялся по винтовой лестнице моей башни. Я вошел на самую высокую башню моего замка и взглянул на моих гостей, моих слуг, мою скалу и мое теплое море.

102. Враги свободы

Когда я вспоминаю всех людей, стоявших на самой высокой башне, я вспоминаю сто девятнадцатое калипсо Боконона, где он просит нас спеть с ним вместе:

«Где вы, где вы, старые дружки?» —

Плакал грустный человек.

Я ему тихонько на ухо шепнул:

«Все они ушли навек!»

Среди присутствующих был посол Хорлик Мinton с супругой, мистер Лоу Кросби, фабрикант велосипедов, со своей Хэзел, доктор Джулиан Касл, гуманист и благотворитель, и его сын, писатель и владелец отеля, крошка Ньют Хонникер, художник, и его музыкальная сестрица миссис Гаррисон С. Коннерс, моя божественная Мона, генерал-майор Фрэнклин Хонникер и двадцать отборных чиновников и военнослужащих Сан-Лоренцо.

Умерли, почти все они теперь умерли...

Как говорит нам Боконон, «слова прощания никогда не могут быть ошибкой».

На моей башне было приготовлено угощение, изобиловавшее местными деликатесами: жареные колибри в мундирчиках, сделанных из их собственных бирюзовых перышек, лиловые крабы — их вынули из панцирей, мелко изрубили и изжарили в кокосовом масле, крошечные акулы, начиненные банановым пюре, и, наконец, кусочки вареного альбатроса на несоленых кукурузных лепешках.

Альбатроса, как мне сказали, подстрелили с той самой башни, где теперь стояло угощение.

Из напитков предлагалось два, оба без льда: пепси-кола и местный ром. Пепси-колу подавали в пластмассовых кружках, ром — в скорлупе кокосовых орехов. Я не мог понять, чем так сладковато пахнет ром, хотя запах чем-то напоминал мне давнюю юность.

Фрэнк объяснил мне, откуда я знаю этот запах.

— Ацетон, — сказал он.

— Ацетон?

— Ну да, он входит в состав для склейки моделей самолетов.



Ром я пить не стал.

Посол Минтон, свидом дипломатическим и гурманским, неоднократно вздымал в тосте свой кокосовый орех, притворяясь другом всего человечества и ценителем всех напитков, поддерживающих людей, но я не заметил, чтобы он пил. Кстати, при нем был какой-то ящик — я никогда раньше такого не видал.

С виду ящик походил на футляр от большого тромбона, и, как потом оказалось, в нем был венок, который надлежало пустить по волнам.

Единственный, кто решился пить этот ром, был Лоу Кросби, очевидно, начисто лишенный обоняния. Ему, как видно, было весело: взгромоздясь на одну из пушек так, что его жирный зад затыкал спуск, он потягивал ацетон из кокосового ореха. В огромный японский бинокль он смотрел на море. Смотрел он на мишени для стрельбы: они были установлены на плотках, стоявших на якоре неподалеку от берега, и качались на волнах. Мишени, вырезанные из картона, изображали человеческие фигуры.

В них должны были стрелять и бросать бомбы все шесть самолетов военно-воздушных сил Сан-Лоренцо.

Каждая мишень представляла собой карикатуру на какого-нибудь реального человека, причем имя этого человека было написано и сзади и спереди мишени.

Я спросил, кто рисовал карикатуры, и узнал, что их автор — доктор Вокс Гумана, христианский пастырь. Он стоял около меня.

— А я не знал, что у вас такие разнообразные таланты.

— О да. В молодости мне очень трудно было принять решение, кем быть.

— Полагаю, что вы сделали правильный выбор.

— Я молился об указаниях свыше.

— И вы их получили.

Лоу Кросби передал бинокль жене.

— Вон там Гитлер, — восторженно захихикала Хэзел. —

А вот старик Муссолини и тот, косоглазый. А вон там император Вильгельм в каске! — ворковала Хэзел. — Ой, смотри, кто там! Вот уж кого не ожидала видеть. Ох и влепят ему! Ох и влепят ему, на всю жизнь запомнит! Нет, это они чудно придумали.

— Да, собрали фактически всех на свете, кто был врагом свободы! — объявил Лоу Кросби.

103. Врачебное заключение о последствиях забастовки писателей

НИКТО из гостей еще не знал, что я стану президентом. Никто не знал, как близок к смерти «Папа». Фрэнк официально сообщил, что «Папа» спокойно отдыхает и что «Папа» шлет всем наилучшие пожелания.

Торжественная часть, как объявил Фрэнк, начнется с того, что посол Минтон пустит по волнам венки в честь Ста мучеников, затем самолеты собьют мишени в воду, а затем он, Фрэнк, скажет несколько слов.

Он умолчал о том, что после его речи возьму слово я.

Поэтому со мной обращались просто как с выездным корреспондентом, и я занялся безобидным, но дружественным *гранфаллонством*.

— Привет, мамуля! — сказал я Хэзел.

— О, да это же мой сыночек! — Хэзел заключила меня в надушенные объятия и объявила окружающим: — Этот юноша из хужеров!

Оба Касла — и отец и сын — стояли в сторонке от всей компании. Издавна они были нежеланными гостями во дворце «Папы», и теперь им было любопытно, зачем их пригласили.

Молодой Касл назвал меня хватом:

— Здорово, Хват! Что нового нахватили для литературы?

— Это я и вас могу спросить.

— Собираюсь объявить всеобщую забастовку писателей, пока человечество не одумается окончательно. Поддержите меня?

— Разве писатели имеют право бастовать? Это все равно, как если забастуют пожарные или полиция.

— Или профессора университетов.

— Или профессора университетов, — согласился я. И качал головой. — Нет, мне совесть не позволит поддерживать такую забастовку. Если уж человек стал писателем — значит, он взял на себя священную обязанность: что есть силы творить красоту, нести свет и утешение людям.

— А мне все думается — вот была бы встряска этим людям, если бы вдруг не появилось ни одной новой книги, новой пьесы, ни одного нового рассказа, нового стихотворения...

— А вы бы радовались, если бы люди перемерли как мухи? — спросил я.

— Нет, они бы скорее перемерли как бешеные собаки, рычали бы друг на друга, все бы перегрызли, перекусили собственные хвосты.

Я обратился к Каслу-старшему:

— Скажите, сэр, от чего умрет человек, если его лишить радости и утешения, которые дает литература?

— Не от одного, так от другого, — сказал он. — Либо от окаменения сердца, либо от атрофии нервной системы.

— И то и другое не очень-то приятно, — сказал я.

— Да, — сказал Касл-старший. — Нет уж, ради бога, вы оба пишите, пожалуйста, пишите!

104. Сульфатиазол

Моя божественная Мона ко мне не подошла и ни одним взглядом не поманила меня к себе. Она играла роль хозяйки,

знакомя Анджелу и крошку Ньюта с представителями жителей Сан-Лоренцо.

Сейчас, когда я размышляю о сущности этой девушки — вспоминаю, с каким полнейшим равнодушием она отнеслась и к обмороку «Папы», и к нашему с ней обручению, — я колеблюсь и то возношу ее до небес, то совсем принижаю.

Воплощена ли в ней высшая духовность и женственность?

Или она бесчувственна, холодна, короче говоря, рыба кровь, бездумный культ ксилофона, красоты и *боко-мару*?

Никогда мне не узнать истины.

Боконон учит нас:

Себе влюбленный лжет,
Не верь его слезам,
Правдивый без любви живет,
Как устрицы — глаза.

Значит, мне как будто дано правильное указание. Я должен вспоминать о моей Моне как о совершенстве.

— Скажите мне, — обратился я к Филиппу Каслу в День «Ста мучеников за демократию». — Вы сегодня разговаривали с вашим другом и почитателем Лоу Кросби?

— Он меня не узнал в костюме, при галстукке и в башмаках, — ответил младший Касл, — и мы очень мило поболтали о велосипедах. Может быть, мы с ним еще поговорим.

Я понял, что идея Кросби делать велосипеды для Сан-Лоренцо мне уже не кажется смехотворной. Как будущему правителю этого острова, мне очень и очень нужна была фабрика велосипедов. Я вдруг почувствовал уважение к тому, что собой представлял мистер Лоу Кросби и что он мог сделать.

— Как, по-вашему, народ Сан-Лоренцо воспримет индустриализацию? — спросил я обоих Каслов — отца и сына.

— Народ Сан-Лоренцо, — ответил мне отец, — интересуется только тремя вещами: рыболовством, распутством и боконизмом.

— А вы не думаете, что прогресс может их заинтересовать?

— Видали они и прогресс, хоть и мало. Их увлекает только одно прогрессивное изобретение.

— А что именно?

— Электрогитара.

Я извинился и подошел к чете Кросби.

С ними стоял Фрэнк Хонникер и объяснял им, кто такой Боконон и против чего он выступает:

— Против науки.

— Как это человек в здравом уме может быть против науки? — спросил Кросби.

— Я бы уже давно умерла, если б не пенициллин, — сказала Хэзел, — и моя мама тоже.

— Сколько же лет сейчас вашей матушке? — спросил я.

— Сто шесть. Чудо, правда?

— Конечно, — согласился я.

— И я бы давно была вдовой, если бы не то лекарство, которым лечили мужа, — сказала Хэзел. Ей пришлось спросить у мужа название лекарства: — Котик, как называлось то лекарство, помнишь, оно в тот раз спасло тебе жизнь?

— Сульфатиазол.

И тут я сделал ошибку — взял с подноса, который пронесли мимо, сэндвич с альбатросовым мясом.

105. Болеутоляющее

И так случилось, «так должно было случиться», как сказал бы Боконон, что мясо альбатроса оказалось для меня настолько вредным, что мне стало худо, едва я откусил первый кусок.



Мне пришлось срочно бежать вниз по винтовой лестнице в поисках уборной. Я еле успел добежать до уборной рядом со спальней «Папы».

Когда я вышел оттуда, пошатываясь, я столкнулся с доктором Шлихтером фон Кенигсвальдом, вылетевшим из спальни «Папы». Он посмотрел на меня дикими глазами, схватил за руку и закричал:

— Что это такое? Что там у него висело на шее?

— Простите?

— Он проглотил эту штуку. То, что было в ладанке. «Папа» глотнул — и умер.

Я вспомнил ладанку, висевшую у «Папы» на шее, и сказал наугад:

— Цианистый калий?

— Цианистый калий? Разве цианистый калий в одну секунду превращает человека в камень?

— В камень?

— В мрамор! В чугун! В жизни не видел такого трупного окоченения. Ударьте по нему, и звук такой, будто бьешь в бубен. Подите взгляните сами.

И доктор фон Кенигсвальд подтолкнул меня к спальне «Папы».

На кровать, на золотую шляпку, страшно было смотреть. Да, «Папа» скончался, но про него никак нельзя было сказать: «Упокоился с миром».

Голова «Папы» была запрокинута назад до предела. Вся тяжесть тела держалась на макушке и на пятках, а все тело было выгнуто мостом, дугой кверху. Он был похож на коромысло.

То, что его прикончило содержимое ладанки, висевшей на шее, было бесспорно. В одной руке он держал этот цилиндрок с открытой пробкой. А указательный и большой палец другой руки, сложенные щепоткой, он держал между зубами, словно только что положил в рот малую толику какого-то порошка.



Доктор фон Кенигсвальд вынул ключину из гнезда на шкафу золоченой шлюпки. Он постучал по животу «Папы» стальной ключиной, и «Папа» действительно загудел, как бубен.

А губы и ноздри у «Папы» были покрыты иссиня-белой изморозью.

Теперь такие симптомы, видит Бог, уже не новость. Но тогда их не знали. «Папа» Монзано был первым человеком, погибшим от *льда-девять*.

Записываю этот факт, может, он и пригодится. «Записывайте все подряд», — учит нас Боконон. Конечно, на самом деле он хочет доказать, насколько бесполезно писать или читать исторические труды. «Разве без точных записей о прошлом можно хотя бы надеяться, что люди — и мужчины и женщины — избегнут серьезных ошибок в будущем?» — спрашивает он с иронией.

Итак, повторяю: «Папа» Монзано был первый человек в истории, скончавшийся от *льда-девять*.

*106. Что говорят боконисты,
кончая жизнь самоубийством*

Доктор фон Кенигсвальд, с огромной задолженностью по Освенциму, еще не покрытой его теперешними благодеяниями, был второй жертвой *льда-девять*.

Он говорил о трупном окоченении — я первый затронул эту тему.

— Трупное окоченение в одну минуту не наступает, — объявил он. — Я лишь на секунду отвернулся от «Папы». Он бредил...

— Про что?

— Про боль, Мону, лед — про все такое. А потом сказал: «Сейчас разрушу весь мир».

— А что он этим хотел сказать?

— Так обычно говорят боконисты, кончая жизнь самоубийством. — Фон Кенигсвальд подошел к тазу с водой, собираясь вымыть руки. — А когда я обернулся, — продолжал он, держа ладони над водой, — он был мертв, окаменел, как статуя, сами видите. Я провел пальцем по его губам, вид у них был какой-то странный.

Он опустил руки в воду.

— Какое вещество могло... — Но вопрос повис в воздухе. Фон Кенигсвальд поднял руки из таза, и вода поднялась за ним.

Только это уже была не вода, а полушарие из *льда-девять*.

Фон Кенигсвальд кончиком языка коснулся таинственной иссиня-белой глыбы.

Иней расцвел у него на губах. Он застыл, зашатался и грохнулся оземь.

Сине-белое полушарие разбилось. Куски льда рассыпались по полу.

Я бросился к дверям, закричал, зовя на помощь.

Солдаты и слуги вбежали в спальню.

Я приказал немедленно привести Фрэнка, Анджелу и Ньюта в спальню «Папы».

Наконец-то я увидел *лед-девять*!

107. Смотрите и радуйтесь!

Я впустил трех детей доктора Феликса Хонникера в спальню «Папы» Монзано.

Я закрыл двери и припер их спиной. Я был полон величественной горечи. Я понимал, что такое *лед-девять*.

Я часто видел его во сне.

Не могло быть никаких сомнений, что Фрэнк дал «Папе» *лед-девять*. И казалось вполне вероятным, что, если Фрэнк мог



раздавать *лед-девять*, значит, и Анджела с маленьким Ньютом тоже могли его отдать.

И я зарычал на всю эту троицу, призывая их к ответу за это чудовищное преступление. Я сказал, что их штучкам конец, что мне все известно про них и про *лед-девять*.

Я хотел их пугнуть, сказав, что *лед-девять* — средство прикончить всякую жизнь на земле. Говорил я настолько убежденно, что им и в голову не пришло спросить, откуда я знаю про *лед-девять*.

— Смотрите и радуйтесь! — сказал я.

Но, как сказал Боколон, «Бог еще никогда в жизни не написал хорошей пьесы». На сцене, в спальне «Папы», и декорации и бутафория были потрясающие, и мой первый монолог прозвучал отлично.

Но первая же реакция на мои слова одного из Хонникеров погубила все это великолепиие.

Крошку Ньюта вдруг стошнило.

*108. Фрэнк объясняет,
что надо делать*

И нам всем тоже стало тошно.

Ньют отреагировал совершенно правильно.

— Вполне с вами согласен, — сказал я ему и зарычал на Анджелу и Фрэнка: — Мнение Ньюта мы уже видели, а вы оба что можете сказать?

— К-хх, — сказала Анджела, передернувшись и высунув язык. Она пожелтела, как замазка.

— Ваши чувства совпадают? — спросил я Фрэнка. — Вам, генерал-майор, тоже хочется сделать «к-ххх»?

Фрэнк оскалил зубы, стиснув их изо всей силы, и дыхание у него вырвалось толчками, со свистом.

— Как та собака, — прошептал крошка Ньют, глядя на фон Кенигсвальда.

— Какая собака?

Ньют ответил шепотом, почти что не дыша. Но в комнате с каменными стенами была такая акустика, что все мы слышали этот шепот так ясно, как будто прозвонили хрустальные бубенцы.

— В сочельник, когда умер отец.

Ньют разговаривал сам с собой. И когда я попросил его рассказать, что случилось с собакой в ночь, когда умер их отец, он взглянул на меня, словно я влез в его сон. Ему казалось, что я никакого отношения к ним не имею.

Зато его брат и сестра участвовали в этом кошмаре, и с ними он заговорил как во сне:

— Ты ему дал эту вещь, — сказал он Фрэнку. — Так вот как ты стал важной шишкой, — с удивлением добавил Ньют. — Что ты ему сказал — что у тебя есть вещь почище водородной бомбы?

Фрэнк на вопрос не ответил. Он оглядывал комнату, пристально изучая ее. Зубы у него разжались, застучали мелкой дрожью, он быстро, словно в такт, заморгал глазами. Бледность стала проходить. И сказал он так:

— Слушайте, надо убрать всю эту штуку.

109. Фрэнк защищается

— **Генерал**, — сказал я Фрэнку, — ни один генерал-майор за весь этот год не дал более разумной команды. И каким же образом вы в качестве моего советника по технике порекомендуете нам, как вы прекрасно выразились, «убрать всю эту штуку»?

Фрэнк ответил очень точно. Он щелкнул пальцами. Я понял, что он снимает с себя ответственность за «всю эту штуку» и со все возрастающей гордостью и энергией отождествляет себя



с теми, кто борется за чистоту, спасает мир, наводит порядок.

— Метлы, совки, автоген, электроплитка, ведра, — приказывал он и все прищелкивал, прищелкивал и прищелкивал пальцами.

— Хотите автогеном уничтожить трупы? — спросил я.

Фрэнк был так наэлектризован своей технической смекалкой, что просто-напросто отбивал чечетку, прищелкивая пальцами.

— Большие куски подметем с пола, растопим в ведре на плитке. Потом пройдемся автогеном по всему полу, дуюм за дуюмом, вдруг там застряли микроскопические кристаллы. А что мы сделаем с трупами... — Он вдруг задумался.

— Погребальный костер! — крикнул он, радуясь своей выдумке. — Велю сложить огромный костер под крюком, вынесем тела и постель — и на костер!

Он пошел к выходу, чтобы приказать разложить костер и принести все, что нужно для очистки комнаты.

Анджела остановила его:

— Как ты мог?

Фрэнк улыбнулся остекленелой улыбкой:

— Ничего, все будет в порядке!

— Но как ты мог дать это такому человеку, как «Папа» Монзано? — спросила его Анджела.

— Давай сначала уберем эту штуку, потом поговорим.

Но Анджела вцепилась в его руку и не отпустила.

— Как ты мог? — крикнула она, тряся его. Фрэнк расцепил руки сестры. Остекленелая улыбка исчезла, и со злой издевкой он сказал, не скрывая презрения:

— Купил себе должность той же ценой, что ты себе купила кота в мужья, той же ценой, что Ньют купил неделю со своей лилипуткой там, на даче.

Улыбка снова застыла на его лице.

Фрэнк вышел, сильно хлопнув дверью...

110. Четырнадцатый том

«Иногда человек совершенно не в силах объяснить, что такое *пууль-па*», — учит нас Боконон. В одной из *Книг Боконона* он переводит слово *пууль-па* как *дождь из дерьма*, а в другой — как *гнев Божий*.

Из слов Фрэнка, брошенных перед тем, как он хлопнул дверью, я понял, что республика Сан-Лоренцо и трое Хонникеров были не единственными владельцами *льда-девять*...

Муж Анджелы передал секрет США, а Зика — своему посольству.

Слов у меня не нашлось...

Я склонил голову, закрыл глаза и стал ждать, пока вернется Фрэнк с немудрящим инструментом, потребным для очистки одной спальни, той единственной спальни из всех земных спален, которая была отравлена *льдом-девять*. Сквозь смутное забытие, охватившее меня мягким облаком, я услышал голос Анджелы. Она не пыталась защитить себя, она защищала Ньюта: «Он ничего не давал этой лилипутке, она все украла!»

Мне ее довод показался неубедительным.

«На что может надеяться человечество, — подумал я, — если такие ученые, как Феликс Хонникер, дают такие игрушки, как *лед-девять*, таким близоруким детям, а ведь из них состоит почти все человечество?»

И я вспомнил *Четырнадцатый том сочинений Боконона* — прошлой ночью я его прочел весь целиком. *Четырнадцатый том* озаглавлен так:

«Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?»

Прочсть Четырнадцатый том недолго. Он состоит всего из одного слова и точки: «Нет».

111. *Время истекло*

Фрэнк вернулся с метлами, совками, с автогеном и примусом, с добрым старым ведром и резиновыми перчатками.

Мы надели перчатки, чтобы не касаться руками *льда-девять*. Фрэнк поставил примус на ксилофон божественной Моны, а наверх водрузил честное старое ведро.

И мы стали подбирать самые крупные осколки *льда-девять*, и мы их бросали в наше скромное ведро, и они таяли. Они становились доброй старой, милой старой, честной нашей старой водичкой.

Мы с Анджелой подметали пол, крошка Ньют заглядывал под мебель, ища осколки *льда-девять* — мы могли их прозевать. А Фрэнк шел за нами, поливая все очистительным пламенем автогена.

Бездумное спокойствие сторожей и уборщиц, работающих поздними ночами, сошло на нас. В загаженном мире мы по крайней мере очищали хоть один наш маленький уголок.

И я поймал себя на том, что самым будничным тоном спрашиваю Ньюта, и Анджелу, и Фрэнка о том сочельнике, когда умер их отец, и прошу рассказать мне про ту собаку.

И в детской уверенности, что они все исправят, очистив эту комнату, Хонникеры рассказали мне эту историю.

Вот их рассказ.

В тот памятный сочельник Анджела пошла в деревню за лампочками для елки, а Ньют с Фрэнком вышли пройтись по пустынному зимнему пляжу, где и повстречали черного сеттера. Пес был ласковый, как все охотничьи псы, и пошел за Фрэнком и крошкой Ньютом к ним домой.

Феликс Хонникер умер — умер в своей белой качалке, пока детей не было дома. Весь день старик дразнил детей намеками на *лед-девять*, показывая им небольшую бутылочку,

на которую он приклеил ярлычок с надписью: «*Опасно! Лед-девять! Беречь от влаги!*»

Весь день старик надоедал своим детям такими разговорами:

— Ну же, пошевелите мозгами! — говорил он весело. — Я вам уже сказал: точка таяния у него сто четырнадцать, запятая, четыре десятых по Фаренгейту, и еще я вам сказал, что состоит он только из водорода и кислорода. Как же это объяснить? Ну подумайте же! Не бойтесь поднапрячь мозги! Они от этого не лопнут.

— Он нам всегда так говорил — «напрягите мозги», — сказал Фрэнк, вспоминая прежние времена.

— А я и не пыталась напрягать мозги уже не помню с каких лет, — призналась Анджела, опираясь на метлу. — Я даже слушать не могла, когда он начинал говорить про научное. Только кивала головой и притворялась, что пытаюсь напрячь мозги, но бедные мои мозги потеряли всякую эластичность, все равно что старая резина на поясе.

Очевидно, прежде чем усесться в свою плетеную качалку, старик возился на кухне — играл с водой и *льдом-девять* в кастрюльках и плошках. Наверно, он превращал воду в *лед-девять*, а потом снова лед превращал в воду, потому что с полок были сняты все кастрюльки и миски. Там же валялся термометр — должно быть, старик измерял какую-то температуру.

Наверно, он собирался только немного посидеть в кресле, потому что оставил на кухне ужасный беспорядок. Посреди этого беспорядка стояла чашка, наполненная до краев *льдом-девять*. Несомненно, он собирался растопить и этот лед, чтобы оставить на земле только осколок этого сине-белого вещества, закупоренного в бутылке, но сделал перерыв.

Однако, как говорит Боконон, «каждый человек может объявить перерыв, но ни один человек не может сказать, когда этот перерыв окончится».

— **Надо** бы мне сразу, как только я вошла, понять, что отец умер, — сказала Анджела, опершись на метлу. — Качалка ни звука не издавала. А она всегда разговаривала, поскрипывала, даже когда отец спал.

Но Анджела все же решила, что он уснул, и ушла убирать елку.

Ньют и Фрэнк вернулись с черным сеттером. Они зашли на кухню — дать собаке поесть. И увидели, что всюду разлита вода.

На полу стояли лужи, и крошка Ньют взял тряпку для посуды и вытер пол. А мокрую тряпку бросил на шкафчик.

Но тряпка случайно попала в чашку со *льдом-девять*, Фрэнк решил, что в чашке приготовлена глазурь для торта, и, сняв чашку, ткнул ее под нос Ньюту — посмотри, что ты наделал.

Ньют оторвал тряпку от льда и увидел, что она приобрела какой-то странный металлический змеистый блеск, как будто она была сплетена из тонкой золотой сетки.

— Знаете, почему я говорю «золотая сетка»? — рассказывал Ньют в спальне «Папы» Монзано. — Потому что мне эта тряпка напомнила мамину сумочку, особенно на ощупь.

Анджела прочувствованно объяснила, что Ньют в детстве обожал золотую сумочку матери. Я понял, что это была вечерняя сумочка.

— До того она была необычная на ощупь, я ничего лучшего на свете не знал, — сказал Ньют, вспоминая свою детскую любовь к сумочке. — Интересно, куда она девалась?

— Интересно, куда многое девалось, — сказала Анджела. Ее слова эхом отозвались в прошлом — грустные, растерянные.

А с тряпкой, напоминавшей на ощупь золотую сумочку, случилось вот что: Ньют протянул ее собаке, та лизнула — и сразу окоченела. Ньют пошел к отцу — рассказать ему про собаку — и увидел, что отец тоже окоченел.

Наконец мы убрали спальню «Папы» Монзано.

Но трупы надо было еще вынести на погребальный костер. Мы решили, что сделать это нужно с помпой и что мы отложим эту церемонию до окончания торжеств в честь «Ста мучеников за демократию».

Напоследок мы поставили фон Кенигсвальда на ноги, чтобы обезвредить то место на полу, где он лежал. А потом мы спрятали его в стоячем положении в платяной шкафу «Папы».

Сам не знаю, зачем мы его спрятали. Наверно, для того, чтобы упростить картину.

Что же касается рассказа Анджелы, Фрэнка и Ньюта, того, как они в тот сочельник разделили между собой весь земной запас *льда-девять*, то, когда они подошли к рассказу об этом преступлении, они как-то выдохлись. Никто из них не мог припомнить, на каком основании они присвоили себе право взять *лед-девять*. Они рассказывали, какое это вещество, вспоминали, как отец требовал, чтобы они напрягли мозги, но о моральной стороне дела ни слова не было сказано.

— А кто его разделил? — спросил я.

Но у всех троих так основательно выпало из памяти все событие, что им даже трудно было восстановить эту подробность.

— Как будто не Ньют, — наконец сказала Анджела. — В этом я уверена.

— Наверно, либо ты, либо я, — раздумчиво сказал Фрэнк, напрягая память.

— Я сняла три стеклянные банки с полки, — вспомнила Анджела. — А три маленьких термоса мы достали только на завтра.

— Правильно, — согласился Фрэнк. — А потом ты взяла щипчики для льда и наколола *лед-девять* в миску.

— Верно, — сказала Анджела. — Наколола. А потом кто-то принес из ванной пинцет.



Ньют поднял ручонку:

— Это я принес.

Анджела и Ньют сейчас сами удивлялись, до чего малыш Ньют оказался предприимчив.

— Это я брал пинцетом кусочки и клал их в стеклянные баночки, — продолжал Ньют. Он не скрывал, что немного хвастает этим делом.

— А что же вы сделали с собакой? — спросил я унылым голосом.

— Сунули в печку, — объяснил мне Фрэнк. — Больше ничего нельзя было сделать.

«История! — пишет Боконон. — Читай и плачь!»

*114. «Когда мне в сердце
пуля залетела»*

И ВОТ я снова поднялся по винтовой лестнице на *свою* башню, снова вышел на самую верхнюю площадку *своего* замка и снова посмотрел на *своих* гостей, *своих* слуг, *свою* скалу и *свое* тепловатое море.

Все Хонникеры поднялись со мной. Мы заперли спальню «Папы», а среди челяди пустили слух, что «Папе» гораздо лучше.

Солдаты уже складывали похоронный костер у крюка. Они не знали, зачем его складывают.

Много, много тайн было у нас в тот день.

Дела, дела, дела.

Я подумал, что торжественную часть уже можно начинать, и велел Фрэнку подсказать послу Минтону, что пора произнести речь.

Посол Минтон подошел к балюстраде, нависшей над морем, неся с собой венки в футляре. И он сказал поразительную

речь в честь Ста мучеников за демократию. Он восславил павших, их родину, жизнь, из которой они ушли, произнося слова «Сто мучеников за демократию» на местном наречии. Этот обрывок диалекта прозвучал в его устах легко и грациозно.

Всю остальную речь он произнес на американо-английском языке. Речь была записана у него на бумажке — наверно, подумал я, будет говорить напыщенно и ходульно. Но когда он увидел, что придется говорить с немногими людьми, да к тому же по большей части с соотечественниками — американцами, он оставил официальный тон.

Легкий ветер с моря трепал его поредевшие волосы.

— Я буду говорить очень непосольские слова, — объявил он, — я собираюсь рассказать вам, что я испытываю на самом деле.

Может быть, Минтон вдохнул слишком много ацетоновых паров, а может, он предчувствовал, что случится со всеми, кроме меня. Во всяком случае, он произнес удивительно боконистскую речь.

— Мы собрались здесь, друзья мои, — сказал он, — чтобы почтить память «Сита мусеники за зимокарацию», память детей, всех детей, убиенных на войне. Обычно в такие дни этих детей называют *мужчинами*. Но я не могу назвать их *мужчинами* по той простой причине, что в той же войне, в которой погибли «Сито мусеники за зимокарацию», погиб и мой сын.

И душа моя требует, чтобы я горевал не по мужчине, а по своему ребенку.

Я вовсе не хочу сказать, что дети на войне, если им приходится умирать, умирают хуже мужчин. К их вечной славе и нашему вечному стыду, они умирают именно как мужчины, тем самым оправдывая мужественное ликование патриотических празднеств.

Но все равно все они — убитые дети.

И я предлагаю вам: если уж мы хотим проявить искреннее уважение к памяти ста погибших детей Сан-Лоренцо,



то будет лучше всего, если мы проявим презрение к тому, что их убило, иначе говоря — к глупости и злобности рода человеческого.

Может быть, вспоминая о войнах, мы должны были бы снять с себя одежду и выкраситься в синий цвет, встать на четвереньки и хрюкать, как свиньи. Несомненно, это больше соответствовало бы случаю, чем пышные речи, и реяние знамен, и пальба хорошо смазанных пушек.

Я не хотел бы показаться неблагодарным — ведь нам сейчас покажут отличный военный парад, а это и в самом деле будет увлекательное зрелище.

Он посмотрел всем нам прямо в глаза и добавил очень тихо, словно невзначай:

— И ура всем увлекательным зрелищам!

Нам пришлось напрячь слух, чтобы уловить то, что Минтон добавил дальше:

— Но если сегодня и в самом деле день памяти ста детей, убитых на войне, — сказал он, — то разве в такой день уместны увлекательные зрелища?

«Да», — ответим мы, но при одном условии: чтобы мы, празднующие этот день, сознательно и неумолимо трудились над тем, чтобы убавить и глупость, и злобу в себе самих и во всем человечестве.

— Видите, что я привез? — спросил он нас.

Он открыл футляр и показал нам алую подкладку и золотой венок. Венок был сплетен из проволоки и искусственных лавровых листьев, обрызганных серебряной автомобильной краской.

Поперек венка шла кремовая атласная лента с надписью «Pro patria!»¹.

¹ «За родину!» (лат.)

Тут Минтон продекламировал строфы из книги Эдгара Ли Мастерса «Антология Спун-Ривер». Стихи, вероятно, были совсем непонятны присутствовавшим тут гражданам Сан-Лоренцо, а впрочем, их, наверно, не поняли и Лоу Кросби, и его Хэзел, и Фрэнк с Анджелой тоже.

Я первым пал в бою под Мишенери-Ридж.
Когда мне в сердце пуля залетела,
Я пожалел, что не остался дома,
Не сел в тюрьму за то, что крал свиней
У Карла Теннери, а взял да убежал
На фронт сражаться.
Уж лучше тыщу дней сидеть у нас в тюрьме,
Чем спать под мраморным крылатым истуканом,
Спать под плитой гранитной, где стоят
Слова «Pro patria!».
Да что же они значат?

— Да что же они значат? — повторил посол Хорлик Минтон. — Эти слова значат: «За родину!» «За чью угодно родину», — как бы невзначай добавил он.

— Этот венок я приношу в дар от родины одного народа родине другого народа. Неважно, чья это родина. Думайте о народе...

И о детях, убитых на войне.

И обо всех странах.

Думайте о мире.

И о братской любви.

Подумайте о благоденствии.

Подумайте, каким раем могла бы стать земля, если бы люди были добрыми и мудрыми.

И хотя люди глупы и жестоки, смотрите, какой прекрасный нынче день, — сказал посол Хорлик Минтон. — И я от всего

сердца и от имени миролюбивых людей Америки жалею, что «Сито мусеники за зимокарацию» мертвы в такой прекрасный день.

И он метнул венок вниз с парапета.

В воздухе послышалось жужжание. Шесть самолетов военно-воздушного флота Сан-Лоренцо приближались, паря над моим тепловатым морем.

Сейчас они возьмут под обстрел чучела тех, про кого Лоу Кросби сказал, что это «фактически все, кто был врагом свободы».

115. Случилось так

МЫ подошли к парапету над морем — поглядеть на это зрелище. Самолеты казались зернышками черного перца. Мы их разглядели потому, что случилось так, что за одним из них тянулся хвост дыма.

Мы решили, что дым пустили нарочно, для вида.

Я стоял рядом с Лоу Кросби, и случилось так, что он ел бутерброд с альбатросом и запивал местным ромом. Он причмокивал губами, лоснящимися от жира альбатроса, от его дыхания пахло ацетоновым клеем. У меня к горлу снова подступила тошнота. Я отошел и, стоя в одиночестве у другого парапета, хватал воздух ртом. Между мной и остальными оказалось шестьдесят футов старого каменного помоста.

Я сообразил, что самолеты спустятся низко, ниже подножия замка, и что я пропущу представление. Но тошнота отбила у меня все любопытство. Я повернул голову туда, откуда уже шел воющий гул. И в ту минуту, как застучали пулеметы, один из самолетов, тот, за которым тянулся хвост дыма, вдруг перевернулся брюхом кверху, объятый пламенем.

Он снова исчез из моего поля зрения, сразу грохнувшись об скалу. Его бомбы и горючее взорвались.

Остальные целые самолеты с воем улетели, и вскоре их гул доносился словно комариный писк.

И тут послышался грохот обвала — одна из огромных башен «Папиного» замка, подорванная взрывом, рухнула в море.

Люди у парапета над морем в изумлении смотрели на пустой цоколь, где только что стояла башня. И тут я услышал гул обвалов в переключке, похожей на оркестр.

Переключка шла торопливо, в нее вплелись новые голоса. Это заголосили подпоры замка, жалуясь на непосильную тяжесть нагрузки.

И вдруг трещина молнией прорезала пол у меня под ногами, в десяти футах от моих судорожно скрючившихся пальцев.

Трещина отделила меня от моих спутников.

Весь замок застонал и громко завыл.

Те, остальные, поняли, что им грозит гибель. Вместе с тоннами камня они сейчас рухнут вниз, в море. И хотя трещина была не шире фута, они стали героически перескакивать через нее огромными прыжками.

И только моя безмятежная Мона спокойно перешагнула трещину.

Трещина со скрежетом закрылась и снова окалилась еще шире. На смертельном выступе еще стояли Лоу Кросби со своей Хэзел и посол Хорлик Минтон со своей Клэр.

Мы с Фрэнком и Филиппом Каслом, потянувшись через пропасть, перетаскивали Кросби к себе, подальше от опасности. И снова умоляюще протянули руки к Минтонам.

Их лица были невозмутимы. Могут только догадываться, о чем они думали. Предполагаю, что больше всего они думали о собственном достоинстве, о соответствующем выражении своих чувств.

Паника была не в их духе. Сомневаюсь, было ли в их духе самоубийство. Но их убила воспитанность, потому что обре-



ченный сектор замка отошел от нас, как океанский пароход отходит от пристани.

Вероятно, Минтонам-путешественникам тоже пришел на ум этот образ, потому что они приветливо помахали нам оттуда.

Они взяли за руки.

Они повернулись лицом к морю.

Вот они двинулись, вот они рухнули вниз в громовом обвале и исчезли навеки!

116. Великий а-бумм!

Рваная рана погибели теперь разверзлась в нескольких дюймах от моих судорожно скрюченных пальцев. Мое тепловатое море поглотило все. Ленивое облако пыли плыло к морю — единственный след рухнувших стен.

Весь замок, сбросив с себя тяжелую маску портала, ухмылялся ухмылкой прокаженного, оскаленной и беззубой. Щетинились расщепленные концы балок. Прямо подо мной открылся огромный зал. Пол этого зала выдавался в пустоту, без опор, словно вышка для прыжков в воду.

На миг мелькнула мысль — спрыгнуть на эту площадку, взлететь с нее ласточкой и в отчаянном прыжке, скрестив руки, без единого всплеска, врезаться в теплую, как кровь, вечность.

Меня вывел из раздумья крик птицы над головой. Она словно спрашивала меня, что случилось. «Пьюти-фьют?» — спрашивала она.

Мы взглянули на птицу, потом друг на друга.

Мы отпрянули от пропасти в диком страхе. И как только я сошел с камня, на котором стоял, камень зашатался. Он был не устойчивей волчка. И он тут же покотился по полу.

Камень рухнул на площадку, и площадка обвалилась. И по этому обвалу покатились мебель из комнаты вниз.

Сначала вылетел ксилофон, быстро прыгая на крошечных колесиках. За ним — тумбочка, наперегонки с автогеном. В лихорадочной спешке за ним гнались стулья.

И где-то в глубине комнаты что-то неведомое, упорно не желающее двигаться, поддалось и пошло.

Оно поползло по обвалу. Показался золоченый нос. Это была шляпка, где лежал мертвый «Папа».

Шляпка ползла по обвалу. Нос накренился. Шляпка перевесилась над пропастью. И полетела вверх тормашками. «Папу» выбросило, и он летел отдельно.

Я зажмурился.

Послышался звук, словно медленно закрылись громадные ворота величиной с небо, как будто тихо затворили райские ворота. Раздался великий А-бумм...

Я открыл глаза — все море превратилось в лед-девять.

Влажная зеленая земля стала синевато-белой жемчужиной.

Небо потемнело. *Борасизи* — Солнце — превратилось в болезненно-желтый шар, маленький и злой.

Небо наполнилось червями. Это закрутились смерчи.

117. Убежище

Я ВЗГЛЯНУЛ на небо, туда, где только что пролетела птица. Огромный червяк с фиолетовой пастью плыл над головой. Он жужжал, как пчела. Он качался. Непристойно сжимаясь и разжимаясь, он переваривал воздух.

Мы, люди, разбежались, мы бросились с моей разрушенной крепости, шатаясь, сбежали по лестнице поближе к суше.

Только Лоу Кросби и его Хэзел закричали. «Мы американцы! Мы американцы!» — орали они, словно смерчи интересовались, к какому именно *гранфаллону* принадлежат их жертвы.

Я потерял чету Кросби из виду. Они спустились по другой лестнице. Откуда-то из коридора замка до меня донеслись их вопли, тяжелый топот и пыхтение остальных беглецов. Моей единственной спутницей была моя божественная Мона, неслышно следовавшая за мной. Когда я остановился, она проскользнула мимо меня и открыла дверь в приемную перед апартаментами «Папы». Ни стен, ни крыши там не было. Оставался лишь каменный пол. И посреди него была крышка люка, закрывавшая вход в подземелье. Под кишасим червями небом, в фиолетовом мелькании смерчей, разинувших пасти, чтобы нас поглотить, я поднял эту крышку. В стенку каменной кишки, ведущей в подземелье, были вделаны железные скобы. Я закрыл крышку изнутри. И мы стали спускаться по железным скобам.

И внизу мы открыли государственную тайну. «Папа» Монзано велел оборудовать там уютное бомбоубежище. В нем была вентиляционная шахта с велосипедным механизмом, приводящим в движение вентилятор. В одну из стен был вмурован бак для воды. Вода была пресная, мокрая, еще не зараженная льдом-девять. Был там и химический туалет, и коротковолновый приемник, и каталог Сирса и Роубека, и ящики с деликатесами и спиртным, и свечи. А кроме того, там были переплетенные номера «Национального географического вестника» за последние двадцать лет.

И было там полное собрание сочинений Боконона.

И стояли там две кровати.

Я зажег свечу. Я открыл банку куриного супа и поставил на плитку. И я налил два бокала виргинского рома.

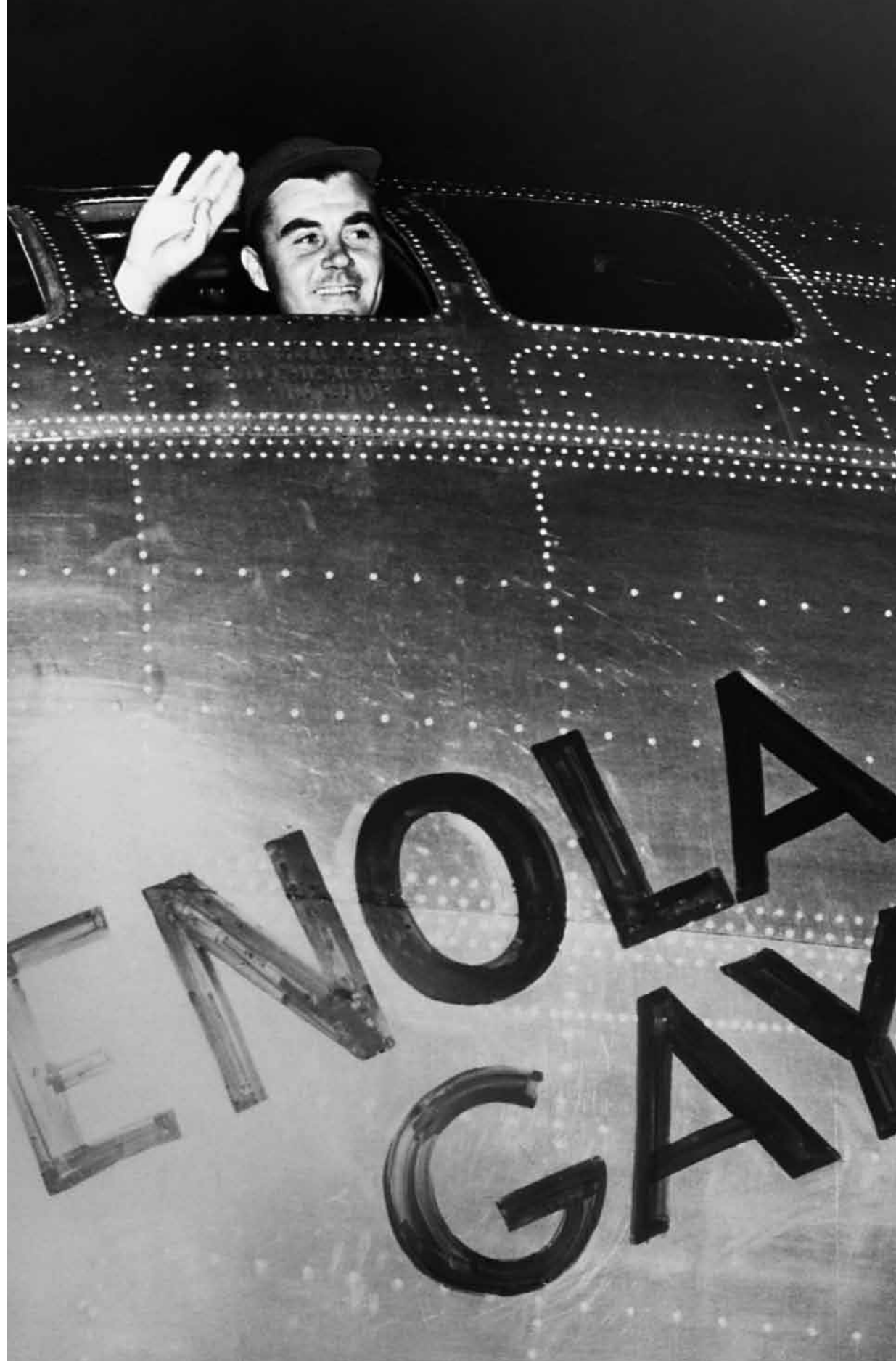
Мона присела на одну постель. Я присел на другую.

— Сейчас я скажу то, что уже много раз говорил мужчине женщине, — сообщил я ей. — Однако не думаю, чтобы эти слова когда-нибудь были так полны смысла, как сейчас.

Я развел руками.

— Что?

— Наконец мы одни, — сказал я.



Шестая книга Боконона посвящена боли, и в частности — пыткам и мукам, которым люди подвергают людей. «Если меня когда-нибудь сразу казнят на крюке, — предупреждает нас Боконон, — то это, можно сказать, будет очень гуманный способ».

Потом он рассказывает о дыбе, об «испанском сапоге», о железной деве, о колесе и о каменном мешке.

Ты перед всякой смертью слезами изойдешь.

Но только в каменном мешке для дум ты время обретешь.

Так оно и было в каменном чреве, где оказались мы с Моей. Времени для дум у нас хватало. И прежде всего я подумал о том, что бытовые удобства никак не смягчают ощущение полной заброшенности.

В первый день и в первую ночь нашего пребывания под землей ураган тряс крышку нашего люка почти непрерывно. При каждом порыве давление в нашей норе внезапно падало, в ушах стоял шум и звенело в голове.

Из приемника слышался только треск разрядов, и все. По всему коротковолновому диапазону ни слова, ни одного телеграфного сигнала я не слышал. Если мир еще где-то жил, то он ничего не передавал по радио.

И мир молчит до сегодняшнего дня.

И вот что я предположил: вихри повсюду разносят ядовитый *лед-девять*, рвут на куски все, что находится на земле. Все, что еще живо, скоро погибнет от жажды, от голода, от бешенства или от полной апатии.

Я обратился к книгам Боконона, все еще думая в своем невежестве, что найду в них утешение. Я торопливо пропустил предостережение на титульной странице первого тома:

«Не будь глупцом! Сейчас же закрой эту книгу! Тут все — сплошная *фóма!*»

Фóма, конечно, значит ложь.

А потом я прочел вот что:

«Вначале Бог создал землю и посмотрел на нее из своего космического одиночества.

И Бог сказал: «Создадим живые существа из глины, пусть глина взглянет, что сотворено нами».

И Бог создал все живые существа, какие до сих пор движутся по земле, и одно из них было человеком. И только этот ком глины, ставший человеком, умел говорить. И Бог наклонился поближе, когда созданный из глины человек привстал, оглянулся и заговорил. Человек подмигнул и вежливо спросил: «А в чем смысл всего этого?»

— Разве у всего должен быть смысл? — спросил Бог.

— Конечно, — сказал человек.

— Тогда предоставляю тебе найти этот смысл! — сказал Бог и удалился».

Я подумал: что за чушь?

«Конечно, чушь», — пишет Боконон.

И я обратился к моей божественной Моне, ища утешений в тайнах, гораздо более глубоких.

Влюбленно глядя на нее через проход, разделявший наши постели, я вообразил, что в глубине ее дивных глаз таится тайна, древняя, как прапраматерь Ева.

Не стану описывать мрачную любовную сцену, которая разыгралась между нами.

Достаточно сказать, что я вел себя отталкивающе и был оттолкнут. Эта девушка не интересовалась продолжением рода человеческого — ей претила даже мысль об этом.

Под конец этой бессмысленной возни и ей, и мне самому показалось, что я во всем виноват, что это я выдумал нелепый способ, задыхаясь и потея, создавать новые человеческие существа.

Скрипя зубами, я вернулся на свою кровать и подумал, что Мона честно не имеет ни малейшего представления, зачем люди занимаются любовью.

Но тут она сказала мне очень ласково:

— Так грустно было бы завести сейчас ребеночка! Ты согласен?

— Да, — мрачно сказал я.

— Может быть, ты не знаешь, что именно от этого и бывают дети, — сказала она.

119. Мона благодарит меня

«СЕГОДНЯ Я — министр народного образования, — пишет Боконон, — а завтра буду Еленой Прекрасной». Смысл этих слов яснее ясного: каждому из нас надо быть самим собой. Об этом я и думал в каменном мешке подземелья, и творения Боконона мне помогли.

Боконон просит меня петь вместе с ним:

Ра-ра-ра, работать пора,
Ла-ла-ла, делай дела,
Но-но-но — как суждено,
Пых-пах-пох, пока не издох.

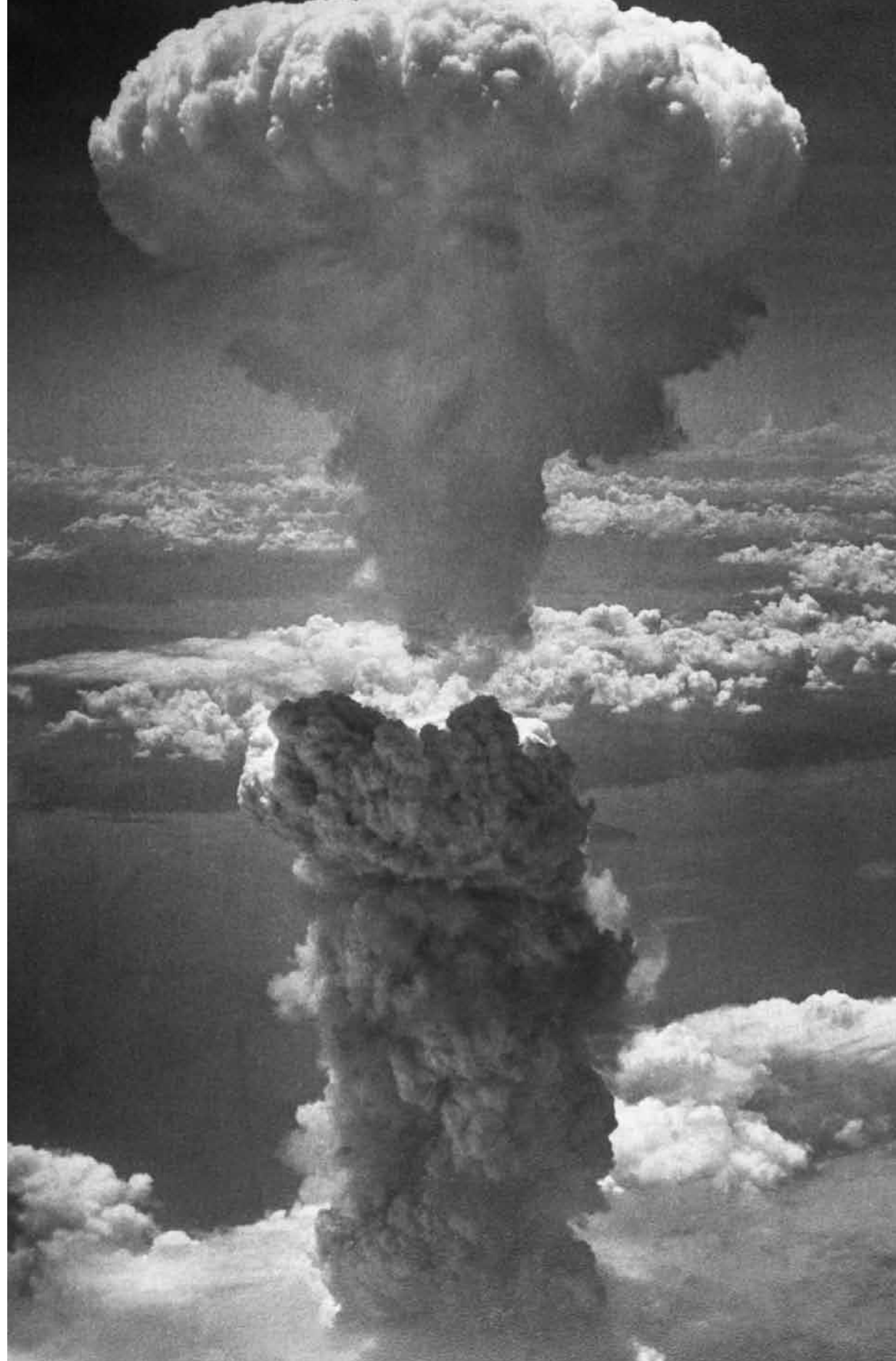
Я сочинил на эти слова мелодию и потихоньку насвистывал ее, крутя велосипед, который, в свою очередь, крутил вентилятор, дававший нам воздух, добрый старый воздух.

— Человек вдыхает кислород и выдыхает углекислоту, — сказал я Моне.

— Как?

— Наука!

— А-а...



— Это одна из тайн жизни, которую человек долго не мог понять. Животные вдыхают то, что другие животные выдыхают, и наоборот.

— А я не знала.

— Теперь знаешь.

— Благодарю тебя.

— Не за что.

Когда я допедалировал нашу атмосферу до свежести и прохлады, я слез с велосипеда и взобрался по железным скобам — взглянуть, какая там, наверху, погода. Я лазил наверх несколько раз в день. В этот четвертый день я увидел сквозь узкую щелку приподнятой крышки люка, что погода стабилизировалась.

Но стабильность эта была сплошным диким движением, потому что смерчи бушевали, да и по сей день бушуют. Но их пасти уже не сжирали все на земле. Смерчи поднялись на почтительное расстояние, мили на полторы. И это расстояние так мало менялось, будто Сан-Лоренцо был защищен от этих смерчей непроницаемой стеклянной крышей.

Мы переждали еще три дня, удостоверившись, что смерчи стали безобидными не только с виду. И тогда мы наполнили водой фляжки и поднялись наверх.

Воздух был сух и мертвенно-тих.

Как-то я слышал мнение, что в умеренном климате должно быть шесть времен года, а не четыре: лето, осень, замыкание, зима, размыкание, весна. И я об этом вспомнил, встав в веселый рядом с люком, приглядываясь, прислушиваясь, принимаясь.

Запах не было. Движения не было. От каждого моего шага сухо трещал сине-белый лед. И каждый треск будил громкое эхо. Кончилась пора замыкания. Земля была замкнута накрепко. Настала зима, вечная и бесконечная.

Я помог моей Моне выйти из нашего подземелья. Я предупредил ее, что нельзя трогать руками сине-белый лед, нельзя подносить руки ко рту.

— Никогда смерть не была так доступна, — объяснил я ей. — Достаточно коснуться земли, а потом — губ, и конец.

Она покачала головой, вздохнула.

— Очень злая мать, — сказала она.

— Кто?

— Мать-земля, она уже не та добрая мать.

— Алло! Алло! — закричал я в развалины замка. Страшная буря проложила огромные ходы сквозь гигантскую грудку камней. Мы с Моной довольно машинально попытались поискать, не остался ли кто в живых, я говорю «машинально», потому что никакой жизни мы не чувствовали. Даже ни одна суетливо шмыгающая носом крыса не мелькнула мимо нас.

Из всего, что понастроил человек, сохранилась лишь арка замковых ворот. Мы с Моной подошли к ней. У подножья белой краской было написано бокононовское калипсо. Буквы были аккуратные. Краска свежая — доказательство, что кто-то еще, кроме нас, пережил бурю.

Калипсо звучало так:

Настанет день, настанет час,

Придет земле конец.

И нам придется все вернуть,

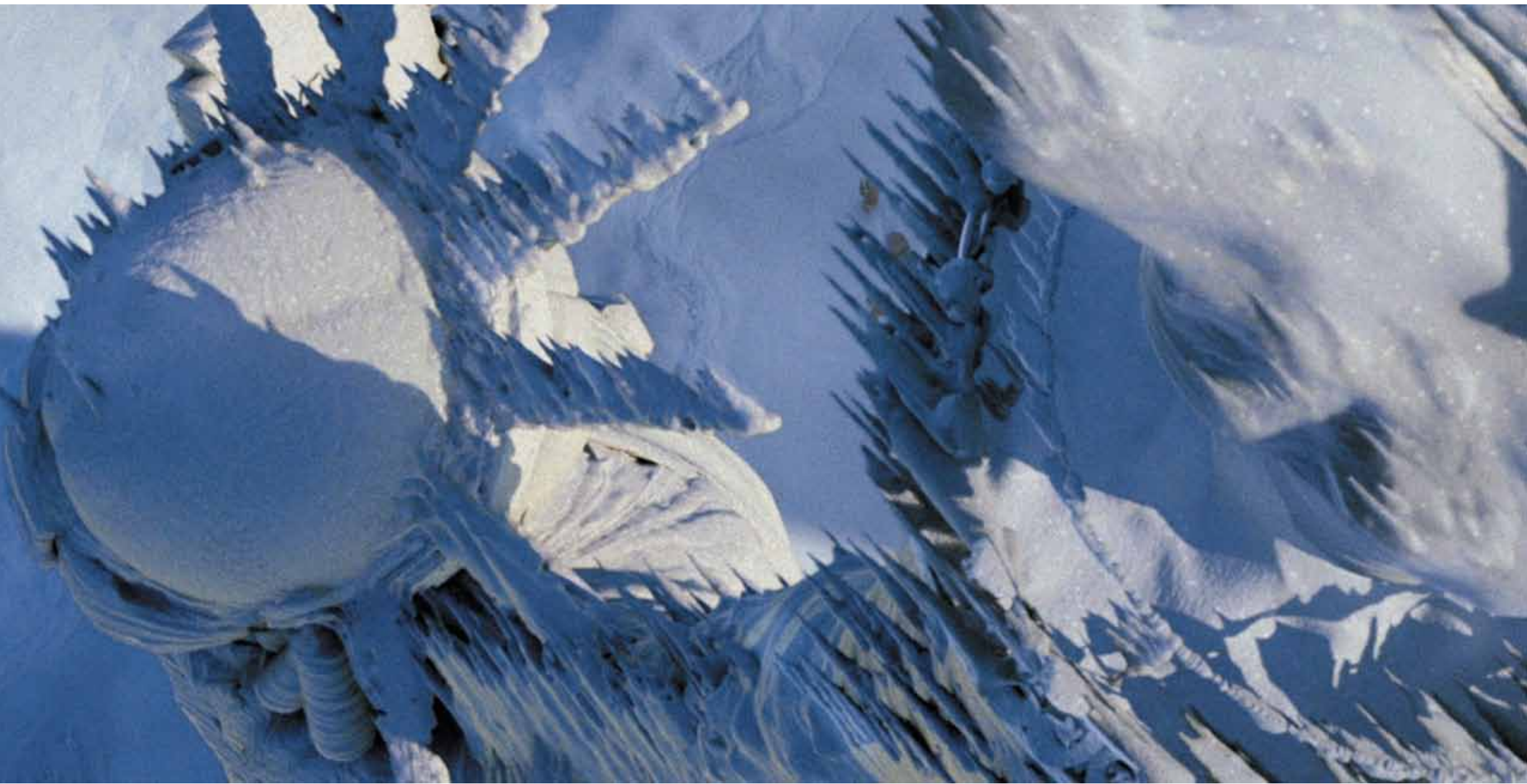
Что дал нам в долг Творец.

Но если мы, Его кляня, подыдем шум и вой,

Он только усмехнется, качая головой.

120. Всем, кого это касается

Как-то мне попала реклама детской книжки под названием «Книга знаний». В рекламе мальчик и девочка, доверчиво глядя на своего папу, спрашивали: «Папочка, а отчего небо синее?» Ответ, очевидно, можно было найти в «Книге знаний».



Если бы мой папочка был рядом, когда мы с Моной вышли из дворца на дорогу, я бы задал ему не один, а уйму вопросов, доверчиво цепляясь за его руку: «Папочка, почему все деревья сломаны? Папочка, почему все птички умерли? Папочка, почему небо такое скучное, почему на нем какие-то червяки? Папочка, почему море такое твердое и тихое?»

Но мне пришло в голову, что я мог бы ответить на эти ковыристые вопросы лучше любого человека на свете, если только на свете остался в живых хоть один человек. Если бы кто-нибудь захотел узнать, я бы рассказал, что стряслось, и где, и каким образом.

А какой толк?

Я подумал: где же мертвецы? Мы с Моной отважились отойти от нашего подземелья чуть ли не на милю и ни одного мертвеца не увидели.

Меня меньше интересовали живые, так как я понимал, что сначала наткнусь на груды мертвых. Нигде ни дымка от костров, но, может, их трудно было разглядеть на червивом небе.

Но вдруг я увидел: вершина горы Маккэйб была окружена сиреневым ореолом. Казалось, он манил меня, и глупая кинематографическая картина встала передо мной: мы с Моной взбираемся на эту вершину. Но какой в этом смысл?

Мы дошли до предгорья у подножия горы. И Мона как-то бездумно выпустила мою руку и поднялась на один из холмов. Я последовал за ней.

Я догнал ее на верхушке холма. Она как зачарованная смотрела вниз, в широкую естественную воронку. Она не плакала.

А плакать было от чего.

В воронке лежали тысячи тысяч мертвецов. На губах каждого покойника синеватой пеной застыл *лед-девять*.

Так как тела лежали не врассыпную, не как попало, было ясно, что люди там собрались, когда стихли жуткие смерчи. И так как каждый покойник держал палец у губ или во рту, я

понял, что все они сознательно собрались в этом печальном месте и отравились *льдом-девять*.

Там были и мужчины, и женщины, и дети, многие в позе *боко-мару*. И лица у всех были обращены к центру воронки, как у зрителей в амфитеатре.

Мы с Моной посмотрели, куда глядят эти застывшие глаза, перевели взгляд на центр воронки. Он представлял собой круглую площадку, где мог бы поместиться один оратор.

Мы с Моной осторожно подошли к этой площадке, стараясь не касаться страшных статуй. Там мы нашли камень. А под камнем лежала нацарапанная карандашом записка:

«Всем, кого это касается: эти люди вокруг вас — почти все, кто оставался в живых на острове Сан-Лоренцо после страшных вихрей, возникших от замерзания моря. Люди эти поймали лжесвятого по имени Боконон. Они привели его сюда, поставили в середину круга и потребовали, чтобы он им точно объяснил, что затеял Господь Бог и что им теперь делать. Этот шут сказал им, что Бог явно хочет их убить, вероятно, потому, что они ему надоели и что им из вежливости надо самим умереть. Что, как вы видите, они и сделали».

Записка была подписана Бокононом.

121. Я отвечаю не сразу

— Какой циник! — ахнул я. Прочитав записку, я обвел глазами мертвецкую в воронке. — Он где-нибудь тут?

— Я его не вижу, — мягко сказала Мона. Она не огорчилась, не рассердилась. — Он всегда говорил, что своих советов слушаться не будет, потому что знает им цену.

— Пусть только покажется тут! — сказал я с горечью. — Только представить себе эту наглость — посоветовать всем этим людям покончить жизнь самоубийством!

И тут Мона рассмеялась. Я еще ни разу не слышал ее смеха. Страшный это был смех, неожиданно низкий и резкий.

— По-твоему, это *смешно*?

Она лениво развела руками:

— Это очень просто, вот и все. Для многих это выход, и такой простой.

И она прошла по склону между окаменевшими телами. Посреди склона она остановилась и обернулась ко мне. И крикнула мне оттуда, сверху:

— А ты бы захотел воскресить хоть кого-нибудь из них, если бы мог? Отвечай сразу!

— Вот ты сразу и не ответил! — весело крикнула она через полминуты. И, все еще посмеиваясь, она прикоснулась пальцем к земле, выпрямилась, поднесла палец к губам — и умерла.

Плакал ли я? Говорят, плакал. Таким меня встретили на дороге Лоу Кросби с супругой и малютка Ньют. Они ехали в единственном боливарском такси, его пощадил ураган. Они-то и сказали, что я плакал. И Хэзел расплакалась от радости.

Они силком посадили меня в такси.

Хэзел обняла меня за плечи:

— Ничего, теперь ты возле своей мамули. Не надо так расстраиваться.

Я постарался забытья. Я закрыл глаза. И с глубочайшим идиотическим облегчением я прислонился к этой рыхлой, сырой деревенской дуре.

122. Семейство робинзонов

Меня отвезли на место у самого водопада, где был дом Фрэнклина Хонникера. Осталась от него только пещера под водопадом, похожая теперь на *иглу* — ледяную хижину под прозрачным сине-белым колпаком *льда-девять*.

Семья состояла из Фрэнка, крошки Ньюта и четы Кросби. Они выжили, попав в темницу при замке, куда более тесную и неприятную, чем наш каменный мешок. Как только улеглись смерчи, они оттуда вышли, в то время как мы с Моной просидели под землей еще три дня.

И надо же было случиться, что такси каким-то чудом ждало их у въезда в замок.

Они нашли банку белой краски, и Фрэнк нарисовал на кузове машины белые звезды, а на крыше — буквы, обозначающие *гранфаллон*: США.

— И оставили банку краски под аркой? — сказал я.

— Откуда вы знаете? — спросил Кросби.

— Потом пришел один человек и написал стишок.

Я не стал спрашивать, как погибла, Анджела Хонникер-Коннерс, Филипп и Джулиан Каслы, потому что пришлось бы заговорить о Моне, а на это у меня еще не было сил.

Мне особенно не хотелось говорить о смерти Моны, потому что, пока мы ехали в такси, чета Кросби и крошка Ньют были как-то неестественно веселы.

Хэзел открыла мне секрет их хорошего настроения:

— Вот погоди, увидишь, как мы живем. У нас и еды хорошей много. А понадобится вода — мы просто разводим костер и растапливаем лед. Настоящее семейство робинзонов, вот мы кто.

123. О мышах и людях

Прошло полгода — странные полгода, когда я писал эту книгу. Хэзел совершенно точно назвала нашу небольшую компанию семейством робинзонов — мы пережили ураган, были отрезаны от всего мира, а потом жизнь для нас стала действительно очень легкой. В ней даже было какое-то очарование диснеевского фильма.



Правда, ни растений, ни животных в живых не осталось. Но благодаря *льду-девять* отлично сохранились туши свиней и коров и мелкая лесная дичь, сохранились выводки птиц и ягоды, ожидая, когда мы дадим им оттаять и сварим их. Кроме того, в развалинах Боливара можно было откопать целые тонны консервов. И мы были единственными людьми на всем Сан-Лоренцо. Ни о еде, ни о жилье и одежде заботиться не приходилось, потому что погода все время стояла сухая, мертвая и жаркая. И здоровье наше было до однообразия ровным. Наверно, все вирусы вымерли или же дремали.

Мы так ко всему приспособились, так приладились, что никто не удивился и не возразил, когда Хэзел сказала:

— Хорошо хоть комаров нету.

Она сидела на трехногой табуретке на той лужайке, где раньше стоял дом Фрэнка. Она шивала полосы красной, белой и синей материи. Как Бетси Росс¹, она шила американский флаг. И ни у кого не хватило духу сказать ей, что красная материя больше отдает оранжевым, синяя — цветом морской волны и что вместо пятидесяти пятиконечных американских звезд она вырезала пятьдесят шестиконечных звезд Давида.

Ее муж, всегда хорошо стряпавший, теперь тушил рагу в чугунном котелке над костром. Он нам все готовил, он очень любил это занятие.

— Вид приятный, и пахнет славно, — заметил я.

Он подмигнул мне:

— В повара не стрелять! Старается как может!

Нашему уютному разговору аккомпанировало издали тиканье автоматического передатчика, сконструированного Фрэнком и непрерывно выстукивающего «SOS». День и

¹ Бетси Росс (1752—1836) — легендарная создательница американского флага.

ночь передатчик взывал о помощи.

— Спаси-ии-те наши ду-уу-ши! — замурлыкала Хэзел в такт передатчику: — Спа-аси-те на-ши дуу-ши!

— Ну, как писанье? — спросила она меня.

— Славно, мамуля, славно.

— Когда вы нам почитаете?

— Когда будет готово, мамуля, как будет готово.

— Много знаменитых писателей вышло из хужеров.

— Знаю.

— И вы будете одним из многих и многих. — Она улыбнулась с надеждой. — А книжка смешная?

— Надеюсь, что да, мамуля.

— Люблю посмеяться.

— Знаю, что любите.

— Тут у каждого своя специальность, каждый что-то дает остальным. Вы пишете для нас смешные книжки, Фрэнк делает свои научные штуки, крошка Ньют — тот картинку рисует, я шью, а Лоу стряпает.

— Чем больше рук, тем работа легче. Старая китайская пословица.

— А они были умные, эти китайцы.

— Да, царство им небесное.

— Жаль, что я их так мало изучала.

— Это было трудно, даже в самых идеальных условиях.

— Вообще, мне жалко, что я так мало чему-то училась.

— Всем нам чего-то жаль, мамуля.

— Да, что теперь горевать над пролитым молоком!

— Да, как сказал поэт: «Мышам и людям не забыть печальных слов: Могло бы быть...»¹

— Как это красиво сказано — и как верно!

¹ Перифраз строки из стихотворения Р. Бернса «Полевой мыши».

124. Муравьиный питомник Фрэнка

Я с ужасом ждал, когда Хэзел закончит шитье флага, потому что она меня безнадежно впутала в свои планы. Она решила, что я согласился воздвигнуть эту идиотскую штуку на вершине горы Маккэйб.

— Будь мы с Лоу помоложе, мы бы сами туда полезли. А теперь можем только отдать вам флаг и пожелать успеха.

— Не знаю, мамуля, подходящее ли это место для флага.

— А куда же его еще?

— Придется пораскинуть мозгами, — сказал я. Попросив разрешения уйти, я спустился в пещеру посмотреть, что там затеял Фрэнк.

Ничего нового он не затевал. Он наблюдал за муравьиным питомником, который сделал сам. Он откопал несколько выживших муравьев в трехмерных развалинах Боливара и создал свой двухмерный мир, зажав сандвич из муравьев и земли между двумя стеклами. Муравьи не могли ничего сделать без ведома Фрэнка — он все видел и все комментировал.

Опыт вскоре показал, каким образом муравьи смогли выжить в мире, лишенном воды. Насколько я знаю, это были единственные насекомые, оставшиеся в живых, и выжили они потому, что скопьялись в виде плотных шариков вокруг зернышек льда-девять. В центре шарика их тела выделяли достаточно тепла, чтобы превратить лед в капельку росы, хотя при этом половина из них погибала. Росу можно было пить. Трупки можно было есть.

— Ешь, пей, веселись, завтра все равно умрешь! — сказал я Фрэнку и его крохотным каннибалам.

Но он повторял одно и то же. Он раздраженно объяснял мне, чему именно люди могут научиться у муравьев.

И я тоже отвечал как положено:

— Природа — великое дело, Фрэнк. Великое дело.

— Знаете, почему муравьям все удается? — спрашивал он меня в сотый раз. — Потому что они со-труд-ничают.

— Отличное слово, черт побери, «со-труд-ничество».

— Кто научил их делать воду?

— А меня кто научил делать лужи?

— Дурацкий ответ, и вы это знаете.

— Виноват.

— Было время, когда я все дурацкие ответы принимал всерьез. Прошло это время.

— Это шаг вперед.

— Я стал куда взрослее.

— За счет некоторых потерь в мировом масштабе. — Я мог говорить что угодно, в полной уверенности, что он все равно не слушает.

— Было время, когда каждый мог меня обставить, оттого что я не очень-то был в себе уверен.

— Ваши сложные отношения с обществом чрезвычайно упростились хотя бы потому, что число людей на земле значительно сократилось, — подсказал я ему. И снова он пропустил мои слова мимо ушей, как глухой.

— Нет, вы мне скажите, вы мне объясните: кто научил муравьев делать воду? — настаивал он без конца.

Несколько раз я предлагал обычное решение — все от Бога, он их и научил. Но, к сожалению, из разговора стало ясно, что эту теорию он и не принимает, и не отвергает. Просто он злился все больше и больше и упрямо повторял свой вопрос.

И я отошел от Фрэнка, как учили меня *Книги Боконона*. «Берегись человека, который упорно трудится, чтобы получить знания, а получив их, обнаруживает, что не стал ничуть умнее, — пишет Боконон. — И он начинает смертельно ненавидеть тех людей, которые так же невежественны, как он, но никакого труда к этому не приложили».

И я пошел искать нашего художника, нашего маленького Ньюта.



Крошка НЬЮТ писал развороченный пейзаж неподалеку от нашей пещеры, и, когда я к нему подошел, он меня попросил подъехать с ним в Боливар, поискать там краски. Сам он вести машину не мог. Ноги не доставали до педалей.

И мы поехали, а по дороге я его спросил, осталось ли у него хоть какое-нибудь сексуальное влечение. С грустью я ему поведал, что у меня ничего такого не осталось — ни снов на эту тему, ничего.

— Мне раньше снились великанши двадцати, тридцати, сорока футов ростом, — сказал мне Ньют. — А теперь? Господи, да я даже не могу вспомнить, как выглядела моя лилипуточка.

Я вспомнил, что когда-то я читал про туземцев Тасмании, ходивших всегда голышом. В семнадцатом веке, когда их открыли белые люди, они не знали ни земледелия, ни скотоводства, ни строительства, даже огня как будто не знали. И в глазах белых людей они были такими ничтожествами, что те первые колонисты, бывшие английские каторжники, охотились на них для забавы. И туземцам жизнь показалась такой непривлекательной, что они совсем перестали размножаться.

Я сказал Ньюту, что именно от безнадежности нашего положения мы стали бессильными.

Ньют высказал неглупое предположение:

— Мне кажется, что все любовные радости гораздо больше, чем полагают, связаны с радостной мыслью, что продолжаешь род человеческий.

— Конечно, будь с нами женщина, способная рожать, положение изменилось бы самым коренным образом. Но наша старушка Хэзел уже давным-давно не способна родить даже идиота-дауна.

Оказалось, что Ньют очень хорошо знает, что такое идиоты-дауны. Когда-то он учился в специальной школе для неполноценных детей, и среди его одноклассников было несколько даунов.

— Одна девочка-даун, звали ее Мирна, писала лучше всех — я хочу сказать, почерк у нее был самый лучший, а вовсе не то, что она писала. Господи, сколько лет я о ней и не вспоминал!

— А школа была хорошая?

— Я только помню слова нашего директора — он их повторял постоянно. Вечно он на нас кричал по громкоговорителю за какие-нибудь провинности и всегда начинал одинаково: «Мне до смерти надоело...»

— Довольно точно соответствует моему теперешнему настроению.

— У вас такое настроение?

— Вы рассуждаете как боколист, Ньют.

— А почему бы и нет? Насколько мне известно, боколизм — единственная религия, уделившая внимание лилипутам.

Когда я не писал свою книгу, я изучал *Книги Боконона*, но как-то пропустил упоминание о лилипутах. Я был очень благодарен Ньюту за то, что он обратил внимание на это место, потому что тут, в короткое четверостишие, Боконон вложил парадоксальную мысль, что существует печальная необходимость лгать о реальной жизни и еще более печальная невозможность солгать о ней.

Важничает карлик.

Он выше всех людей.

Не мешает малый рост

Величию идей.

126. *Играйте, тихие флейты!*

— Все-таки удивительно мрачная религия! — воскликнул я.

И я перевел разговор в область утопий и стал рассуждать о том, что могло бы быть и что еще может быть, если мир вдруг оттает.

Но Боконон и об этом подумал, он даже целый том посвятил утопиям. *Седьмой том* своих сочинений он назвал: «Республика Боконона».

В этой книге много жутких афоризмов:

«Рука, снабжающая товарами кафе и лавки, правит миром». «Сначала организуем в нашей республике кафе, продуктовые лавки, газовые камеры и национальный спорт. После этого можно написать нашу конституцию».

Я обругал Боконона черномазым жуликом и снова переменил тему. Я заговорил о выдающихся, героических поступках отдельных людей. Особенно я хвалил Джулиана Касла и его сына за то, как они пошли навстречу смерти. Еще бушевали смерчи, а они уже ушли пешком в джунгли, в Обитель Милосердия и Надежды, чтобы проявить милосердие и подать надежду, насколько это было возможно. И я видел не меньше величия в смерти бедной Анджелы. Она нашла свой кларнет среди развалин Боливара и тут же стала на нем играть, пренебрегая тем, что на мундштук могли попасть крупинки *льда-девять*.

— «Играйте, тихие флейты!» — глухо пробормотал я.

— Ну что ж, может быть, вы тоже найдете хороший способ умереть, — сказал Ньют.

Так мог говорить только боконист.

Я выболтал ему свою мечту — взобраться на вершину горы Маккэйб с каким-нибудь великолепным символом в руках и водрузить его там.

На миг я даже бросил руль и развел руками — никакого символа у меня не было.

— А какой, к черту, символ можно найти, Ньют? Какой, к черту, символ? — Я снова взялся за руль: — Вот он, конец света, и вот он я, один из последних людей на свете, а вот она, самая высокая гора в этом краю. И я понял, к чему вел меня мой *карасс*, Ньют. Он день и ночь — может, полмиллиона лет подряд — работал на то, чтобы загнать меня на эту гору. — Я покрутил головой, чуть не плача: — Но что, скажите, бога ради, что я должен туда водрузить?

Я поглядел вокруг из машины невидящими глазами, настолько невидящими, что, лишь проехав больше мили, я понял, что взглянул прямо в глаза старому негру, живому, старику, сидевшему у обочины.

И тут я затормозил. И остановился. И закрыл глаза рукой.

— Что с вами? — спросил Ньют.

— Я видел Боконона.

127. *Конец*

Он сидел на камне. Он был бос. Ноги его были покрыты изморозью *льда-девять*. Единственной его одеждой было белое одеяло с синими помпонами. На одеяле было вышито «Каса Мона».

Он не обратил на нас внимания. В одной руке он держал карандаш, в другой — лист бумаги.

— Боконон?

— Да.

— Можно спросить, о чем вы думаете?

— Я думал, молодой человек, о заключительной фразе *Книг Боконона*. Пришло время дописать последнюю фразу.

— Ну и как — удалось?

Он пожал плечами и подал мне листок бумаги.
Вот что я прочитал:

Будь я помоложе, я написал бы историю человеческой глупости, взобрался бы на гору Маккэйб и лег на спину, подложив под голову эту рукопись. И я взял бы с земли сине-белую отраву, превращающую людей в статуи. И я стал бы статуей, и лежал бы на спине, жутко скаля зубы и показывая длинный нос — сами знаете кому!

1963



*Посвящается
Мэри О'Хэйр и Герхарду Мюллеру*

Ревут быки.
Теленок мычит.
Разбудили Христа-младенца,
Но он молчит.

1

Почти все это произошло на самом деле. Во всяком случае, про войну тут почти все правда. Одного моего знакомого и в самом деле расстреляли в Дрездене за то, что он взял чужой чайник. Другой знакомый и в самом деле грозился, что перебьет всех своих личных врагов после войны при помощи наемных убийц. И так далее. Имена я все изменил.

Я действительно ездил в Дрезден на Гуггенхаймовскую стипендию (благослови их Бог) в 1967 году. Город очень напоминал Дантон в штате Огайо, только больше площадей и скверов, чем в Дантоне. Наверно, там, в земле, тонны искрошенных в труху человеческих костей.

Ездил я туда со старым однополчанином, Бернардом В. О'Хэйром, и мы подружился с таксистом, который возил нас на бойню номер пять, куда нас, военнопленных, запирали на ночь. Звали таксиста Герхард Мюллер. Он нам рассказал, что побывал в плену у американцев. Мы его спросили, как живет при коммунистах, и он сказал, что сначала было плохо, потому что всем приходилось страшно много работать и не хватало ни еды, ни одежды, ни жилья. А теперь стало много лучше. У него уютная квартирка, дочь учится, получает отличное образование. Мать его сгорела во время бомбежки Дрездена. Такие дела.

Он послал О'Хэйру открытку к Рождеству, и в ней было написано так: «Желаю Вам и Вашей семье, а также Вашему другу веселого Рождества и счастливого Нового года и надеюсь, что мы снова встретимся в мирном и свободном мире, в моем такси, если захочет случай».

Мне очень нравится фраза «если захочет случай».

Ужасно неохота рассказывать вам, чего мне стоила эта треклятая книжонка — сколько денег, времени, волнений. Когда я вернулся домой после Второй мировой войны, двадцать три года назад, я думал, что мне будет очень легко написать о разрушении Дрездена, потому что надо было только рассказывать все, что я видел. И еще я думал, что выйдет высокохудожественное произведение или, во всяком случае, оно даст мне много денег, потому что тема такая важная.

Но я никак не мог придумать нужные слова про Дрезден, во всяком случае, на целую книжку их не хватало. Да слова не приходят и теперь, когда я стал старым пердуном, с привычными воспоминаниями, с привычными сигаретами и взрослыми сыновьями.

И я думаю: до чего бесполезны все мои воспоминания о Дрездене и все же до чего соблазнительно было писать о Дрездене. И у меня в голове вертится старая озорная песенка:

Какой-то ученый доцент
Сердился на свой инструмент:
«Мне здоровье сорвал,
Капитал промотал,
А работать не хочешь, нахал!»

И вспоминаю я еще одну песенку:

Зовусь я Ион Йонсен,
Мой дом — штат Висконсин,

В лесу я работаю тут.
Кого ни встречаю,
Я всем отвечаю,
Кто спросит:
«А как вас зовут?»
Зовусь я Ион Йонсен,
Мой дом — штат Висконсин...

И так далее, до бесконечности.

Все эти годы знакомые меня часто спрашивали, над чем я работаю, и я обычно отвечал, что главная моя работа — книга о Дрездене.

Так я ответил и Гаррисону Старру, кинорежиссеру, а он поднял брови и спросил:

— Книга антивоенная?

— Да, — сказал я, — похоже на то.

— А знаете, что я говорю людям, когда слышу, что они пишут антивоенные книжки?

— Не знаю. Что же вы им говорите, Гаррисон Стар?

— Я им говорю: а почему бы вам вместо этого не написать антиледниковую книжку?

Конечно, он хотел сказать, что войны всегда будут и что остановить их так же легко, как остановить ледники. Я тоже так думаю. И если бы войны даже не надвигались на нас, как ледники, все равно осталась бы обыкновенная старушка-смерть.

Когда я был помоложе и работал над своей пресловутой дрезденской книгой, я запросил старого своего однополчанина Бернарда В. О'Хэйра, можно ли мне приехать к нему. Он был окружным прокурором в Пенсильвании. Я был писателем на мысе Код. На войне мы были рядовыми разведчиками в пехоте. Никогда мы не надеялись на хорошие заработки после войны, но оба устроились неплохо.

Я поручил Центральной телефонной компании отыскать его. Они здорово это умеют. Иногда по ночам у меня бывают такие припадки, с алкоголем и телефонными звонками. Я напиваюсь, и жена уходит в другую комнату, потому что от меня несет горчичным газом и розами. А я, очень серьезно и элегантно, звоню по телефону и прошу телефонистку соединить меня с кем-нибудь из друзей, кого я давно потерял из виду.

Так я отыскал и О'Хэйра. Он низенький, а я высокий. На войне нас звали Пат и Паташон. Нас вместе взяли в плен. Я сказал ему по телефону, кто я такой. Он сразу поверил. Он сразу спал. Он читал. Все остальные в доме спали.

— Слушай, — сказал я. — Я пишу книжку про Дрезден. Ты бы помог мне кое-что вспомнить. Нельзя ли мне приехать к тебе, повидаться, мы бы выпили, поговорили, вспомнили прошлое.

Энтузиазма он не проявил. Сказал, что помнит очень мало. Но все же сказал: приезжай.

— Знаешь, я думаю, что развязкой в книге должен быть расстрел этого несчастного Эдгара Дарби, — сказал я. — Подумай, какая ирония. Целый город горит, тысячи людей гибнут. А потом этого самого солдата-американца арестовывают среди развалин немцы за то, что он взял чайник. И судят по всей форе и расстреливают.

— Гм-мм, — сказал О'Хэйр.

— Ты согласен, что это должно стать развязкой?

— Ничего я в этом не понимаю, — сказал он, — это твоя специальность, а не моя.

* * *

Как специалист по развязкам, завязкам, характеристикам, изумительным диалогам, напряженнейшим сценам и столкновениям, я много раз набрасывал план книги о Дрездене.



Лучший план, или, во всяком случае, самый красивый план, я набросал на куске обоев.

Я взял цветные карандаши у дочки и каждому герою придал свой цвет. На одном конце куска обоев было начало, на другом — конец, а в середине была середина книги. Красная линия встречалась с синей, а потом — с желтой, и желтая линия обрывалась, потому что герой, изображенный желтой линией, умирал. И так далее. Разрушение Дрездена изображалось вертикальным столбцом оранжевых крестиков, и все линии, оставшиеся в живых, проходили через этот переплет и выходили с другого конца.

Конец, где все линии обрывались, был в свекловичном поле на Эльбе, за городом Галле. Лил дождь. Война в Европе окончилась несколько недель назад. Нас построили в шеренги, и русские солдаты охраняли нас: англичан, американцев, голландцев, бельгийцев, французов, новозеландцев, австралийцев — тысячи бывших военнопленных.

А на другом конце поля стояли тысячи русских, и поляков, и югославы, и так далее, и их охраняли американские солдаты. И там, под дождем, шел обмен — одного на одного. О'Хэйри залезли в американский грузовик с другими солдатами. У О'Хэйра сувениров не было. А почти у всех других были. У меня была — и до сих пор есть — парадная сабля немецкого летчика. Отчаянный америкашка, которого я назвал в этой книжке Поль Лаззаро, вез около кварты алмазов, изумрудов, рубинов и всякого такого. Он их снимал с мертвецов в подвалах Дрездена. Такие дела.

Дурак-англичанин, потерявший где-то все зубы, вез свой сувенир в парусиновом мешке. Мешок лежал на моих ногах. Англичанин то и дело заглядывал в мешок, и вращал глазами, и крутил шеей, стараясь привлечь жадные взоры окружающих. И все время стучал меня мешком по ногам.

Я думал, это случайно. Но я ошибался. Ему ужасно хотелось кому-нибудь показать, что у него в мешке, и он решил до-



вериться мне. Он перехватил мой взгляд, подмигнул и открыл мешок. Там была гипсовая модель Эйфелевой башни. Она вся была вызолочена. В нее были вделаны часы.

— Видал красоту? — сказал он.

И нас отправили на самолетах в летний лагерь во Франции, где нас поили молочными коктейлями с шоколадом и кормили всякими деликатесами, пока мы не покрылись молодым жирком. Потом нас отправили домой, и я женился на хорошенькой девушке, тоже покрытой молодым жирком.

И мы завели ребят.

А теперь все они выросли, а я стал старым пердуном с привычными воспоминаниями, привычными сигаретами. Зовусь я Ион Йонсен, мой дом — штат Висконсин. В лесу я работаю тут.

Иногда поздно ночью, когда жена уходит спать, я пытаюсь позвонить по телефону старым своим приятельницам.

— Прошу вас, барышня, не можете ли вы дать мне номер телефона миссис такой-то, кажется, она живет там-то.

— Простите, сэр. Такой абонент у нас не значится.

— Спасибо, барышня. Большое вам спасибо.

И я выпускаю нашего пса погулять, и я впускаю его обратно, и мы с ним говорим по душам. Я ему показываю, как я его люблю, а он мне показывает, как он любит меня. Ему не противен запах горчичного газа и роз.

— Хороший ты малый, Сэнди, — говорю я ему. — Чувствуешь? Ты молодчага, Сэнди.

Иногда я включаю радио и слушаю беседу из Бостона или Нью-Йорка. Не выношу музыкальных записей, когда выпью как следует.

Рано или поздно я ложусь спать, и жена спрашивает меня, который час. Ей всегда надо знать время. Иногда я не знаю, который час, и говорю:

— Кто его знает...

Иногда я раздумываю о своем образовании. После Второй мировой войны я некоторое время учился в Чикагском университете. Я был студентом факультета антропологии. В то время нас учили, что абсолютно никакой разницы между людьми нет. Может быть, там до сих пор этому учат. И еще нас учили, что нет людей смешных, или противных, или злых. Незадолго перед смертью мой отец мне сказал:

— Знаешь, у тебя ни в одном рассказе нет злодеев.

Я ему сказал, что этому, как и многому другому, меня учили в университете после войны.

Пока я учился на антрополога, я работал полицейским репортером в знаменитом Бюро городских происшествий в Чикаго за двадцать восемь долларов в неделю. Как-то меня перекинули из ночной смены в дневную, так что я работал шестнадцать часов подряд. Нас финансировали все городские газеты, и АП, и ЮП¹, и все такое. И мы давали сведения о процессах, о происшествиях, о полицейских участках, о пожарах, о службе спасения на озере Мичиган, и все такое. Мы были связаны со всеми финансировавшими нас учреждениями путем пневматических труб, проложенных под улицами Чикаго.

Репортеры передавали по телефону сведения журналистам, а те, слушая в наушники, отпечатывали отчеты о происшествиях на восковках, размножали на ротаторе, вкладывали оттиски в медные с бархатной прокладкой патроны, и пневматические трубы глотали эти патроны. Самыми прожженными репортерами и журналистами были женщины, занявшие места мужчин, ушедших на войну.

И первое же происшествие, о котором я дал отчет, мне пришлось продиктовать по телефону одной из этих чертовых

¹ АП — Ассошиэйтед пресс, ЮП — Юнайтед пресс.

девок. Дело шло о молодом ветеране войны, которого устроили лифтером на лифт устаревшего образца в одной из контор. Двери лифта на первом этаже были сделаны в виде чугунной кружевной решетки. Чугунный плющ вился и переплетался. Там была и чугунная ветка с двумя целующимися голубками.

Ветеран собирался спустить свой лифт в подвал, и он закрыл двери и стал быстро спускаться, но его обручальное кольцо зацепилось за одно из украшений. И его подняло на воздух, и пол лифта ушел у него из-под ног, а потолок лифта раздавил его. Такие дела.

Я все это передал по телефону, и женщина, которая должна была написать все это, спросила меня:

— А жена его что сказала?

— Она еще ничего не знает, — сказал я. — Это только что случилось.

— Позвоните ей и возьмите у нее интервью.

— Что-о-о?

— Скажите, что вы капитан Финн из полицейского управления. Скажите, что у вас есть печальная новость. И расскажите ей все, и выслушайте, что она скажет.

Так я и сделал. Она сказала все, что можно было ожидать. Что у них ребенок. Ну и вообще...

Когда я приехал в контору, эта журналистка спросила меня (просто из бабьего любопытства), как выглядел этот раздавленный человек, когда его расплющило.

Я ей рассказал.

— А вам было неприятно? — спросила она. Она жевала шоколадную конфету «Три мушкетера».

— Что вы, Нэнси, — сказал я. — На войне я видел кой-чего и похуже.

Я уже тогда обдумывал книгу про Дрезден. Тогдашним американцам эта бомбежка вовсе не казалась чем-то выдающим-

ся. В Америке немногие знали, насколько это было страшнее, чем, например, Хиросима. Я и сам не знал. О дрезденской бомбежке мало что просочилось в печать.

Случайно я рассказал одному профессору Чикагского университета — мы встретились на коктейле — о налете, который мне пришлось видеть, и о книге, которую я собираюсь написать. Он был членом так называемого Комитета по изучению социальной мысли. И он стал мне рассказывать про концлагеря и про то, как фашисты делали мыло и свечи из жира убитых евреев, и всякое другое.

Я мог только повторять одно и то же:

— Знаю. Знаю. *Знаю*.

Конечно, Вторая мировая война всех очень ожесточила. А я стал заведующим отделом внешних связей при компании «Дженерал электрик», в Шенектеди, штат Нью-Йорк, и добровольцем пожарной дружины в поселке Альплос, где я купил свой первый дом. Мой начальник был одним из самых крутых людей, каких я встречал. Надеюсь, что никогда больше не столкнусь с таким крутым человеком, как бывший мой начальник. Он был раньше подполковником, служил в отделе связи компании в Балтиморе. Когда я служил в Шенектеди, он примкнул к голландской реформистской церкви, а церковь эта тоже довольно крутая.

Часто он сиздевкой спрашивал меня, почему я не дослужился до офицерского чина. Как будто я сделал что-то скверное.

Мы с женой давно спустили наш молодой жирок. Пошли наши тощие годы. И дружили мы с тощими ветеранами войны и с их тощенькими женами. По-моему, самые симпатичные из ветеранов, самые добрые, самые занятные и ненавидящие войну больше всех — это те, кто сражался по-настоящему.

Тогда я написал в управление военно-воздушных сил, чтобы выяснить подробности налета на Дрезден: кто приказал бомбить город, сколько было послано самолетов, зачем нужен

был налет и что этим выиграли. Мне ответил человек, который, как и я, занимался внешними связями. Он писал, что очень сожалеет, но все сведения до сих пор совершенно секретны.

Я прочел письмо вслух своей жене и сказал:

— Господи ты боже мой, совершенно секретны — *да от кого же?*

Тогда мы считали себя членами Мировой федерации. Не знаю, кто мы теперь. Наверно, телефонщики. Мы ужасно много звоним по телефону — во всяком случае, я, особенно по ночам.

Через несколько недель после телефонного разговора с моим старым дружкой-однополчанином Бернардом В. О'Хэйром я действительно съездил к нему в гости. Было это году в 1964-м или около того — в общем, в последний год Международной выставки в Нью-Йорке. Увы, проходят быстротечные годы. Зовусь я Ион Йонсен... Какой-то ученый доцент...

Я взял с собой двух девчушек: мою дочку Нанни и ее лучшую подружку Элисон Митчелл. Они никогда не выезжали с мыса Код. Когда мы увидели реку, пришлось остановить машину, чтобы они постояли, поглядели, подумали. Никогда в жизни они еще не видели воду в таком длинном, узком и несоленом виде. Река называлась Гудзон. Там плавали карпы, и мы их видели. Они были огромные, как атомные подводные лодки.

Видели мы и водопады, потоки, скачущие со скал в долину Делавера. Много чего надо было посмотреть, и я останавливал машину. И всегда пора было ехать, всегда — пора ехать. На девчушках были нарядные белые платья и нарядные черные туфли, чтобы все встречные видели, какие это хорошие девочки.

— Пора ехать, девочки, — говорил я.

И мы уезжали. И солнце зашло, и мы поужинали в итальянском ресторанчике, а потом я постучал в двери красного каменного дома Бернарда В. О'Хэйра. Я держал бутылку ирландского виски, как колокольчик, которым созывают к обеду.

Я познакомился с его милой женой, Мэри, которой я посвящаю эту книгу. Еще я посвящаю книгу Герхарду Мюллеру, дрезденскому таксисту. Мэри О'Хэйр — медицинская сестра; чудесное занятие для женщины.

Мэри полюбовалась двумя девчушками, которых я привез, познакомила их со своими детьми и всех отправила наверх — играть и смотреть телевизор. И только когда все дети ушли, я почувствовал: то ли я не нравлюсь Мэри, то ли ей что-то в этом вечере не нравится. Она держалась вежливо, но холодно.

— Славный у вас дом, уютный, — сказала я, и это была правда.

— Я вам отвела место, где вы сможете поговорить, там вам никто не мешает, — сказала она.

— Отлично, — сказал я и представил себе два глубоких кожаных кресла у камина в кабинете с деревянными панелями, где два старых солдата смогут выпить и поговорить. Но она привела нас на кухню. Она поставила два жестких деревянных стула у кухонного стола с белой фаянсовой крышечкой. Свет двухсотвечовой лампы над головой, отражаясь в этой крышечке, дико резал глаза. Мэри приготовила нам операцию. Она поставила на стол один-единственный стакан для меня. Она объяснила, что ее муж после войны не переносит спиртных напитков.

Мы сели за стол. О'Хэйр был смущен, но объяснять мне, в чем дело, он не стал. Я не мог себе представить, чем я мог так рассердить Мэри. Я был человек семейный. Женат был только раз. И алкоголиком не был. И ничего плохого ее мужу во время войны не сказал.

Она налила себе кока-колы и с грохотом высыпала лед из морозилки над раковиной нержавеющей стали. Потом она ушла в другую половину дома. Но и там она не сидела спокойно. Она металась по всему дому, хлопала дверьми, даже двигала мебель, чтобы на чем-то сорвать злость.

Я спросил О'Хэйра, что я такого сделал или сказал, чем я ее обидел.

— Ничего, ничего, — сказал он. — Не беспокойся. Ты тут ни при чем.

Это было очень мило с его стороны. Но он врал. Я тут был очень при чем.

Мы попытались не обращать внимания на Мэри и вспомнить войну. Я отпил немножко из бутылки, которую принес. И мы посмеивались, улыбались, как будто нам что-то припомнилось, но ни он, ни я ничего стоящего вспомнить не могли. О'Хэйр вдруг вспомнил одного малого, который напал на винный склад в Дрездене до бомбежки, и нам пришлось отвозить его домой на тачке. Из этого книжку не сделаешь. Я вспомнил двух русских солдат. Они везли полную телегу будильников. Они были веселы и довольны. Они курили огромные самокрутки, свернутые из газеты.

Вот примерно все, что мы вспомнили, а Мэри все еще шумела. Потом она пришла на кухню налить себе кока-колы. Она выхватила еще одну морозилку из холодильника и грохнула лед в раковину, хотя льда было предостаточно.

Потом повернулась ко мне — чтобы я видел, как она сердится и что сердится она на меня. Очевидно, она все время разговаривала сама с собой, и фраза, которую она сказала, прозвучала как отрывок длинного разговора.

— Да вы же были тогда совсем *детьми!* — сказала она.

— Что? — переспросил я.

— Вы были на войне просто детьми, как наши ребята наверху.

Я кивнул головой — ее правда. Мы были на войне *девами неразумными*, едва расставшимися с детством.

— Но вы же так не напишете, верно? — сказала она. Это был не вопрос — это было обвинение.

— Я... я сам не знаю, — сказал я.

— Зато я знаю, — сказала она. — Вы притворитесь, что вы были вовсе не детьми, а настоящими мужчинами, и вас в кино будут играть всякие Фрэнки Синатры и Джоны Уэйны или

еще какие-нибудь знаменитости, скверные старики, которые обожают войну. И война будет показана красиво, и пойдут войны одна за другой. А драться будут дети, вон как те наши дети наверху.

И тут я все понял. Вот отчего она так рассердилась.

Она не хотела, чтобы на войне убивали ее детей, чьих угодно детей. И она думала, что книжки и кино тоже подстрекают к войнам.

И тут я поднял правую руку и дал ей торжественное обещание.

— Мэри, — сказал я, — боюсь, что эту свою книгу я никогда не кончу. Я уже написал тысяч пять страниц и все выбросил. Но если я когда-нибудь эту книгу кончу, то даю вам честное слово, что никакой роли ни для Фрэнка Синатры, ни для Джона Уэйна в ней не будет. И знаете что, — добавил я, — я назову книгу «Крестовый поход детей».

После этого она стала моим другом.

Мы с О'Хэйром бросили вспоминать, перешли в гостиную и заговорили про всякое другое. Нам захотелось подробнее узнать о настоящем крестовом походе детей, и О'Хэйр достал книжку из своей библиотеки под названием «Удивительные заблуждения народов и безумства толпы», написанную Чарльзом Макэем, доктором философических наук, и изданную в Лондоне в 1841 году.

Макэй был неважного мнения обо всех крестовых походах. Крестовый поход детей казался ему только немного мрачнее, чем десять крестовых походов взрослых. О'Хэйр прочел вслух этот прекрасный отрывок:

Историки сообщают нам, что крестоносцы были людьми дикими и невежественными, что вело их неприкрытое ханжество и что путь их был залит слезами и кровью. Но романисты, с другой стороны, приписывают им благочес-



тие и героизм и в самых пламенных красках рисуют их добродетели, их великодушие, вечную славу, какую они заслужили, возданную им по заслугам, и неизмеримые благоденствия, оказанные ими делу христианства.

А дальше О'Хэйр прочел вот что:

Но каковы же были истинные результаты всех этих битв? Европа растратила миллионы своих сокровищ и пролила кровь двух миллионов своих сынов, а за это кучка драчливых рыцарей овладела Палестиной лет на сто.

Макэй рассказывает нам, что крестовый поход детей начался в 1213 году, когда у двух монахов зародилась мысль собрать армии детей во Франции и Германии и продать их в рабство на севере Африки. Тридцать тысяч детей вызвалось отправиться, как они думали, в Палестину.

Должно быть, это были дети без призора, без дела, какими кишат большие города, — пишет Макэй, — дети, выпестованные пороками и дерзостью и готовые на все.

Папа Иннокентий Третий тоже считал, что дети отправляются в Палестину, и пришел в восторг. «Дети бдят, пока мы дремлем!» — воскликнул он.

Большая часть детей была отправлена на кораблях из Марселя, и примерно половина погибла при кораблекрушениях. Остальных высадили в Северной Африке, где их продали в рабство.

По какому-то недоразумению часть детей сочла местом отправки Геную, где их не подстерегали корабли рабовладельцев. Их приютили, накормили, расспросили добрые люди и, дав им немножко денег и много советов, отправили восвояси.

— Да здравствуют добрые жители Генуи, — сказала Мэри О'Хэйр.

* * *

В эту ночь меня уложили спать в одной из детских. О'Хэйр положил мне на ночной столик книжку. Называлась она «Дрезден. История, театры и галерея», автор Мэри Энделл. Книга вышла в 1908 году, и предисловие начиналось так:

Надеемся, что эта небольшая книга принесет пользу. В ней сделана попытка дать читающей английской публике обзор Дрездена с птичьего полета, объяснить, как город обрел свой архитектурный облик, как он развивался в музыкальном отношении благодаря гению нескольких человек, а также обратить взор читателя на те бессмертные явления в искусстве, которые привлекают в Дрезденской галерее внимание тех, кто ищет неизгладимых впечатлений.

Я еще немножко почитал историю города:

В 1760 году Дрезден был осажден пруссаками. Пятнадцатого июля началась канонада. Картинную галерею охватил огонь. Многие картины были перенесены в Кенигсштейн, но некоторые сильно пострадали от осколков снарядов, особенно «Крещение Христа» кисти Франсиа. Вслед за тем величественная башня Крестовой церкви, с которой день и ночь следили за передвижением противника, была охвачена пламенем. В противовес печальной судьбе Крестовой церкви церковь Пресвятой Девы осталась нетронутой, и от каменного ее купола прусские снаряды отлетали, как дождевые капли. Наконец Фридриху пришлось снять осаду, так как он узнал о падении Глаца — средоточия его недавних завоеваний. «Нам должно отступить в Силезию, дабы не потерять все», — сказал он.

Разрушения в Дрездене были неисчислимы. Когда Гете, юным студентом, посетил город, он еще застал унылые руины: «С купола церкви Пресвятой Девы я увидел сии горькие останки, рассеянные среди превосходной планировки города; и тут церковный служака стал похваляться передо мной искусством зодчего, который в предвидении столь нежеланных случайностей укрепил церковь и купол ее против снарядного огня. Добрый служитель указал мне затем на руины, видневшиеся повсюду, и сказал раздумчиво и кратко: «Дело рук врага».

На следующее утро мы с девчурками пересекли реку Дела-вар, там, где ее пересекал Джордж Вашингтон. Мы поехали на Международную выставку в Нью-Йорк, поглядели на прошлое с точки зрения автомобильной компании Форда и Уолта Диснея и на будущее — с точки зрения компании «Дженерал моторс»...

А я спросил себя о настоящем: какой оно ширины, какой глубины, сколько мне из него достанется?

В течение двух следующих лет я вел творческий семинар в знаменитом кабинете писателя при университете штата Айова. Я попал в невероятнейший переплет, потом выбрался из него: преподавал я во вторую половину дня. По утрам я писал. Мешать мне не разрешалось. Я работал над моей знаменитой книгой о Дрездене. А где-то там милейший человек по имени Симор Лоуренс заключил со мной договор на три книги, и я ему сказал:

— Ладно, первой из трех будет моя знаменитая книга про Дрезден...

Друзья Симора Лоуренса зовут его «Сэм», и теперь я говорю Сэму:

— Сэм, вот она, эта книга.

* * *

Книга такая короткая, такая путаная, Сэм, потому что ничего вразумительного про бойню написать нельзя. Всем положено умереть, навеки замолчать и уже никогда ничего не хотеть. После бойни должна наступить полнейшая тишина, да и вправду все затихает, кроме птиц.

А что скажут птицы? Одно они только и могут сказать о бойне — «пьюти-фьют».

Я сказал своим сыновьям, чтобы они ни в коем случае не принимали участия в бойнях и чтобы, услышав об избиении врагов, они не испытывали бы ни радости, ни удовлетворения.

И еще я им сказал, чтобы они не работали на те компании, которые производят механизмы для массовых убийств, и с презрением относились бы к людям, считающим, что такие механизмы нам необходимы.

Как я уже сказал, я недавно ездил в Дрезден со своим другом О'Хэйром. Мы ужасно много смеялись и в Гамбурге, и в Берлине, и в Вене, и в Зальцбурге, и в Хельсинки, и в Ленинграде тоже. Мне это очень пошло на пользу, потому что я увидел настоящую обстановку для тех выдуманных истории, которые я когда-нибудь напишу. Одна будет называться «Русское барокко», другая «Целоваться воспрещается» и еще одна «Долларовый бар», а еще одна «Если захочет случай» — и так далее.

Да, и так далее.

Самолет «Люфтганзы» должен был вылететь из Филадельфии, через Бостон, во Франкфурт. О'Хэйр должен был сесть в Филадельфию, а я в Бостоне, и — в путь! Но Бостон был залит дождем, и самолет прямо из Филадельфии улетел во Франкфурт. И я стал непассажем в бостонском тумане, и «Люфт-

ганза» посадила меня в автобус с другими непассажирами и отправила нас в отель на ночевку.

Время остановилось. Кто-то шалил с часами, и не только с электрическими часами, но и с будильниками. Минутная стрелка на моих часах прыгала — и проходил год, и потом она прыгала снова.

Я ничего не мог поделаться. Как землянин, я должен был верить часам — и календарям тоже.

У меня были с собой две книжки, я их собирался читать в самолете. Одна была сборник стихов Теодора Ретке «Слова на ветер», и вот что я там нашел:

Проснусь — и медлю отойти от сна.
Ищу судьбу везде, где страха нет.
Учусь идти, куда мой путь ведет.

Вторая моя книжка была написана Эрикой Островской и называлась «Селин и его видение мира». Селин был храбрым солдатом французской армии в Первой мировой войне, пока ему не раскроили череп. После этого он страдал бессонницей, шумом в голове. Он стал врачом и в дневное время лечил бедняков, а всю ночь писал странные романы. Искусство невозможно без пляски со смертью, писал он.

Истина — в смерти, — писал он. — Я старательно боролся со смертью, пока мог... я с ней плясал, осыпал ее цветами, кружил в вальсе... украшал лентами... щекотал ее...

Его преследовала мысль о времени. Мисс Островская напомнила мне потрясающую сцену из романа «Смерть в кредит», где Селин пытается остановить суету уличной толпы. С его страниц несется визг: «*Остановите их... не давайте им двигаться... Скорей, заморозьте их... навеки... Пусть так и стоят...*»

* * *

Я искал в Библии, на столике в мотеле, описание какого-нибудь огромного разрушения.

*Солнце возило над землею, и Лот пришел в Сигор.
И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба.
И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли.*

Такие дела.

В обоих городах, как известно, было много скверных людей. Без них мир стал лучше. И конечно, жене Лота не велено было оглядываться туда, где были все эти люди и их жилища. Но она оглянулась, за что я ее и люблю, потому что это было так по-человечески.

И она превратилась в соляной столп. Такие дела.

Нельзя людям оглядываться. Больше я этого делать, конечно, не стану. Теперь я кончил свою военную книгу. Следующая книга будет очень смешная.

А эта книга не удалась, потому что ее написал соляной столп. Начинается она так:

*«Послушайте:
Билли Пилигрим отключился от времени».*

А кончается так:

«Пьюти-фьют?»

2

Послушайте:

Билли Пилигрим отключился от времени.

Билли лег спать пожилым вдовцом, а проснулся в день свадьбы. Он вошел в дверь в 1955 году, а вышел из другой двери в 1941-м. Потом вернулся через ту же дверь и очутился в 1964 году. Он говорит, что много раз видел и свое рождение, и свою смерть и то и дело попадал в разные другие события своей жизни между рождением и смертью.

Так говорил Билли.

Его перебрасывает во времени рывками, и он не властен над тем, куда сейчас попадет, да и не всегда это приятно. Он постоянно нервничает, как актер перед выступлением, потому что не знает, какую часть своей жизни ему сейчас придется сыграть.

Билли родился в 1922 году в Илиуме, штат Нью-Йорк, в семье парикмахера. Он был странноватым мальчиком и стал странноватым юнцом — высоким и слабым, — похожим на бутылку из-под кока-колы. Он окончил илиумскую гимназию в первой десятке своего класса и проучился один семестр на вечерних курсах оптометристов в том же Илиуме, перед тем как его призвали на военную службу: шла Вторая мировая война. Во время этой войны отец его погиб на охоте. Такие дела.



welcoming a fighting man home from the n

all times. Home at last ... to wife, to child and to family. Christmas in the air and the tree lighted brightly. All the of a lifetime rolled into one moment. A home-like, truly a moment where the old familiar phrase *Have a Coke* adds refreshing touch, Coca-Cola belongs to just such a time ly, warm family feeling. That's why you find it in homes small across the nation ... the drink that adds life and o living. A happy moment is an occasion for Coke—and y American custom, the pause that refreshes.

ing men meet up with Coca-Cola many places overseas, where it's bottled Coca-Cola has been a globe-traveler "since way back when".



"Coca-Cola" and its old "Coke" are the registered marks which distinguish us of The Coca-Cola C

Билли воевал в пехоте в Европе — и попал в плен к немцам. После демобилизации в 1945 году Билли снова поступил на оптометрические курсы. В последнем семестре он обручился с дочкой основателя и владельца курсов, а потом заболел легким нервным расстройством.

Его поместили в военный госпиталь близ Лейк-Плэсида, лечили электрошоком и вскоре выписали. Он женился на своей нареченной, окончил курсы, и тесть устроил его у себя в деле. Илиум — особенно выгодное место для оптиков, потому что там расположена Всеобщая сталелитейная компания. Каждый служащий компании обязан иметь пару защитных очков и надевать их на производстве. В Илиуме на компанию служило шестьдесят восемь тысяч человек. Значит, нужно было изготовить массу линз и массу оправ.

Оправы — самое денежное дело.

Билли разбогател. У него было двое детей — Барбара и Роберт. Со временем Барбара вышла замуж, тоже за оптика, и Билли принял его в дело. Сын Билли, Роберт, плохо учился, но потом он поступил в знаменитую воинскую часть «зеленые береты». Он выправился, стал красивым юношей и сражался во Вьетнаме.

В начале 1968 года группа оптометристов, где был и Билли, наняла специальный самолет — они летели из Илиума на международный оптометрический съезд в Монреале. Самолет разбился над горами Шугарбуш в Вермонте. Все погибли, кроме Билли. Такие дела.

Пока Билли приходил в себя в одной из вермонтских больниц, его жена скончалась от случайного отравления окисью углерода. Такие дела.

После катастрофы Билли вернулся в Илиум и вначале был очень спокоен. Через всю макушку у него шел чудовищный

шрам. Практикой он больше не занимался. За ним ухаживала экономка. Дочка приезжала к нему почти каждый день.

И вдруг без всякого предупреждения Билли поехал в Нью-Йорк и выступил по вечерней программе, обычно передававшей всякие беседы. Он рассказал, как он заплутался во времени. Он также сказал, что в 1967 году его похитило летающее блюдце. Блюдце это, сказал он, прилетело с планеты Тральфамадор. И его отвезли на Тральфамадор и там показывали в голом виде посетителям зоопарка. Там его спарили с бывшей кинозвездой, тоже с Земли, по имени Монтана Уайлдебек...

Какие-то бессонные граждане в Илиуме слышали Билли по радио, и один из них позвонил его дочери Барбаре. Барбара расстроилась. Они с мужем поехали в Нью-Йорк и привезли Билли домой. Билли мягко, но упорно настаивал, что говорил по радио чистую правду. Он сказал, что его похитили тральфамадорцы в день дочкиной свадьбы. Никто его не хватился, объяснил он, потому что тральфамадорцы провели его по такому витку времени, что он мог годами пребывать на Тральфамадоре, а на Земле отсутствовать одну микросекунду.

Прошел еще месяц, без всяких инцидентов, а потом Билли написал письмо в «Новости Илиума», и газета опубликовала это письмо. В нем описывались существа с Тральфамадора.

В письме говорилось, что они двух футов ростом, зеленые и напоминают по форме «прокачку» — ту штуку, которой водопроводчики прокачивают трубы. Присосок у них касается почвы, а чрезвычайно гибкие стержни обычно смотрят вверх. Каждый стержень кончается маленькой рукой с зеленым глазом на ладони. Существа настроены вполне дружелюбно и умеют видеть все в четырех измерениях. Они жалеют землян, оттого что те могут видеть только в трех измерениях. Они могут рассказать землянам чудеснейшие вещи, особенно про время. Билли обещал рассказать в своем следующем письме о многих чудеснейших вещах, которым его научили тральфамадорцы.

Когда появилось первое письмо, Билли уже работал над вторым. Второе письмо начиналось так:

«Самое важное, что я узнал на Тральфамадоре, — это то, что, когда человек умирает, нам это только кажется. Он все еще жив в прошлом, так что очень глупо плакать на его похоронах. Все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать. Тральфамадорцы умеют видеть разные моменты совершенно так же, как мы можем видеть всю цепь Скалистых гор. Они видят, насколько все эти моменты постоянны, и могут рассматривать тот момент, который их сейчас интересует. Только у нас, на Земле, существует иллюзия, что моменты идут один за другим, как бусы на нитке, и что если мгновение прошло, оно прошло бесповоротно.

Когда тральфамадорец видит мертвое тело, он думает, что этот человек в данный момент просто в плохом виде, но он же вполне благополучен во многие другие моменты. Теперь, когда я слышу, что кто-то умер, я только пожимаю плечами и говорю, как сами тральфамадорцы говорят о покойниках: «Такие дела».

И так далее.

Билли сочинял письмо в подвальном помещении своего пустого дома, где был свален всякий хлам. У экономки был выходной день. В подвале стояла старая пишущая машинка... Рухлядь, а не машинка. Она весила больше, чем котел отопления. Билли не мог ее перенести в другое место, оттого и писал в захламленном подвале, а не у себя в комнате.

Котел отопления испортился. Мышь прогрызла изоляцию на проводе термостата. Температура в доме упала до пятидесяти по Фаренгейту, но Билли ничего не замечал. И одет он был не слишком тепло. Он сидел босой, все еще в пижаме и халате, хотя дело шло к вечеру. Его босые ноги были цвета слоновой кости с просинью. Но сердце у Билли горело радостью. Оно горело оттого, что Билли верил и надеялся принести многим

людям утешение, открыв им правду о времени. У входной двери без конца заливался звонок. Пришла его дочь Барбара. Наконец она отперла дверь своим ключом и прошла у него над головой, крича: «Папа, папочка, где ты?» — и так далее.

Билли не откликнулся, и она впала в совершенную истерику, решив, что сейчас найдет его труп. И наконец заглянула в самое неожиданное место — в подвальную кладовку.

— Почему ты не отвечал, когда я звала? — спросила Барбара, стоя в дверях подвала. В руке она сжимала номер газеты, где Билли описывал своих знакомцев с Тральфамадора.

— А я тебя не слышал, — сказал Билли.

Партии в этом оркестре на данный момент были распределены так: Барбаре было всего двадцать один год, но она считала своего отца престарелым, хотя ему-то было всего сорок шесть, — престарелым, потому что ему повредило мозги во время самолетной катастрофы. И еще она считала себя главой семьи, потому что ей пришлось хлопотать на похоронах матери, а потом нанимать экономку для Билли, и все такое. А кроме того, Барбаре с мужем приходилось распоряжаться денежными делами Билли, и притом довольно значительными суммами, так как Билли с некоторых пор совершенно наплеватьски относился к деньгам. И из-за всей этой ответственности в таком юном возрасте она стала довольно противной особой. А между тем Билли старался сохранить свое достоинство, доказать Барбаре и всем остальным, что он вовсе не постарел и, напротив, посвятил себя гораздо более важному делу, чем прежняя его работа.

Он считал, что сейчас он прописывает душам землян корректирующие очки — ни более ни менее. Билли считал, что на Земле столько несчастных заблудших душ, потому что земляне не могут видеть все так же ясно, как его маленькие друзья тральфамадорцы.

— Не лги мне, отец, — сказала Барбара. — Я отлично знаю, что ты слышал, как я тебя звала.

Она была довольно хорошенькая, только ноги у нее были как ножки у старинного рояля. Она стала ругательски ругать Билли за письмо в газету. Она сказала, что он выставляет на посмешище себя и всех, кто с ним связан.

— Ах, отец, отец, отец, — сказала Барбара, — ну что нам с тобой делать? Хочешь заставить нас отправить тебя туда, где твоя мама?

Дело в том, что мать Билли еще была жива. Она лежала без движения в пансионе для престарелых, в так называемом Соновом бору, на окраине Илиума.

— Да что тебя так рассердило в моем письме? — спросил Билли.

— Но это сплошной бред! Там все неправда.

— Нет, все правда. — Билли не сердился, как сердилась она. Он никогда ни на кого не сердился. Удивительный у него был характер.

— Нет такой планеты — Тральфамадор!

— То есть ты хочешь сказать, что ее не видно с Земли, — сказал Билли. — А с Тральфамадора Земли не видать, понимаешь? Обе планеты очень малы. И расстояние между ними огромное.

— Откуда ты взял такое дурацкое название — Тральфамадор?

— Так ее называют существа, живущие там.

— О господи! — сказала Барбара и повернулась к нему спиной. В справедливой досаде она похлопывала ладонью. — Разреши задать тебе простой вопрос.

— Конечно, пожалуйста.

— Почему ты никогда обо всем этом не говорил до катастрофы с самолетом?

— Считал, что время еще не пришло.

Ну и так далее. Билли говорил, что впервые запутался во времени в 1944 году, задолго до полета на Тральфамадор. Тральфамадорцы тут были ни при чем. Они просто помогли ему понять то, что происходило на самом деле.

Билли заблудился во времени, когда еще шла Вторая мировая война. На войне Билли служил помощником капеллана. Обычно в американской армии помощник капеллана — фигура комическая. Не был исключением и Билли. Он никак не мог ни повредить врагам, ни помочь друзьям. Фактически друзей у него не было. Он был служкой при священнике, ни повышений, ни наград не ждал, оружия не носил и смиренно верил в Иисуса кротчайшего, а большинство американских солдат считали это юродством.

Во время маневров в Южной Каролине Билли играл знакомые с детства гимны на маленьком черном органе, покрытом непромокаемым чехлом. На органе было тридцать девять клавишей и две педали — *Vox humana* и *vox celesta*¹. Кроме того, Билли был поручен портативный алтарь, что-то вроде складной папки с выдвигаемыми ножками. Папка была оклеена внутри алым плюшем, а на этом жарком плюше лежали алюминиевый полированный крест и Библия.

И алтарь и орган были сделаны на фабрике пылесосов в Нью-Джерси, о чем свидетельствовала марка фирмы.

Однажды во время маневров в Каролине Билли играл гимн «Твердыня веры наш Господь» — музыка Иоганна Себастьяна Баха, слова Мартина Лютера. Это было утром в воскресенье, и Билли со своим капелланом собрали человек пятьдесят солдат на каролинском холме. Вдруг появился наблюдатель. На маневрах было полным-полно наблюдателей, людей, которые сообщали, кто победил и кто проиграл в условных боях, кто живой, а кто мертвый.

¹ Голос человеческий и глас небесный (*лат.*).

Наблюдатель принес смешную весть. Оказывается, молящихся условно засек с воздуха условный неприятель. И все они были условно убиты. Условные трупы захохотали и с удовольствием как следует позавтракали.

Вспоминая этот случай много позднее, Билли был поражен, насколько эта история была в тральфамадорском духе — быть убитым и в то же время завтракать.

К концу маневров Билли получил внеочередной отпуск, потому что его отца нечаянно подстрелил товарищ, с которым они охотились на оленей. Такие дела.

Когда Билли вернулся из отпуска, его ждал приказ — отправиться за море. Его затребовал штаб одного из пехотных полков, сражавшихся в Люксембурге. Помощник полкового капеллана был там убит в бою. Такие дела.

Полк, куда явился Билли, в это время изничтожался немцами в знаменитом сражении в Арденнах. Билли даже не встретился с капелланом, к которому был назначен помощником, ему даже не успели выдать ни стального шлема, ни сапог. Было это в декабре 1944 года, во время последнего мощного наступления германской армии.

Билли спасся, но, совершенно обалделый, побрел куда-то, далеко за новые позиции немцев. Три других спутника, не такие обалделые, как Билли, позволили ему брести за ними. Двое из них были разведчиками, третий — стрелок противотанкового полка. Ни продовольствия, ни карты у них не было. Избегая немцев, они все глубже уходили в предательскую сельскую тишину. Они ели снег.

Шли они гуськом. Первыми шли разведчики, ловкие, складные, спокойные. У них были винтовки. За ними шел стрелок, неуклюжий и туповатый малый, держа наготове против немцев в одной руке автоматический кольт, а в другой — охотничий нож.

Последним брел Билли с пустыми руками и уныло ожидая смерти. Билли выглядел нелепо: высокий, шесть футов три дюйма, грудь и плечи — как большой коробок спичек. У него не было ни шлема, ни шинели, ни оружия, ни сапог. На ногах у него были дешевые, глубоко гражданские открытые туфли, купленные для похорон отца. Один каблук отвалился, и Билли шел прихрамывая, вверх-вниз, вверх-вниз. От невольного пританцовывания болели все суставы.

На нем была тонкая форменная куртка, рубаха и брюки из кусачей шерсти, а под ними — длинные кальсоны, мокрые от пота. Из всех он один был с бородой. Борода была растрепанная, щетинистая, и некоторые щетинки были совсем седые, хотя Билли исполнился только двадцать один год. Но он начинал лысеть. От ветра, холода и быстрой ходьбы лицо у него побагровело.

Он был совершенно не похож на солдата. Он походил на немытого фламинго.

Так они бродили два дня, а на третий день кто-то выстрелил по их четверке — они как раз переходили узкую мощеную дорожку. Один выстрел предназначался разведчикам. Второй — стрелку, которого звали Роланд Вири.

А третья пуля полетела в немытого фламинго, и он застыл на месте посреди дороги, когда смертельная пчела прожужжала мимо его уха. Билли вежливо остановился — надо же дать снайперу еще одну возможность. У него были путаные представления о правилах ведения войны, и ему казалось, что снайперу *надо* дать попробовать еще разок.

Вторая пуля чуть не задела коленную чашечку Билли и, судя по звуку, пролетела в каком-нибудь дюйме.

Роланд Вири и обаразведчика уже благополучно спрятались в канаве, и Вири зарычал на Билли: «Уйди с дороги, мать твою трам-тарарам». Тогда, в 1944 году, этот глагол редко употреб-

лялся вслух. Билли очень удивился, а так как он сам еще никогда никого не «трам-тарарам», эти слова прозвучали очень свежо и возымели действие. Он очнулся и убежал с дороги.

«Опять спас тебе жизнь, дурак такой-растакой», — сказал Вири, когда Билли спрыгнул в канаву. Он сто раз на дню спасал Билли жизнь: ругал его на чем свет стоит, бил, толкал, чтобы тот не останавливался. Это была необходимая жестокость, потому что Билли ничего не желал делать для своего спасения. Билли хотелось все бросить. Он замерз, оголодал, растерялся, ничего не умел. Он еле отличал сон от бдения, а на третий день уже не чувствовал никакой разницы — шел он или стоял на месте. Он хотел одного — чтобы его оставили в покое. «Идите без меня, ребята», — повторял он без конца...

Вири тоже был новичком на войне. Его тоже прислали взамен другого. Он попал в орудейный расчет и помог выпустить один свирепый снаряд — из пятидесятимиллиметровой противотанковой пушки. Снаряд вжикнул, как молния на брюках самого Вседержителя. Снаряд сожрал снег и траву, словно пламя огнемета в тридцать футов длиной. Пламя оставило на земле черную стрелу, точно указавшую немцам, где стояла пушка. В цель снаряд не попал.

А целью был танк «тигр». Словно принохиваясь, он поворачивал свой восьмидесятимиллиметровый хобот, пока не увидел стрелу на земле. Танк выстрелил. Выстрел убил весь орудейный расчет, кроме Вири. Такие дела.

Роланду Вири было всего восемнадцать лет, и за его спиной лежало несчастливое детство, проведенное главным образом в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В Питтсбурге его не любили. Не любили его за то, что он был глупый, жирный и подлый и от него пахло копченым салом, сколько он ни мылся. Его вечно отшивали ребята, не желавшие с ним водиться.

Вири терпеть не мог, когда его отшивали. Его отошлют — а он найдет мальчишку, которого ребята не любят еще больше, чем его, и начинает притворяться, что хорошо к нему относится. Сначала дружит с ним, а потом найдет какой-нибудь предлог и изобьет до полусмерти.

И так всегда. Отношения с ребятами у него шли как по плану — гнусные, полуэротические, кровожадные. Вири рассказывал им про коллекцию своего отца — тот собирал ружья, сабли, орудия пыток, кандалы, наручники и всякое такое. Отец Вири был водопроводчиком, действительно коллекционировал такие штуки, и его коллекция была застрахована на четыре тысячи долларов. И он был не одинок. Он был членом большого клуба, куда входили любители таких коллекций.

Отец Вири однажды подарил его мамаше вместо пресс-папье настоящие испанские тиски для пальцев в полной исправности. Другой раз он ей подарил настольную лампу, а подставка, в фут высотой, изображала знаменитую «железную деву» из Нюрнберга. Подлинная «железная дева» была средневековым орудием пытки, что-то вроде котла, снаружи похожего на женщину, а внутри усаженного шипами... Спереди женщина раскрывалась двумя дверцами на шарнирах. Замысел был такой: засадить туда преступника и медленно закрывать дверцы. Внутри были два специальных шипа на том месте, куда приходились глаза жертвы. На дне был сток, чтобы выпускать кровь. Вот такие дела.

Вири рассказывал Билли Пилигриму про «железную деву», про сток на дне и зачем его там устроили. Он рассказал Билли про пули «дум-дум». Он рассказал ему про пистолет системы Деррингера, который можно было носить в жилетном кармане, а дырку в человеке он делал такой величины, что «летучая мышь могла пролететь и крылышек не запачкать».

Вири с презрением предложил побиться с Билли об заклад, что тот даже не знает, что значит «сток для крови». Бил-



*Let's give him
Enough and On Time*

ли предположил, что это дырка на дне «железной девы», но он не угадал. Стоком для крови, объяснил Вири, назывался неглубокий желобок на лезвии сабли или штыка.

Вири рассказывал Билли про всякие затейливые пытки — он про них и читал, и в кино насмотрелся, и по радио наслушался — и про всякие другие затейливые пытки, которые он сам изобрел. Например, сверлить кому-нибудь ухо зубоврачебной бормашиной. Он спросил Билли, какая, по его мнению, самая ужасная пытка. У Билли никакого своего мнения на этот счет не было. Оказывается, верный ответ был такой: «Надо связать человека и положить в муравейник в пустыне, понял? Положить лицом кверху и весь пах вымазать медом, а веки срезать, чтобы смотрел прямо на солнце, пока не сдохнет».

Такие дела.

Теперь, лежа в канаве с двумя разведчиками и с Билли, Роланд Вири заставил Билли как следует разглядеть свой охотничий нож. Нож был не казенный. Роланду подарил нож его отец. У ножа было трехгранное лезвие длиной в десять дюймов. Ручка у него была в виде медного кастета из ряда колец, в которые Вири просовывал свои жирные пальцы. И кольца были не простые. На них топорщились шипы.

Вири прикладывал шипы к лицу Билли и с осторожной свирепостью поглаживал его щеку:

— Хочешь — ударю, хочешь? М-mmm? Мmmm-mmm?

— Нет, не хочу, — сказал Билли.

— А знаешь, почему лезвие трехгранное?

— Нет, не знаю.

— От него рана не закрывается.

— А-аа.

— От него дырка в человеке треугольная. Обыкновенным ножом ткнешь в человека — получается разрез. Понял? А разрез сразу закрывается. Понял?

— Понял.

— Фиг ты понял. И чему вас только учат в колледжах ваших!

— Я там недолго пробыл, — сказал Билли. И он не соврал. Он пробыл в колледже всего полгода, да и колледж-то был не настоящий. Это были вечерние курсы оптометристов.

— Липовый твой колледж, — ядовито сказал Вири.

Билли пожал плечами.

— В жизни такое бывает, чего ни в одной книжке не прочитаешь, — сказал Вири. — Сам увидишь.

На это Билли ничего не ответил: там, в канаве, ему было не до разговоров. Но он чувствовал смутное искушение — сказать, что и ему кое-что известно про кровь и все такое. В конце концов, Билли не зря с самого детства изо дня в день утром и вечером смотрел на жуткие муки и страшные пытки. В Илиуме, в его детской комнатке, висело ужасающее распятие. Военный хирург одобрил бы клиническую точность, с которой художник изобразил все раны Христа — рану от копья, раны от тернового венца, рваные раны от железных гвоздей. В детской у Билли Христос умирал в страшных муках. Его было ужасно жалко.

Такие дела.

Билли не был католиком, хотя и вырос под жутким распятием. Отец его никакой религии не исповедовал. Мать была вторым органистом в нескольких церквях города. Она брала Билли с собой в церкви, где ей приходилось заменять органиста, и научила его немножко играть. Она говорила, что примкнет к церкви, когда решит, какая из них самая правильная.

Но решить она так и не решила. Однако ей очень хотелось иметь распятие. И она купила распятие в Санта-Фе, в лавочке сувениров, когда их небольшое семейство съездило на Запад во время Великой депрессии. Как многие американцы, она пыталась украсить свою жизнь вещами, которые продавались в лавочках сувениров.

И распятие повесили на стенку в детской Билли Пилигрима.

Оба разведчика, поглаживая полированные приклады винтовок, прошептали, что пора бы выбраться из канавы. Прошло уже десять минут, но никто не подошел посмотреть — подстрелили их или нет, никто их не прикончил. Как видно, одинокий стрелок был где-то далеко.

Все четверо выползли из канавы, не навлекая на себя огня. Они доползли до леса — на четвереньках, как и полагалось таким большим невезучим млекопитающим. Там они встали на ноги и пошли быстрым шагом. Лес был старый, темный. Сосны были посажены рядами. Кустарник там не рос. Нетронутый снег в четыре дюйма толщиной укрывал землю. Американцам приходилось оставлять следы на снегу, отчетливые, как диаграмма в учебнике бальных танцев: шаг, скольжение, стоп, шаг, скольжение, стоп.

— Закрой пасть и молчи! — предупредил Роланд Вири Билли Пилигрима, когда они шли. Вири был похож на китайского болванчика, готового к бою. Он и был низенький и круглый, как шар.

На нем было все когда-либо выданное обмундирование, все вещи, присланные в посылках из дому: шлем, шерстяной подшлемник, вязаный колпак, шарф, перчатки, нижняя рубашка бумажная, нижняя рубашка шерстяная, верхняя шерстяная рубаха, свитер, гимнастерка, куртка, шинель, кальсоны бумажные, кальсоны шерстяные, брюки шерстяные, носки бумажные, носки шерстяные, солдатские башмаки, противогаз, котелок, ложка с вилкой, перевязочный пакет, нож, одеяло, плащ-палатка, макинтош, Библия в пулезащитном переплете, брошюра под названием «Изучай врага!», еще брошюра — «За что мы сражаемся» и еще разговорник с немецким текстом в английской фонетике, чтобы Вири мог задавать немцам вопросы, как-то: «Где находится ваш штаб?», или «Сколько у вас гаубиц?», или сказать: «Сдавайтесь! Ваше положение безвыходно» и так далее.

Кроме того, у Вири была деревянная подставка, чтобы легче было вылезти из стрелковой ячейки. У него был профилактический пакет с двумя очень крепкими кондомами «исключительно для предупреждения заражения». У него был свисток, но он его никому не собирался показывать, пока не станет капралом. У него была порнографическая открытка, где женщина пыталась заниматься любовью с шотландским пони. Вири несколько раз заставлял Билли Пилигрима любоваться этой открыткой.

Женщина и пони позировали перед бархатным занавесом, украшенным помпончиками. По бокам возвышались дорические колонны. Перед одной из колонн стояла пальма в горшке. Открытка, принадлежавшая Вири, была копией самой первой в мире порнографической фотографии. Само слово «фотография» впервые услышали в 1839 году — в этом году Луи Ж.-М. Дагерр доложил Французской академии, что изображение, попавшее на пластинку, покрытую тонким слоем йодистого серебра, может быть проявлено при воздействии ртутных паров.

В 1841 году, всего лишь два года спустя, Андре Лефевр, ассистент Дагерра, был арестован в Тюильрийском саду за то, что пытался продать какому-то джентльмену фотографию женщины с пони. Кстати, впоследствии и Вири купил свою открытку там же — в Тюильрийском саду. Лефевр пытался доказать, что эта фотография — настоящее искусство и что он хотел оживить греческую мифологию. Он говорил, что колонны и пальма в горшке для этого и поставлены.

Когда его спросили, какой именно миф он хотел изобразить, Лефевр сказал, что существуют тысячи мифов, где женщина — смертная, а пони — один из богов.

Его приговорили к шести месяцам тюрьмы. Там он умер от воспаления легких. Такие дела.

* * *

Билли и разведчики были очень худые. На Роланде Вири было много лишнего жира. Он пылал как печка под всеми своими шерстями и одежками.

В нем было столько энергии, что он без конца бегал от Билли к разведчикам, передавая знаками какие-то приказания, которых никто не посылал и никто не желал выполнять. Кроме того, он вообразил, что, проявляя настолько больше активности, чем остальные, он уже стал их вожаком.

Он был так закутан и так потел, что всякое чувство опасности у него исчезло. Внешний мир он мог видеть только ограниченно, в щелку между краем шлема и вязаным домашним шарфом, который закрывал его мальчишескую физиономию от переносицы до подбородка. Ему было так уютно, что он уже представлял себе, что благополучно вернулся домой, выжив в боях, и рассказывает родителям и сестре правдивую историю войны — хотя на самом деле правдивая история войны еще продолжалась.

У Вири сложилась такая версия правдивой истории войны: немцы начали страшную атаку, Вири и его ребята из противотанковой части сражались как львы, и все, кроме Вири, были убиты. Такие дела. А потом Вири встретился с двумя разведчиками, и они страшно подружились и решили пробиться к своим. Они решили идти без остановки. Будь они прокляты, если сдадутся. Они пожали друг другу руки. Они решили называться «три мушкетера».

Но тут к ним попросился этот несчастный студентиска, такой слабак, что для него в армии не нашлось дела. У него ни винтовки, ни ножа не было. У него даже шлема не было, даже пилотки. Он и идти прямо не мог, шкандыбал вверх-вниз, вверх-вниз, чуть с ума не свел, мог запросто выдать их позицию. Жалкий малый. «Три мушкетера» его и толкали, и

тащили, и вели, пока не дошли до своей части. Так про себя сочинял Вири. Спасли ему шкуру, этому студентиске несчастному.

А на самом деле Вири замедлил шаги — надо было посмотреть, что там случилось с Билли. Он сказал разведчикам: — Подождите, надо пойти за этим чертовым идиотом.

Он пролез под низкой веткой. Она звонко стукнула его по шлему. Вири ничего не услышал. Где-то залаяла собака. Вири и этого не слышал. В мыслях у него разворачивался рассказ о войне. Офицер поздравлял «трех мушкетеров», обещая представить их к Бронзовой звезде.

«Могуябытьвамполезным,ребята?» — спрашивало офицер.

«Да, сэр, — отвечал один из разведчиков. — Мы хотим быть вместе до конца войны, сэр. Можете вы сделать так, чтобы никто не разлучал «трех мушкетеров»?»

Билли Пилигрим остановился в лесу. Он прислонился к дереву и закрыл глаза. Голова у него откинулась, ноздри затрепетали. Он походил на поэта в Парфеноне.

Тут Билли впервые отключился от времени. Его сознание величественно проплыло по всей дуге его жизни в смерть, где светился фиолетовый свет. Там не было никого и ничего. Только фиолетовый свет — и гул.

А потом Билли снова вернулся назад, пока не дошел до утробной жизни, где был алый свет и плеск. И потом вернулся в жизнь и остановился. Он был маленький мальчик и стоял под душем со своим волосатым отцом в илиумском клубе ХАМЛ¹. Рядом был плавательный бассейн. Оттуда несло хлором, слышался скрип досок на вышке.

Маленький Билли ужасно боялся: отец сказал, что будет учить его плавать методом «пльиви или тони». Отец собирал-

¹ ХАМЛ — Христианская ассоциация молодых людей.

ся бросить его в воду на глубоком месте — придется Билли плыть, черт возьми!

Это походило на казнь. Билли весь онемел, пока отец нес его на руках из душа в бассейн. Он закрыл глаза. Когда он их открыл, он лежал на дне бассейна и вокруг звенела чудесная музыка. Он потерял сознание, но музыка не умолкала. Он смутно почувствовал, что его спасают. Билли очень огорчился.

Потом он пропутешествовал в 1965 год. Ему шел сорок второй год, и он навещал свою престарелую мать в Сосновом бору — пансионе для стариков, куда он ее устроил всего месяц назад. Она заболела воспалением легких, и думали, что ей не выжить. Но она прожила еще много лет.

Голос у нее почти пропал, так что Билли приходилось прикладывать ухо почти к самым ее губам, сухим, как бумага. Очевидно, ей хотелось сказать что-то очень важное.

— Как... — начала она и остановилась. Она слишком устала. Видно, она понадеялась, что договаривать не надо: Билли сам закончит фразу за нее.

Но Билли понятия не имел, что она хочет сказать.

— Что «как», мама? — подсказал он ей.

Она глотнула воздух, слезы покатались по лицу. Но тут она собрала все силы своего разрушенного тела, от пальцев на руках до самых пяток. И наконец у нее хватило сил прошептать всю фразу:

— Как это я так *состарилась*?

Престарелая мать Билли забылась сном, и его проводила из комнаты хорошенькая сиделка. Когда Билли вышел в коридор, на носилках провезли тело старика, прикрытое простыней. Старик когда-то был знаменитым бегуном. Такие дела. Кстати, все это было перед тем, как Билли разбил голову при

катастрофе самолета, — перед тем, как он так красноречиво заговорил о летающих блюдцах и путешествии во времени.

Билли сидел в приемной. Тогда он еще не овдовел. Под тугими подушками кресла он нащупал что-то твердое. Он потянул за уголок и вытащил книжку. Она называлась «Казнь рядового Словика», автор Уильям Бредфорд Гьюн. Это был правдивый рассказ о расстреле американского солдата, рядового Эдди Д. Словика, 36896415, — единственного солдата со времен Гражданской войны, расстрелянного самими американцами за трусость.

Такие дела.

Билли прочитал изложенное в книге мнение видного юриста, члена суда, по поводу дела Словика. В конце говорилось так:

Он бросил прямой вызов государственной власти, и все будущие дисциплины зависят от решительного ответа на этот вызов. Если за дезертирство полагается смертная казнь, то в данном случае ее применить необходимо, и не как меру наказания, не как воздаяние, но исключительно как способ поддержать дисциплину, которая является единственным условием успехов армии в борьбе с врагом. В данном случае никаких просьб о помиловании не поступало, да это и не рекомендуется.

* * *

Такие дела.

Билли мигнул в 1965 году, перелетел во времени обратно, в 1958 год. Он был на банкете в честь команды Молодежной лиги, в которой играл его сын Роберт. Тренер, закоренелый холостяк, говорил речь. Он просто задыхался от волнения.

— Клянусь богом, говорил он, — я считал бы честью подавать воду этим ребятам.

Билли мигнул в 1958 году, перелетел во времени в 1961-й. Был канун Нового года, и Билли безобразно напился на вечеринке, где все были оптиками либо женами оптиков.

Обычно Билли пил мало — после войны у него болел желудок, — но тут он здорово нализался и сейчас изменял своей жене, Валенсии, в первый и последний раз в жизни. Он как-то уговорил одну даму спуститься с ним в прачечную и сесть на сушилку, которая гудела.

Дама тоже была очень пьяна и помогала Билли снять с нее резиновый пояс.

— А что вы мне хотели сказать? — спросила она.

— Все в порядке, — сказал Билли. Он честно думал, что все в порядке. Имени дамы он вспомнить не мог.

— Почему вас называют Билли, а не Вильям?

— Деловые соображения, — сказал Билли.

И это была правда. Тесть Билли, владелец Илиумских оптометрических курсов, взявший Билли к себе в дело, был гением в своей области. Он сказал: пусть Билли позволяет людям называть себя просто Билли — так они лучше его запомнят. И в этом будет что-то особенное, потому что других взрослых Билли вокруг не было. А кроме того, люди сразу станут считать его своим другом.

Тогда же на вечеринке разразился ужасающий скандал, люди возмущались Билли и его дамой, и Билли как-то очутился в своей машине, ища, где же руль.

Теперь было важнее всего найти руль. Сначала Билли махал руками, как мельница, надеясь случайно на него наткнуться. Когда это не удалось, он стал искать руль методически, постепенно, так что руль от него никак не мог спрятаться. Он крепко прижался к левой дверце и обшарил каждый квадратный дюйм перед собой. Когда руль не обнаружился, Билли продвинулся вперед на шесть дюймов и снова стал нашари-

вать руль. Как ни странно, он ткнулся носом в правую дверцу, не найдя руля. Он решил, что кто-то его украл. Это его рассердило, но он тут же свалился и уснул.

Оказывается, он сидел на заднем сиденье машины, а потому и не мог найти руль.

Тут кто-то сильно потряс Билли, и он проснулся, Билли все еще был пьян и все еще злился из-за украденного руля. Но тут он снова оказался во Второй мировой войне, в тылу у немцев. Тряс его Роланд Вири. Вири сгреб Билли за грудки. Он стукнул его об дерево, потом дернул назад и толкнул туда, куда надо было идти.

Билли остановился, потряс головой.

— Идите сами! — сказал он.

— Что?

— Идите без меня, ребята. Я в порядке.

— Ты что?

— Все в порядке...

— У, черт тебя раздери, — сказал Вири сквозь пять слоев мокрого шарфа, присланного из дому. Билли никогда не видел лица Роланда Вири. Он пытался вообразить, какой он, но ему все представлялось что-то вроде жабы в аквариуме.

С четверть мили Роланд толкал и тащил Билли вперед. Разведчики ждали под берегом замерзшей речки. Они слышали собачий лай. Они слышали, как перекликались человеческие голоса, перекликались, как охотники, уже учуявшие, где дичь.

Берег речки был достаточно высок, и разведчиков за ним не было видно. Билли нелепо скатился с берега. После него сполз Вири, звеня и звякая, пыхтя и потея.

— Вот он, ребята, — сказал Вири. — Жить ему неохота, да мы его заставим. А когда спасется, так поймет, клянусь богом, что жизнь ему спасли «три мушкетера».

Разведчики впервые услышали, что Вири зовет их про себя «тремя мушкетерами».

Билли Пилигрим шел по замерзшему руслу речки, и ему казалось, что его тело медленно испаряется. Только бы его оставили в покое, хоть на минуту, думал он, никому не пришлось бы с ним возиться. Он весь превратился бы в пар и медленно всплыл бы к верхушкам деревьев.

Где-то снова залаяла собака. От эха в зимней тишине лай собаки звучал как удары огромного медного гонга и страшно испугал Билли.

Восемнадцатилетний Роланд Вири протиснулся между двумя разведчиками.

— Ну, что теперь предпримут «три мушкетера»?

У Билли Пилигрима начались приятнейшие галлюцинации. Ему казалось, что на нем были толстые белые шерстяные носки и он легко скользил по паркету бального зала. Тысячи зрителей аплодировали ему. Это не было путешествием во времени. Ничего похожего никогда не было, никогда быть не могло. Это был бред умирающего мальчишки, в чьи башмаки набился снег.

Один из разведчиков, опустив голову, длинно сплюнул. Другой тоже. Они увидели, как мало значил для снега и для истории такой плевков. Оба разведчика были маленькие, складные. Они уже много раз побывали в тылу у немцев — жили, как лесные звери, от минуты к минуте, в спасительном страхе, мысля не головным, а спинным мозгом.

Они рывком высвободились из ласкового объятия Вири. Они сказали Вири, что ему бы, да и Билли Пилигриму тоже, лучше всего поискать, кому сдать. Ждать их разведчики не желали.

И они бросили Вири и Билли в русле речки.

Билли Пилигрим все еще скользил в своих белых шерстяных носках, выкидывая разные трюки — любой человек сказал бы, что такая акробатика немислима, но он кружился, тормозил



на пяточке и так далее. Восторженные крики продолжались, но вдруг все изменилось: вместо галлюцинаций Билли опять стал путешествовать во времени.

Билли уже не скользил, а стоял на эстраде в китайском рестораничке в Илиуме, штат Нью-Йорк, в осенний день 1957 года. Его стоя приветствовали члены Клуба львов. Он только что был избран председателем этого клуба, и ему нужно было сказать речь. Он до смерти перепугался, решив, что произошла жуткая ошибка. Все эти зажиточные, солидные люди сейчас обнаружат, что выбрали такого жалкого заморыша. Они услышат его высокий, срывающийся, как когда-то на войне, голос. Он глотнул воздух, чувствуя, что вместо голосовых связок у него внутри свистулька, вырезанная из вербы. И что еще хуже — сказать ему было нечего. Люди затихли. Все раскраснелись, заулыбались.

Билли открыл рот — и прозвучал глубокий, звучный голос. Трудно было найти инструмент великолепнее. Голос Билли звучал насмешливо, и весь зал покатывался со смеху. Он становился серьезным, снова острил и закончил смиренной благодарностью. Объяснялось это чудо тем, что Билли брал уроки ораторского искусства.

А потом он снова очутился в русле замерзшей речки. Роланд Вири бил его смертным боем.

Трагический гнев обуревал Роланда Вири. Снова с ним не захотели водиться. Он сунул пистолет в кобуру. Он воткнул нож в ножны. Весь нож целиком — и трехгранное лезвие, и желобок для стока крови. И, встряхнув Билли так, что у него кости загремели, он стукнул его об землю у берега.

Вири орал и стонал сквозь слои шарфа — подарка из дому. Он что-то невнятно мычал про жертвы, принесенные им ради Билли. Он разглагольствовал о том, какие богобоязненные,

какие мужественные люди все «три мушкетера», в самых ярких красках описывал их добродетели, их великодушие, бессмертную славу, добытую ими для себя, и бесценную службу, какую они сослужили делу христианства.

Вири считал, что эта доблестная боевая единица распалась исключительно по вине Билли, и Билли за это расплатится сполна. Вири двинул его кулаком в челюсть и сбил с ног на заснеженный лед речки. Билли упал на четвереньки, и Вири ударил его ногой в ребра, перекатил его на бок. Билли весь сжался в комок.

— Тебя к армии и подпускать нельзя! — сказал Вири.

У Билли невольно вырвались судорожные звуки, похожие на смех.

— Ты еще смеешься, а? — крикнул Вири.

Он обошел Билли со спины. Куртка, верхняя и нижняя рубашки задрались на спине у Билли почти до плеч, спина оголилась. В трех дюймах от солдатских сапог Роланда Вири жалобно торчали Биллины позвонки.

Вири отвел правый сапог, нацелился на позвоночник, на трубку, где проходило столько нужных для Билли проводов. Вири собрался сломать эту трубку.

Но тут Вири увидал, что у него есть зрители. Пять немецких солдат с овчаркой на поводке остановились на берегу речки и глазели вниз. В голубых глазах солдат стояло мутное, совсем гражданское любопытство: почему это один американец пытается убить другого американца вдали от их родины и почему жертва смеется?

3

Немцы и собака проводили военную операцию, которая носит занятное, все объясняющее название, причем эти дела рук человеческих редко описываются детально, но одно название, встреченное в газетах или исторических книгах, вызывает у энтузиастов войны что-то вроде сексуального удовлетворения. В воображении таких любителей боев эта операция напоминает тихую любовную игру после оргазма победы. Называется она «прочесывание».

Собака, чей лай так свирепо звучал в зимней тишине, была немецкой овчаркой. Она вся дрожала. Хвост у нее был поджат. Этим утром ее взяли на время с фермы. Раньше она никогда не воевала. Она не понимала, что это за игра. Звали ее Принцесса.

Двое немцев были совсем мальчишки. Двое — дряхлые старики, беззубые, как рыбы. Это были запасники, их вооружили и одели во что попало, сняв вещи с недавно убитых строевых солдат. Такие дела. Все они были крестьяне из пограничной зоны, неподалеку от фронта.

Командовал ими капрал средних лет — красноглазый, тощий, жесткий, как пересушенное мясо. Война ему осточертела. Он был ранен четыре раза — и его чинили и снова отправ-

ляли на фронт. Он был очень хороший солдат, но готов был все бросить, лишь бы нашлось кому сдать. На его кривых ногах красовались золотистые кавалерийские сапоги, снятые на русском фронте с мертвого венгерского полковника. Такие дела.

Кроме этих сапог, у капрала почти ничего на свете не было. Они были его домом. Анекдот: однажды солдат смотрел, как капрал начищает до блеска свои золотые сапоги, и капрал сунул сапог солдату под нос и сказал: «Посмотри как следует, увидишь Адама и Еву».

Билли Пилигрим никогда не слышал про этот анекдот. Но, лежа на почерневшем льду, Билли уставился на блеск сапог и в золотой глубине увидал Адама и Еву. Они были нагие. Они были так невинны, так легко ранимы, так старались вести себя хорошо. Билли Пилигрим их любил.

Рядом с золотыми сапогами стояла пара ног, обмотанных тряпками. Обмотки перекрещивались холщовыми завязками, на завязках держались деревянные сабо. Билли взглянул на лицо хозяина деревяшек. Это было лицо белокурого ангела, пятнадцатилетнего мальчугана.

Мальчик был прекрасен, как праматерь Ева.

Прелестный мальчик, ангел небесный, поднял Билли на ноги. Подошли остальные, смахнули с Билли снег, обыскали его — нет ли оружия. Оружия у него не было. Самое опасное, что при нем нашли, был огрызок карандаша.

Вдали прозвучали три спокойных выстрела. Стреляли немецкие винтовки. Обоих разведчиков, бросивших Билли и Вири, пристрелили немцы. Разведчики залегли в канаве, поджидая немцев. Их обнаружили и пристрелили с тыла. Теперь они умирали на снегу, ничего не чувствуя, и снег под ними становился цвета малинового желе. Такие дела. И Роланд Вири остался последним из «трех мушкетеров».



Теперь солдаты разоружали пучеглазого от страха Вири. Капрал отдал хорошенькому мальчику пистолет Вири. Он пришел в восхищение от свирепого ножа Вири и сказал по-немецки, что Вири небось хотел пырнуть его этим ножом, разодрать ему морду колючками кастета, распороть ему пузо, перерезать глотку. По-английски капрал не говорил, а Билли и Вири по-немецки не понимали.

— Хороша у тебя игрушка! — сказал капрал Вири и отдал нож одному из стариков. — Что скажешь? Ничего штучка, а?

Капрал рванул шинель и куртку на груди у Вири, пуговицы запрыгали, как жареная кукуруза. Капрал сунул руку за пазуху Билли, как будто хотел вырвать громко бьющееся сердце, но вместо сердца выхватил непробиваемую Библию.

Не пробиваемая пулями Библия — это такая книжечка, которая может уместиться в нагрудном кармане солдата, над сердцем. У нее стальной переплет.

В кармане брюк у Вири капрал нашел порнографическую открытку — женщину с пони.

— Повезло коняге, а? — сказал он. — М-ммм? Тебе бы на его место, а? — Он передал картинку другому старику: — Военный трофей! Твой будет, твой, счастливчик ты этакий!

Потом он усадил Вири на снег, снял с него солдатские сапоги и отдал их красивому мальчику. А Вири отдал деревянные сабо. Так они, и Билли и Вири, оказались без походной обуви, а идти им пришлось милю за милей, и Вири стучал деревяшками, а Билли прихрамывал — вверх-вниз, вверх-вниз, то и дело налетая на Вири.

— Извини, — говорил тогда Билли или же: — Прошу прощения.

Наконец их привели в каменную сторожку на развилке дорог. Это был сборный пункт для пленных. Билли и Вири впустили в сторожку. Там было тепло и дымно. В печке горел и фыркал огонь. Топили мебелью. Там было еще человек двад-

цать американцев; они сидели на полу, прислонясь к стене, глядели в огонь и думали о том, о чем можно было думать — то есть ни о чем.

Никто не разговаривал. О войне рассказывать было нечего. Билли и Вири нашли для себя местечко, и Билли заснул на плече у какого-то капитана — тот не протестовал. Капитан был лицом духовным. Он был раввин. Ему прострелили руку.

Билли пропутешествовал во времени, открыл глаза и очутился перед зеленоглазой металлической совой. Сова висела вверх ногами на палке из нержавеющей стали. Это был оптометр в кабинете Билли в Илиуме. Оптометр — это такой прибор, которым проверяют зрение, чтобы прописать очки.

Билли заснул во время осмотра пациентки, сидевшей в кресле по другую сторону совы. Он и раньше иногда засыпал за работой. Сначала это было смешно. Но потом Билли стал беспокоиться и об этом, и вообще о своем душевном состоянии. Он пытался вспомнить, сколько ему лет, и не мог. Он пытался вспомнить, какой сейчас год, и тоже никак не мог.

— Доктор, — осторожно окликнула его пациентка.

— М-ммм? — сказал он.

— Вы вдруг замолчали.

— Простите.

— Вы что-то говорили, а потом вдруг остановились.

— М-мм.

— Вы увидели что-нибудь страшное?

— Страшное?

— Может, у меня какая-нибудь страшная болезнь?

— Нет, нет, — сказал Билли, которому ужасно хотелось спать. — Глаза у вас отличные. Нужны только очки для чтения.

И он велел ей пройти в другой кабинет в конце коридора: там был большой выбор оправ.

Когда она вышла, Билли отдернул занавески и не понял, что там, на дворе. Окно закрывала штора, и Билли с шумом поднял ее. Ворвался яркий солнечный свет. На улице стояли тысячи автомобилей, сверкающих на черном асфальте. Приемная Билли находилась в здании огромного универмага.

Прямо под окном стоял собственный «Кадиллак» Билли «Эльдорадо Купэ дэ Виль». Он прочел наклейки на бампере. «Посетите каньон Озейбл», — гласила одна. «Поддержите свою полицию», — взывала другая. Там была и третья, на ней стояло: «Не поддерживайте Уоррена». Наклейки про полицию и Эрла Уоррена подарил Билли его тесть, член общества Джона Бэрча. На регистрационном номере стояла дата: 1967 год. Значит, Билли было сорок четыре года, и он спросил себя: «Куда же ушли все эти годы?»

* * *

Билли взглянул на свой письменный стол. На нем лежал развернутый номер «Оптометрического обозрения». Он был развернут на передовице, и Билли стал читать, слегка шевеля губами. *«События 1968 года повлияют на судьбу европейских оптометристов по крайней мере лет на пятьдесят! — читал Билли. — С таким предупреждением Жан Тириарт, секретарь Национального совета бельгийских оптиков, обратился к съезду, настаивая на необходимости создания Европейского сообщества оптометристов. Надо выбирать, сказал он, либо защищать профессиональные интересы, либо к 1971 году мы станем свидетелями упадка роли оптометристов в общей экономике».*

Билли Пилигрим тщетно старался почувствовать хоть какой-то интерес.

Вдруг взвизгнула сирена, напугав его до полусмерти. С минуты на минуту он ждал начала третьей мировой войны. Но

сирена просто возвестила полдень. Она была расположена на каланче пожарной команды, как раз напротив приемной Билли.

Билли закрыл глаза. Когда он их открыл, он снова очутился во Второй мировой войне. Голова его лежала на плече раненого раввина. Немецкий солдат толкал его ногой, пытаясь разбудить, — пора было двигаться дальше.

Американцы, и вместе с ними Билли, шли шутовским парадом по дороге.

Рядом оказался фотограф, военный корреспондент немецкой газеты, с «лейкой». Он сфотографировал ноги Билли и Роланда Вири. Эти фото были широко опубликованы дня через два в Германии как ободряющий пример скверной экипировки американской армии, хотя она и считалась богатой.

Но фотограф хотел снять что-нибудь более злободневное, например сдачу в плен. И охрана устроила для него инсценировку. Солдаты швырнули Билли в кусты. Когда Билли вылез из кустов, расплываясь в дурацкой добродушной улыбке, они угрожающе надвинулись на него, наставив в упор автоматы, как будто брали его в плен.

Билли вылез из кустов с улыбкой не менее загадочной, чем улыбка Моны Лизы, потому что он одновременно шел пешком по Германии в 1944 году и вел свой «Кадиллак» в 1967 году.

Германия исчезла, а 1967 год стал отчетливым и ярким, без интерференции другого времени. Билли ехал на завтрак в Клуб львов. Стоял жаркий августовский день, но в машине Билли работал кондиционный аппарат. Посреди черного гетто его остановил светофор. Жители этого квартала так ненавидели свое жилье, что месяц тому назад сожгли довольно много лачуг. Это было все их имущество, и все равно они его сожгли. Квартал напоминал Билли города, где он бывал в вой-

ну. Тротуары и мостовые были исковерканы — там прошли танки и бронетранспортеры национальной гвардии.

«Брат по крови», — гласила надпись, сделанная красноватой краской на стене разрушенной бакалейной лавочки.

Раздался стук в стекло машины Билли. У машины стоял черный человек. Ему хотелось что-то сказать. Светофор мигнул. И Билли сделал самое простое: он поехал дальше.

Билли проезжал по еще более безотрадным местам. Тут все напоминало то ли Дрезден после бомбежки, то ли поверхность Луны. На каком-то из этих пустырей стоял когда-то дом, где вырос Билли. Шла перестройка города. Скоро здесь должен вырасти новый административный центр Илиума, Дом искусств, бассейн «Мирный» и кварталы дорогих жилых домов.

Билли Пилигрим не возражал.

Председательствовал на собрании Клуба львов бывший майор морской пехоты. Он сказал, что американцы вынуждены сражаться во Вьетнаме до полной победы или до тех пор, пока коммунисты не поймут, что нельзя навязывать свой образ жизни слаборазвитым странам. Майор дважды побывал во Вьетнаме по долгу службы. Он рассказывал о всяких страшных и прекрасных вещах, которые ему довелось наблюдать. Он был за усиление бомбежки Северного Вьетнама — пускай у них настанет каменный век, если они отказываются внять голосу разума.

Билли не собирался протестовать против бомбежки Вьетнама, не содрогался, вспоминая об ужасах, которые он сам видел при бомбежке. Он просто завтракал в Клубе львов, где когда-то был председателем.

На стене в приемной у Билли висела в рамочке молитва, которая была ему поддержкой, хотя он и относился к жизни

довольно равнодушно. Многие пациенты, видевшие молитву на стенке у Билли, потом говорили ему, что она и их очень поддержала.

Звучала молитва так:

ГОСПОДИ, ДАЙ МНЕ
ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ,
ЧТОБЫ ПРИНИМАТЬ ТО,
ЧЕГО Я НЕ МОГУ ИЗМЕНИТЬ,
МУЖЕСТВО —
ИЗМЕНЯТЬ ТО, ЧТО МОГУ,
И МУДРОСТЬ —
ВСЕГДА ОТЛИЧАТЬ
ОДНО ОТ ДРУГОГО.

К тому, чего Билли изменить не мог, относилось прошлое, настоящее и будущее.

А сейчас его представляли майору морской пехоты. Человек, знакомивший его, объяснил майору, что Билли — ветеран войны, что у Билли есть сын — сержант «зеленых беретов» во Вьетнаме.

Майор сказал Билли, что «зеленые береты» делают отличную работу во Вьетнаме и что он должен гордиться своим сыном.

— Да, да, конечно, — сказал Билли. — Конечно!

Билли отправился домой — прикорнуть после завтрака. Доктор велел ему непременно спать днем. Доктор надеялся, что это поможет Билли вылечиться от небольшого недомогания: вдруг, без всякой причины, Билли Пилигрим начинал плакать. Никто его ни разу не видел плачущим. Знал об этом только его доктор. Да и плакал он очень тихо и сырости не разводил.



В Илиуме у Билли был прелестный старинный дом. Он был богат как Крез, хотя раньше считал, что богатства ему и за миллион лет не добиться. При его оптометрическом кабинете в центре города работало еще пять оптиков, и зарабатывал он больше шестидесяти тысяч долларов в год. Кроме того, ему принадлежала пятая часть новой гостиницы «Отдых» на шоссе 54 и половинная доля в каждом из трех киосков, продававших «холодок». «Холодок» — что-то вроде охлажденного молочного коктейля. Он такой же вкусный, как мороженое, но без твердости и обжигающего холода мороженого.

Дома у Билли никого не было. Его дочь Барбара собиралась выходить замуж, и они с матерью поехали в город — выбирать для приданого хрусталь и серебро. Так было сказано в записке, оставленной на кухонном столе. Прислуги они не держали: желающих служить в домработницах просто не было. Собаки у Билли тоже не было.

Когда-то у него была собака Спот, но она сдохла. Такие дела. Билли очень любил Спота, и Спот любил его.

Билли поднялся по устланной ковром лестнице в супружескую спальню. В спальне были обои в цветочек. Там стояла двуспальная кровать, а на тумбочке радио с часами. На той же тумбочке были кнопки для электрогрелки и выключатель для штуки, которая называлась «электровибратор» — он был подключен к пружинному матрасу постели. Назывался этот вибратор «волшебные пальцы». Вибратор тоже был выдумкой доктора.

Билли снял свои выпуклые очки, пиджак, галстуки башмаки, опустил шторы, задернул занавески и лег поверх одеяла. Но сон не шел. Вместо сна пришли слезы. Они капали. Билли включил «волшебные пальцы», и они стали его укачивать, пока он плакал.

Зазвонил звонок у парадного. Билли встал, посмотрел в окно на входную дверь — вдруг пришел кто-то нужный. Но там

стоял калека, которого бросало в пространстве, как Билли бросало во времени. Человек все время конвульсивно дергался, словно приплясывал, он непрестанно гримасничал, будто подражая каким-то знаменитым киноактерам.

Второй калека звонил в двери напротив. Он был на костылях. У него не было ноги. Костыли так поджимали, что плечи у него поднялись до ушей.

Билли знал, что затеяли эти калеки. Они продавали подписку на несуществующие журналы. Люди подписывались из жалости к этим калекам. Билли слышал об этом мошенничестве недели две назад в Клубе львов от человека из комитета по укреплению деловых связей. Этот человек говорил, что каждый, кто увидит инвалидов, собирающих подписку, должен немедленно заявить в полицию.

Билли еще раз выглянул на улицу, увидел новый шикарный «Бьюик», стоявший в отдалении. Там сидел человек. Билли правильно догадался, что это был тот, кто нанимал инвалидов на это дело. Билли плакал, глядя на калек и на их хозяина. Звонок у его дверей заливался как оглашенный.

Он закрыл глаза и опять открыл их. Он все еще плакал, но уже снова очутился в Люксембурге. Он маршировал вместе с другими пленными. Стояла зима, и слезы выступали на глазах от зимнего ветра.

С той минуты, как Билли бросили в кусты для фотосъемки, он видел огни святого Эльма, что-то вроде электронного сияния вокруг голов своих товарищей и своих стражей. Огоньки светились и на верхушках деревьев, и на крышах люксембургских домов. Это было очень красиво.

Билли шагал, положив руки на голову, как и все остальные американцы. Он шел прихрамывая — вверх-вниз, вверх-вниз. Опять он невольно налетел на Роланда Вири.

— Прошу прощения, — сказал он.

У Вири тоже текли слезы. Вири плакал от ужасающей боли в ногах. Деревянные сабо превращали его ноги в кровавой пудинг.

На каждом перекрестке к группе Билли присоединялись другие американцы, тоже державшие руки на голове, окруженной ореолом. Билли всем им улыбался. Они текли, как вода с горы, вниз по дороге и наконец слились в один поток на шоссе в долине. По долине, как Миссисипи, потекли рекой униженные американцы. Тысячи американцев брели на восток, положив руки на голову. Они вздыхали и стонали.

Билли и его группа влились в этот поток унижения, и к вечеру из-за облаков выглянуло солнце. Американцы шли по дороге не одни. По другому краю дороги им навстречу с грохотом клубился поток машин, везущих германские резервы на фронт. Резерв состоял из свирепых, загорелых, заросших щетиной солдат. Зубы у них блестели, как клавиши рояля.

Они были обвешаны автоматами, патронташами, курили сигары и хлестали пиво. Как волки, вгрызались они в куски колбасы и сжимали ручные гранаты в заглубевших ладонях.

Один солдат, весь в черном, пьяный вдребезину, устроил себе «отдых героя», развалившись на крышке танка. Он плевал в американцев. Плевков шлепнулся на плечо Роланда Вири, обеспечив его сразу слюной, колбасной жвачкой и шнапсом.

Все в этот день возбуждало в Билли жгучий интерес. Много чего он увидал — видел и зубы дракона, и машины для убийства, и босых мертвецов с ногами цвета слоновой кости с просинью. Такие дела.

Прихрамывая вверх-вниз, вверх-вниз, Билли широко улыбнулся ярко-сиреновой ферме, изрешеченной пулеметным огнем. За криво повисшей дверью был виден немецкий полковник. Рядом с ним стояла его растрепанная шляха.



Билли налетел на спину Роланда Вири, и тот, всхлипывая, закричал:

— Не толкайся! Не толкайся!

Они подымались по некрутому склону. Когда они дошли до вершины, они уже были вне Люксембурга. Они были в Германии.

На границе стояла кинокамера, чтобы запечатлеть потрясающую победу. Двое штатских в медвежьих шубах стояли у камеры, когда проходили Билли и Вири. Пленка у них давно кончилась. Один из них навел аппарат на лицо Билли, потом сразу перевел на общий план. Там вдали подымалась тонкая струйка дыма. Там шел бой. Люди там умирали. Такие дела.

Солнце село, и Билли дохромал до железнодорожных путей. Там стояли бесконечные ряды теплушек. В них привезли резервы на фронт. Теперь в них должны были увезти пленных в Германию.

Лучи прожекторов метались как безумные.

Немцы рассортировали пленных по званиям. Они поставили сержантов с сержантами, майоров с майорами и так далее. Отряд полковников стоял рядом с Билли. У одного из полковников было двухстороннее воспаление легких. У него был жар и головокружение. Железнодорожные пути прыгали и кружились у него перед глазами, и он старался сохранить равновесие, уставившись в глаза Билли.

Полковник кашлял и кашлял, потом спросил у Билли:

— Из моих ребят?

Этот человек потерял свой полк — около четырех тысяч пятисот человек. Многие из них были совсем детьми. Билли не ответил. Вопрос был бессмысленный.

— Из какой части? — спросил полковник. Потом стал кашлять, кашлять без конца. При каждом вздохе его легкие трещали, как вощеная бумага.

Билли не мог вспомнить номер своей части.

— Из пятидесят четвертого?

— Пятидесят четвертого чего? — спросил Билли.

Наступило молчание.

— Пехотного полка, — сказал наконец полковник.

— А-аа, — сказал Билли.

Снова наступило молчание, и полковник стал умирать, умирать, тонуть на месте. И вдруг прохрипел сквозь мокроту:

— Это я, ребята! Бешеный Боб!

Ему всегда хотелось, чтобы солдаты так его звали — «Бешеный Боб».

Все, кто его мог слышать, были из других частей, кроме Роланда Вири, но Вири ничего не слышал. Ни о чем, кроме адской боли в ногах, Вири думать не мог.

Но полковник воображал, что в последний раз обращается к своим любимым солдатам, и стал им говорить, что стыдиться им нечего, что все поле покрыто трупами врагов и что лучше бы немцам не встречаться с пятьдесят четвертым. Он говорил, что после войны соберет весь полк в своем родном городе — в Коди, штат Вайоминг. И зажарит им целого быка.

И все это он говорил, не сводя глаз с Билли. У Билли в голове звенело от всей этой чепухи.

— Храни вас Бог, ребятки! — сказал полковник, и слова отдались эхом в мозгу Билли. А потом полковник сказал: — Если попадете в Коди, штат Вайоминг, спросите Бешеного Боба.

Я был при этом. И мой дружок Бернард В. О'Хэйр тоже.

Билли Пилигрима посадили в теплушку с множеством других солдат. Его разлучили с Роландом Вири. Вири попал в другой вагон, хотя и в тот же поезд.

По углам вагона, под самой крышей, виднелись узкие отдушины. Билли встал под одной из них, и, когда толпа навалилась на него, он взобрался повыше, на выступающую диа-

гональную угловую скрепу, чтобы дать место другим. Таким образом его глаза оказались на уровне отдушины, и он мог видеть второй состав, ярдах в десяти от них.

Немцы писали на вагонах синими мелками число пленных в каждом вагоне, их звания, их национальность, день посадки. Другие немцы закрепляли задвижки на вагонных дверях проволокой, болтами и всяким другим металлическим ломом, подобранным на путях. Билли слышал, как кто-то писал и на его вагоне, но не видел, кто именно этим занимался.

Большинство солдат в вагоне Билли оказались очень молодыми, почти детьми. Но в угол подле Билли втиснулся бывший бродяга, лет сорока.

— Я и не так голодал, — сказал бродяга Билли. — И бывал кой-где похуже. Не так уж тут плохо.

Из вагона напротив кто-то закричал в отдушину, что у них только что умер человек. Такие дела. Услышали его четверо из охраны. Их эта новость ничуть не взволновала.

— Йа-йа, — сказал один, задумчиво кивая головой. — Йа, йа-аа...

Охрана так и не стала открывать вагон, где был покойник. Вместо этого они отворили соседний вагон, и Билли Пилигрим как зачарованный уставился туда. Там был рай. Там горели свечи и стояли койки с грудой одеял и подушек. Там была пузатая печурка, а на ней — кипящий кофейник. Там стоял стол, и на нем — бутылка вина, коврига хлеба и кусок колбасы. И еще там было четыре миски с супом.

На стенах висели картинки — дворцы, озера, красивые девушки. Это был дом на колесах, и жили в нем железнодорожники, охранявшие грузы, которые шли туда и обратно. Четверо охранников зашли в вагон и задвинули двери.

Немного спустя они вышли, куря сигары и разговаривая с мягким южногерманским акцентом. Один из них увидел лицо



Билли у отдушины. Он ласково погрозил ему пальцем: веди, мол, себя хорошо.

Американцы на другом пути снова крикнули охране, что у них в вагоне покойник. Охранники вынесли носилки из своего уютного вагончика, открыли вагон, где был покойник, и прошли внутрь. Там было почти пусто. В вагоне находилось шесть живых полковников и один мертвый.

Немцы вынесли покойника. Это был Бешеный Боб. Такие дела.

Ночью паровозы стали перекликаться гудками и тронулись с места. На паровозе и на последнем вагоне висел полосатый черно-оранжевый флажок — он показывал, что поезд бомбить нельзя, что он везет военнопленных.

Война шла к концу. Паровозы двинулись на восток в конце декабря. А в мае войне пришел конец. Пока что все германские тюрьмы были переполнены, нечем было кормить пленных, нечем отапливать помещения. И все же пленных везли и везли.

Поезд Билли Пилигрима, самый длинный из всех, простоял еще двое суток.

— Бывает и хуже, — сказал бродяга на второй день. — Бывает куда хуже.

Билли выглянул из отдушины. Пути совсем опустели, только где-то в дальнем тупике стоял санитарный поезд с красными крестами. Паровоз санитарного поезда свистнул. Паровоз Биллиного поезда засвистел в ответ. Паровозы говорили друг дружке: «Здрасьте!»

Хотя поезд, где находился Билли, стоял, но вагоны были заперты наглухо. Никто не смел выйти до прибытия к месту назначения. Для охраны, шагающей взад и вперед, каждый вагон стал самостоятельным организмом, который ел, пил и

облегчался через отдушины. Вагон разговаривал, а иногда и ругался тоже через отдушины. Внутри входили ведра с водой, ковриги черного хлеба, куски колбасы, сыра, а оттуда выходили экскременты, моча и ругань.

Человеческие существа облегчались в стальные шлемы и передавали их тем, кто стоял у отдушины, а те их выливали. Билли стоял на подхвате. Человеческие существа передавали через него и котелки, а охрана наполняла их водой. Когда передавали пищу, человеческие существа затихали, становились доверчивыми и хорошими. Они всем делились.

Человеческие существа лежали и стояли по очереди. Ноги стоявших были похожи на столбы, врытые в теплую землю — она ерзала, рыгала, вздыхала. Землей, как ни странно, была мозаика из человеческих тел, угнездившихся друг подле друга, как ложки в ящике.

А потом поезд двинулся на восток.

Где-то на земле было Рождество. В сочельник Билли Пилигрим и бродяга примостились друг к другу, как ложки в ящике, и Билли заснул и поплыл во времени в 1967 год — в ту ночь, когда его похитило летающее блюдце с Тральфамадора.

4

В НОЧЬ после свадьбы дочери Билли никак не мог уснуть. Ему было сорок четыре года. Свадьбу отпраздновали днем, в саду у Билли, под ярким полосатым тентом. Полоски были черные и оранжевые.

Билли примостился, как ложка, около своей жены Валенсии на большой двухпальной кровати. Их укачивали «волшебные пальцы». Валенсию не надо было укачивать. Валенсия уже храпела, как двуручная пила. У бедной женщины не было ни матки, ни яичников. Их удалил хирург — один из компаньонов Билли, совладельцев гостиницы «Отдых».

Светила полная луна.

Билли встал с кровати в лунном свете. Он казался себе призрачным и лучезарным, как будто его завернули в прохладный мех, наэлектризованный статическим электричеством. Он взглянул на свои босые ноги. Они были цвета слоновой кости с просинью.

Билли прошлепал по коридору наверх, зная, что его скоро похитит летающее блюдо. Коридор был исполосован лунным светом и тьмой. Свет падал в коридор сквозь открытые двери пустых детских, где жили двое детей Билли, пока не выросли. Они уехали отсюда навсегда. Билли вели страх и бесстрашие.

Страх приказывал ему: остановись! Бесстрашие говорило: иди! Он остановился.

Он зашел в комнату дочери. Ящики были выдвинуты. Шкаф стоял пустой. Посреди комнаты были свалены и кучу вещи, которые она не могла взять с собой в свадебное путешествие. У нее был собственный телефонный аппарат «принцесса». Он стоял на подоконнике. Он поблескивал навстречу Билли. И вдруг он зазвонил.

Билли ответил. Оттуда послышался пьяный голос. Билли почти что чувствовал запах — горчичный газ и розы. Оказалось — ошибка. Билли повесил трубку. На подоконнике стояла бутылка лимонаду. Этикетка хвастливо заявляла, что в нем нет никаких питательных веществ.

Билли Пилигрим прошлепал вниз босыми ногами цвета слоновой кости с просинью. Он зашел на кухню, где лунный луч высветил полупустую бутылку шампанского на кухонном столе — все, что осталось от пира под тентом. Кто-то заткнул бутылку пробкой. «Выпей меня!» — как будто говорила бутылка.

Билли вытащил пробку пальцами. Она не хлопнула. Шампанское выдохлось. Такие дела.

Билли взглянул на часы на газовой плите. Надо было как-то убить целый час до прилета блюда. Он пошел в гостиную, помахая бутылкой, как звонком, и включил телевизор. Он слегка отключился от времени, просмотрел последний военный фильм, сперва с конца до начала, потом с начала до конца. Это был фильм об американских бомбардировщиках Второй мировой войны и о храбрых летчиках, водивших самолеты. Когда Билли смотрел картину задом наперед, фильм разворачивался таким путем.

Американские самолеты, изрешеченные пулями, сбитыми и ранеными, взлетали задом наперед с английского аэродро-

ма. Над Францией несколько немецких самолетов налетали на них задом наперед, высасывая пули и осколки из некоторых самолетов и из тел летчиков. То же самое они делали с американскими самолетами, разбившимися о землю, и те взлетали задним ходом и примыкали к своим звеньям.

Звенья летели задом над германским городом, охваченным пламенем. Бомбардировщики открывали бомболюки, и словно каким-то чудом пламя съеживалось, собиралось, собиралось в цилиндрические оболочки бомб, и бомбы втягивались через бомболюки в чрево самолета. Бомбы аккуратно ложились в свои гнезда. Внизу, у немцев, были свои чудо-аппараты в виде длинных стальных труб. Эти трубы высасывали осколки из самолетов и летчиков. Но все же там оставалось несколько раненых американцев, и некоторые самолеты были сильно повреждены. Но тут над Францией появились немецкие истребители и снова всех починили, все стало как новенькое.

Когда бомбы возвращались на базу, стальные цилиндры из гнезд вынимались и отправлялись обратно, в Америку, где заводы работали днем и ночью, разбирая эти цилиндры, превращая их опасную начинку в безобидные минералы. Трогательно было смотреть, сколько женщин участвовало в этой работе. Минералы переправлялись геологам в отдаленные районы. Их делом было снова зарыть в землю и спрятать их как можно хитрее, чтобы они больше никогда никого не увечили.

Американские летчики выскальзывали из своего обмундирования, снова становились школьниками. «А Гитлер, наверно, стал младенцем», — подумал Билли. Но этого в фильме не было. Билли экстраполировал события назад. «Все превратились в младенцев, и все человечество, без исключения, приложило все биологические усилия, чтобы произвести на свет два совершенства — двух людей, должно быть, Адама и Еву», — думал Билли.



Билли просмотрел военный фильм задом наперед, потом опять с начала до конца, а потом было уже пора идти во двор встречать летающее блюдце. И он вышел, топчя иссиня-белыми ногами мокрую, как салат, зеленую лужайку. Он остановился, отпил из бутылки глоток выдохшегося шампанского. Вкус был как у микстуры. Он не подымал глаз к небу, хотя знал, что с Тральфамадора уже прилетело блюдце. Скоро он его все равно увидит, и снаружи и внутри, скоро он увидит, откуда оно пришло, — скоро, очень скоро.

Над головой послышался звук — словно певуче ухнула сова. Но это вовсе не был певучий крик совы — это летело блюдце с Тральфамадора, летело и во времени, и в пространстве, так что Билли Пилигриму показалось, что оно сразу появилось ниоткуда. Где-то залаяла большая собака.

Блюдце было сто футов в диаметре, с иллюминаторами на борту. Из иллюминаторов шел пульсирующий алый свет. Послышался звук, похожий на поцелуй, — это открылся герметический люк в дне блюдца. Оттуда зазмеилась лесенка, вся в разноцветных лампочках, как карусель.

Лучевое ружье, наставленное на Билли из иллюминатора, парализовало его волю. Он чувствовал, что необходимо схватиться за нижнюю ступеньку гибкой лестницы. Так он и сделал. Ступенька была наэлектризована, поэтому ладони Билли крепко пристали к ней. Его втощили в люк, механизм закрыл крышку люка. Только тут лестница, навитая на колесо внутри люка, отпустила его. Только тут мозг Билли опять заработал.

Внутри люка были два глазка — и оттуда смотрели чьи-то желтые глаза. На стене висел репродуктор. У тральфамадорцев голосовых связок не было. Они общались между собой телепатически. С Билли они разговаривали при помощи ком-



пьютера и какого-то электрического прибора, который умел произносить все землянские слова.

— Приветствуем вас на борту, мистер Пилигрим, — произнес голос из громкоговорителя. — Есть вопросы?

Билли облизнул губы, подумал и наконец спросил:

— Почему именно я?

— Это очень земной вопрос, мистер Пилигрим. Почему вы. А почему мы? Почему вообще все? Просто потому, что этот миг таков. Видели вы когда-нибудь насекомое, застывшее в янтаре?

— Да.

Кстати, у Билли в приемной было пресс-папье — кусок полированного янтара с застывшими в нем тремя божьими коровками.

— Вот видите, мистер Пилигрим, сейчас и мы застыли в янтаре этого мига, никаких «почему» тут нет.

В атмосферу, окружавшую Билли, ввели снотворное, и Билли заснул. Его перенесли в кабину, где прикрепили ремнями к желтой кушетке, украденной со склада Сирса и Роубека. Багажник летающего блюдца был битком набит краденными вещами для мебелировки искусственного жилья Билли в тральфамадорском зоопарке.

От страшного ускорения полета блюдца при выходе из земной атмосферы сонное тело Билли скрутилось, лицо исказилось гримасой, и он выпал из времени и снова вернулся на войну.

Когда он пришел в сознание, он был уже не на летающем блюде. Он снова очутился в теплушке и ехал по Германии.

В теплушке одни вставали с пола, другие ложились. Билли тоже собрался лечь. Славно было бы поспать. В вагоне было темным-темно, снаружи — та же темнота. Вагон, казалось, шел со скоростью не более двух миль в час. Ни разу поезд не ускорил ход. Много времени проходило между одним стыком

рельса и другим. Раздавался стук, потом проходил год, и раздавался следующий стук.

Поезд часто останавливался, пропускал действительно важные составы, и те с ревом пролетали мимо. И еще поезд останавливался в тупиках, у тюрем, отцепляя там по нескольку вагонов. Он полз по Германии, становясь все короче и короче.

* * *

И Билли опустился на пол осторожно — ох, до чего осторожно! — держась за поперечину на углу стенки, чтобы стать почти что невесомым для тех, кто уже лежал на полу. Он знал, что, прежде чем улечься на пол, ему надо по возможности стать бесплотным духом. Он позабыл, зачем это нужно, но ему тут же напомнили.

— Пилигрим, — сказал голос того человека, к которому он хотел было пристроиться, — это ты?

Билли ничего не ответил, очень вежливо улегся и закрыл глаза.

— А, черт тебя дерь, — сказал человек. — Ты это или неты? — Он сел и грубо нашарил Билли руками. — Ты, конечно. Убирайся отсюда ко всем чертям!

Билли тоже сел, он чуть не плакал, бедняга.

— Убирайся! Я спать хочу!

— Заткнись, — сказал кто-то.

— Заткнись, когда Пилигрим уберется.

И Билли опять встал, вцепился в поперечину.

— А где же мне спать? — спросил он тихо.

— Только не рядом со мной.

— И не со мной, сукин ты сын, — сказал второй голос. — Ты со сна орешь и брыкаешься.

— Правда?

— Правда, черт подери. И стонешь.

— Правда?

— Не лезь сюда, Пилигрим, слышишь?

И тут весь вагон хором стал нещадно поносить Билли. Почти каждый вспоминал всякие мучения, которые ему пришлось терпеть от Билли Пилигрима, когда тот спал рядом. Почти каждый говорил Билли Пилигриму: не лезь сюда, иди ко всем чертям.

И Билли Пилигриму приходилось спать стоя или совсем не спать. И еду перестали подавать через отдушины, а дни и ночи становились все холоднее и холоднее.

* * *

На восьмой день сорокалетний бродяга сказал Билли:

— Ничего, бывает хуже. А я везде приспособлюсь.

— Правда? — спросил Билли.

На девятый день бродяга помер. Такие дела. И последними его словами были:

— Да разве это плохо? Бывает куда хуже.

Что-то было роковое в его смерти на девятый день. И в соседнем вагоне на девятый день появился покойник. Умер Роланд Вири — от гангрены в искалеченных ногах. Такие дела.

Вири бредил не переставая и в бреду все повторял про «трех мушкетеров», говорил, что умрет, давал множество поручений для своей семьи в Питтсбурге. Но больше всего он хотел, чтобы за него отомстили, и без конца повторял имя своего убийцы. Весь вагон отлично запомнил это имя.

— Кто меня убил? — спрашивал Вири.

И все знали ответ. А ответ был: «Билли Пилигрим».

Слушайте: на десятую ночь из дверей вагона, где ехал Билли, вытащили засов, и двери открылись. Билли боком примостился на поперечнике, словно распяв сам себя, и держался за

край отдушины рукой цвета слоновой кости с просинью. Билли закашлялся, когда открылись двери, а когда он кашлял, он испражнялся жидкой кашицей. Это подтверждало третий закон движения материи, согласно теории сэра Исаака Ньютона. Закон гласит, что каждому действию соответствует противодействие, равное по силе и противоположное по направлению.

Этот закон применяется в ракетостроении.

* * *

Поезд прибыл в тупик около барачных, служивших ранее лагерем уничтожения русских военнопленных.

Охрана совиными глазами разглядывала внутренность вагона Билли и успокаивающе похмыкивала. До сих пор им никогда не приходилось иметь дел с американцами, но общую характеристику такого груза они, конечно, поняли. Они знали, что содержимое вагона, в сущности, представляет собою вещество в жидком состоянии и что это вещество можно выманить из вагона путем применения света и ободряющих звуков. Стояла темная ночь.

Единственный свет шел снаружи от одинокой лампочки, подвешенной на высоком столбе, где-то вдали. Вокруг все было тихо, если не считать голосов охраны, ворковавшей, как голуби. И жидкое вещество стало вытекать. Комки образовывались в дверях, шлепались на землю.

Билли оказался в дверях предпоследним. Последним был бродяга. Но он вытечь уже не мог. Он перестал быть жидким веществом. Он стал камнем. Такие дела.

Билли не желал падать из вагона на землю. Он искренне был уверен, что он разобьется, как стекло. И охрана, ласково воркуя, помогла ему слезть. Они спустили его лицом к поезду. А поезд теперь стал совсем жалкий.

Он состоял из паровоза, тендера и трех небольших теплушек. Последнюю теплушку — земной рай на колесах — занимала охрана. И снова в этом раю на колесах был накрыт стол. Обед был подан.

У основания столба, на котором висела электрическая лампочка, стояло что-то вроде трех стогов сена. Американцев уговорами и шутками заставили подойти к этим стогам, которые оказались вовсе не стогами. Это были груды шинелей, снятых с пленных, которые уже умерли. Такие дела.

Охрана твердо решила, что каждый американец без верхней одежды непременно должен взять себе какую-нибудь шинель. А шинели обледенели, смерзлись настолько, что охране пришлось орудовать штыками вместо ломов, и, подцепив торчащий воротник, рукав или полу, они отдирали какую-нибудь из вещей и отдавали ее кому попало. Шинели стояли колом, жесткие и холодные.

Пальто, которое получил Билли, и без того совсем короткое, так съезжилось и обледенело, что походило на огромную черную треуголку. Оно все было в клейких пятнах цвета ржавчины или скисшего клубничного варенья. К пальто примерзло что-то вроде дохлого мохнатого зверька. На самом деле это был меховой воротничок.

Билли уныло покосился на шинели своих товарищей. На всех этих шинелях болтались либо медные пуговицы, либо галуны, выпушки или номера, нашивки или орлы, полумесяцы или звезды. Это были солдатские шинели. Один только Билли получил пальтецо с мертвого гражданского лица. Такие дела.

Охрана понукала Билли, чтобы он и все остальные отошли от своего унылого поезда и прошли к баракам для пленных. Но ничего хорошего там их не ждало — ни тепла, ни признаков жизни, одни только длинные низкие тесные бараки, бесконечные ряды неосвещенных бараков.

Где-то залаяла собака. От эха в зимней тишине лай собаки звучал как удары огромного медного гонга.

Билли и всех остальных заманивали из одних ворот в другие, и Билли впервые увидел русского солдата. Тот стоял один, в темноте — куль лохмотьев с круглым плоским лицом, светившимся, как циферблат на часах.

Билли прошел в каком-нибудь ярде от русского. Их разделяла колючая проволока. Русский ничего не сказал, не помахал рукой. Но заглянул прямо в душу Билли, ласково, с надеждой, словно Билли мог бы сообщить ему какую-то радостную весть, и хоть он, быть может, эту весть сразу и в толк не возьмет, но все равно, хорошая весть — всегда радость.

Билли совсем осовел, идя через одни ворота за другими, и пришел в себя, только очутившись в здании, похожем, как ему показалось, на что-то тральфамадорское. Оно было ярко освещено и выложено белым кафелем. Однако здание было земное. Это была дезинфекционная камера, через которую пропускались все пленные.

Билли послушно снял с себя одежду. Кстати, и на Трафальмадоре ему тоже прежде всего приказали раздеться.

Немец указательным и большим пальцами стиснул правую руку Билли у бицепса и спросил своего товарища, какая же это страна посылает таких слабаков на фронт. Потом они посмотрели на тела других американцев и потыкали пальцем в тех, кто был ничуть не лучше Билли.

Но одно из самых крепких тел принадлежало немолодому американцу, школьному учителю из Индианаполиса. Звали его Эдгар Дарби. Он прибыл не в том вагоне, где находился Билли. Он прибыл в том вагоне, где находился Роланд Вири. Когда тот умирал, Дарби держал на коленях его голову. Такие



дела. Дарби было сорок четыре года. Он был в таком возрасте, что у него уже был взрослый сын в морской пехоте, на тихоокеанском театре войны.

Дарби использовал свои связи, чтобы по протекции попасть в армию, несмотря на свой возраст. В Индианаполисе он преподавал предмет под названием «Современные проблемы западной цивилизации». Кроме того, он был тренером теннисной команды и очень заботился о своем теле.

Сын Дарби вернулся своим живым и здоровым. А Дарби не вернулся. Его прекрасное тело изрешетили пули: он был расстрелян в Дрездене через шестьдесят восемь дней. Такие дела.

Тело Билли было еще не самым жутким среди американских тел. Самое жуткое тело было у поездного вора из города Цицери, штат Иллинойс. Звали вора Поль Лаззаро. Он был крошечного роста, и у него не только все кости и все зубы были порченые — у него и кожа была страшная. Лаззаро был весь испещрен рубцами величиной с полпенни. Он страдал ужасающим фурункулезом.

Лаззаро тоже прибыл в вагоне, где лежал Роланд Вири, и он дал Вири честное слово, что как-нибудь да расплатится с Билли Пилигримом за смерть Вири. Сейчас он оглядывался, соображая, какое из этих голых тел и есть Билли.

Голые американцы встали под души у выложенной белым кафелем стены. Кранов для регулировки не было. Они могли только дожидаться — что будет. Их детородные органы сморщились, истощились. В тот вечер продолжение рода человеческого никак не стояло на повестке дня.

Невидимая рука повернула где-то главный кран. Из души брызнул кипящий дождь. Дождь походил на огонь паяльной лампы — он не согревал.

Он щекотал и колот кожу Билли, но никак не мог растопить лед в его насквозь промерзшем длинном костяке.



Man the
GUNS
Join the **NAVY**

В то же время одежда американцев дезинфицировалась ядовитыми газами. Вши, и бактерии, и блохи дошли миллионами. Такие дела.

А Билли пролетел во времени обратно в детство. Он был младенцем, и его только что выкупала мама. Теперь мама завернула его в простынку и унесла в розовую комнату, полную солнца. Она развернула его на мохнатой простынке, напудрила между ножками, поиграла с ним, похлопала его по мягкому животику. Ее ладонь легко шлепала по мягкому животику.

Билли пускал пузыри и агукал.

А потом Билли снова стал оптиком средних лет — сейчас он играл в гольф в жаркое воскресное утро. Билли уже перестал ходить в церковь.

Он играл в гольф с тремя другими оптометристами. Билли вышел на поле, настала его очередь бить.

Надо было послать мяч на восемь футов, и Билли сыграл удачно. Он наклонился, чтобы взять мяч из лунки, а солнце зашло за облако. У Билли закружилась голова. Когда он очнулся, он уже был не на лугу. Он был привязан к желтой кушетке в белой камере на борту летящего блюдца, которое направлялось па Тральфамадор.

— Где я? — спросил Билли.

— Застыли в другом куске янтаря, мистер Пилигрим. Мы там, где мы и должны сейчас быть, — в трехстах миллионах миль от Земли, и направляемся по тому витку времени, который приведет нас на Тральфамадор, но не через века, а через несколько часов.

— Но как — как я попал сюда?

— Это мог бы вам объяснить только другой житель Земли. Земляне — любители все объяснять, они объясняют, почему данное событие сложилось так, а не иначе, они даже рассказывают, как можно было бы отвратить или вызвать какое-нибудь событие. Но я — тральфамадорец и вижу время, как вы

видите сразу единую горную цепь Скалистых гор. Время есть все время... Оно неизменно. Его нельзя ни объяснить, ни предугадать. Оно просто есть. Рассмотрите его миг за мигом — и вы поймете, что мы просто насекомые в янтаре.

— По вашим словам выходит, что вы не верите в свободу воли, — сказал Билли Пилигрим.

— Если бы я не потратил столько времени на изучение землян, — сказал тральфамадорец, — я бы понятия не имел, что значит «свобода воли». Я посетил тридцать одну обитаемую планету во Вселенной, и я изучил доклады еще о сотне планет. И только на Земле говорят о «свободе воли».

5

Билли Пилигрим говорит, что для существ с планеты Тральфамадор Вселенная вовсе не похожа на множество сверкающих точек. Эти существа могут видеть, где каждая звезда была и куда она идет, так что для них небо наполнено редкими светящимися макаронинами. И люди для тральфамадорцев вовсе недвуногие существа. Им люди представляются большими тысяченожками, «и детские ножки у них на одном конце, а ноги стариков — на другом». Так объясняет Билли Пилигрим.

По дороге на Тральфамадор Билли попросил дать ему что-нибудь почитать. У его похитителей было пять миллионов земных книг в виде микрофильмов, но в кабине Билли их нельзя было проецировать. У них была одна-единственная английская книга, которую они везли в тральфамадорский музей. Это была «Долина кукол» Жаклины Сюзанн.

Билли прочел эту книгу и решил, что местами она довольно интересна. Герои книги, конечно, переживали удачи и неудачи: то удачи, а то неудачи. Но Билли надоело без конца читать про все эти удачи и неудачи. Он попросил: пожалуйста, нельзя ли достать ему еще какую-нибудь книжку.

— У нас только тральфамадорские романы, но я боюсь, что вы их не поймете, — сказал динамик на стенке.

— Дайте мне хотя бы взглянуть на них.

Ему подали несколько штук. Они были совсем маленькие, понадобилось бы штук двенадцать, чтобы вышла книга толщиной с «Долину кукол» со всеми ее удачами и неудачами: то — удачами, а то — неудачами.

Разумеется, Билли не умел читать по-тральфамадорски, но он хотя бы увидел, как эти книги напечатаны: небольшие группы знаков отделялись звездочками. Билли предположил, что эти группы знаков — телеграммы.

— Точно, — сказал голос.

— Значит, это действительно телеграммы?

— У нас на Тральфамадоре телеграмм нет. Но в одном вы правы: каждая группа знаков содержит краткое и важное сообщение — описание какого-нибудь положения или события. Мы, тральфамадорцы, никогда не читаем их все сразу, подряд. Между этими сообщениями нет особой связи, кроме того, что автор тщательно отобрал их так, что в совокупности они дают общую картину жизни, прекрасной, неожиданной, глубокой. Там нет ни начала, ни конца, ни напряженности сюжета, ни морали, ни причин, ни следствий. Мы любим в наших книгах главным образом глубину многих чудесных моментов, увиденных сразу, в одно и то же время.

В следующий миг летающее блюдце сделало виток во времени, и Билли был отброшен назад, в детство. Ему было двенадцать лет, и он стоял, трясясь от страха, рядом с отцом и матерью на самом краю Большого каньона — на выступе Брайт-эйнджел. Маленькое человеческое семейство глядело вниз, на дно каньона в милю глубиной.

— М-да-аа, — сказал отец Билли и мужественно метнул в пропасть камешек носком ботинка. — Вот оно как...

Они приехали на это знаменитое место в своей машине. По дороге у них было семь проколов.

— Да, стоило ехать! — восхищенно сказала мать Билли. — И еще как стоило, боже мой!

Билли с ненавистью смотрел на каньон. Он был уверен, что сейчас упадет туда. Мать слегка задела его, и он намочил штаны.

Другие туристы тоже смотрели вниз, в пропасть, а лесник стоял тут же, отвечая на вопросы. Француз, приехавший специально из Франции, спросил, много ли людей кончают тут с собой, прыгая вниз.

— Да, сэр, — ответил лесник, — человека три в год. Такие дела.

Тут Билли совершил совсем коротенький виток во времени, этакий прыжок в десять дней, так что ему все еще было двенадцать лет и он все еще путешествовал со своими родителями по Западу. Сейчас они стояли в Карлсбадской пещере, и Билли молил Бога вывести его отсюда, пока не обвалился потолок.

Лесник объяснил, что пещеры открыл один ковбой, который увидел, как огромная стая летучих мышей вылетела из ямы в земле. Потом лесник сказал, что сейчас потушит весь свет и что, наверное, многие из туристов впервые в жизни окажутся в абсолютной темноте.

И свет потух, Билли даже не понимал, жив он или умер. И вдруг какой-то призрак поплыл в воздухе слева от него. На призраке стояли цифры. Это отец Билли достал из кармана свои часы. У часов был светящийся циферблат.

Из полной тьмы Билли попал в полный свет, снова оказался на войне, снова очутился в дезинфекционной камере. Душ кончился. Невидимая рука закрыла воду.

Когда Билли получил обратно свою одежду, она не стала чище, но все мелкие насекомые, жившие там, умерли. Такие дела. А это новое пальто оттаяло и обмякло. Оно было слишком мало для Билли. На пальто был меховой воротничок и

красная шелковая подкладка, и сшито оно было, очевидно, на какого-то импресарио ростом не больше мартышки шарманщика. Все оно было изрешечено пулями.

Билли Пилигрим оделся. Он надел и тесное пальтишко. Оно сразу лопнуло на спине, а рукава сразу оторвались у проймы. И пальто превратилось в жилетку с меховым воротничком. По идее, оно должно было расширяться у талии, но оно расширялось у Билли под мышками. Никогда еще за всю Вторую мировую войну немцы не видали такого немисливо смешного зрелища. И они хохотали, хохотали, хохотали вовсю.

Немцы велели всем построиться по пять в ряд во главе с Билли. И снова всех повели через множество ворот. Навстречу попало еще несколько голодных русских с лицами, похожими на светящиеся циферблаты. Американцы немного ожили. Возня с горячей водой их подбодрила. Они подошли к бараку, где одноногий и одноглазый капрал записал фамилии и номера всех пленных в большую толстую красную конторскую книгу. Теперь все они были законно признаны живыми. До того как их имена и номера попали в эту книгу, они считались пропавшими без вести, а может, и убитым.

Такие дела.

Пока американцы ждали разрешения двинуться дальше, в самом последнем ряду вспыхнула ссора. Один из американцев пробормотал что-то такое, что не поправилось охраннику: охранник понимал по-английски и, выхватив американца из строя, сбил его с ног.

Американец удивился. Он встал шатаясь, плюя кровью. Ему выбили два зуба. Он никого не хотел обидеть своими словами и даже не представлял себе, что охранник его услышит и поймет.

— За что меня? — спросил он охранника.

Охранник втолкнул его в строй.



— Са што тепя? — спросил он по-английски.— Са што тепя? А са што всех труких?

После того как имя Билли записали в толстый гроссбух лагеря военнопленных, ему выдали номер и железную бирку, на которой был выбит этот номер. Пленный поляк отштамповал эти бирки. Потом он умер. Такие дела.

Билли приказали повесить эту бирку на шею вместе со своими американскими бирками. Он так и сделал. Бирка была похожа на соленый крекер, продырявленный посредине так, чтобы сильный человек мог переломить ее голыми руками. Если Билли помрет, чего не случилось, половина бирки останется на его трупe, а половину прикрепят над могилой.

Когда беднягу Эдгара Дарби, школьного учителя, расстреляли в Дрездене, доктор констатировал смерть и переломил его бирку пополам. Такие дела.

Записанных и пронумерованных американцев снова повели через ряд ворот. Пройдет несколько дней, и их семьи узнают через Международный Красный Крест, что они живы.

Рядом с Билли шел маленький Поль Лаззаро, который обещал отомстить за Роланда Вири. Но Лаззаро не думал о мести. Он думал о страшной боли в животе. Желудок у него сохся, стал не больше грецкого ореха. И этот сморщенный сухой мешочек болел, как нарыв.

За Лаззаро шел несчастный, обреченный старый Эдгар Дарби, и американские немецкие бирки, как ожерелье, украшали его грудь. По своему возрасту и образованию он рассчитывал стать капитаном, командиром роты. А теперь он шел в темень где-то у чехословацкой границы.

— Стой! — скомандовал охранник.

Американцы остановились. Они спокойно стояли на морозе. Бараки, у которых они остановились, снаружи были похо-

жи на тысячи других бараков, мимо которых они проходили. Разница была только в том, что у этого барака были трубы и оттуда летели снопы искр.

Один из охранников постучал в двери.

Двери распахнулись изнутри. Свет вырвался на волю со скоростью ста восьмидесяти шести тысяч миль в секунду. Из барака торжественно вышли пятьдесят немолодых англичан. Они пели хором из оперетты «Пираты Пензанса»: «Ура! Ура! Явились все друзья!»

Эти пятьдесят голосистых певунов были одними из первых англичан, взятых в плен во время Второй мировой войны. Теперь они пели, встречая чуть ли не последних пленных. Четыре года слишком они не видели ни одной женщины, ни одного ребенка. Они даже птиц не видали. Даже воробьи в лагерь не залетали.

Все англичане были офицеры. Каждый из них хоть раз пытался бежать из лагеря. И вот они оказались тут — незыблемый островок в мире умирающих русских.

Они могли вести какие угодно подкопы. Все равно они выходили на поверхность в участке, огороженном колючей проволокой, где их встречали ослабевшие, голодные русские, не знавшие ни слова по-английски. Ни пищи, ни полезных сведений у них получить было нельзя. Англичане могли сколько угодно придумывать — как бы им спрятаться в какой-нибудь машине или украсть грузовик. Все равно никакие машины на их участок не заезжали. Они сколько угодно могли притворяться больными, все равно их никуда не отправляли. Единственным госпиталем в лагере был барак на шесть коек в самом английском блоке.

Англичане были аккуратные, жизнерадостные, очень порядочные и крепкие. Они пели громко и согласно. Все эти годы они пели хором каждый вечер.

Кроме того, англичане все эти годы выжимали гири и делали гимнастику. Животы у них были похожи на стиральные до-

ски. Мускулы на ногах и плечах походили на пушечные ядра. Кроме того, они все стали мастерами по шахматам и шашкам, по бриджу, криббеджу, домино, анаграммам, шарадам, пинг-понгу и бильярду.

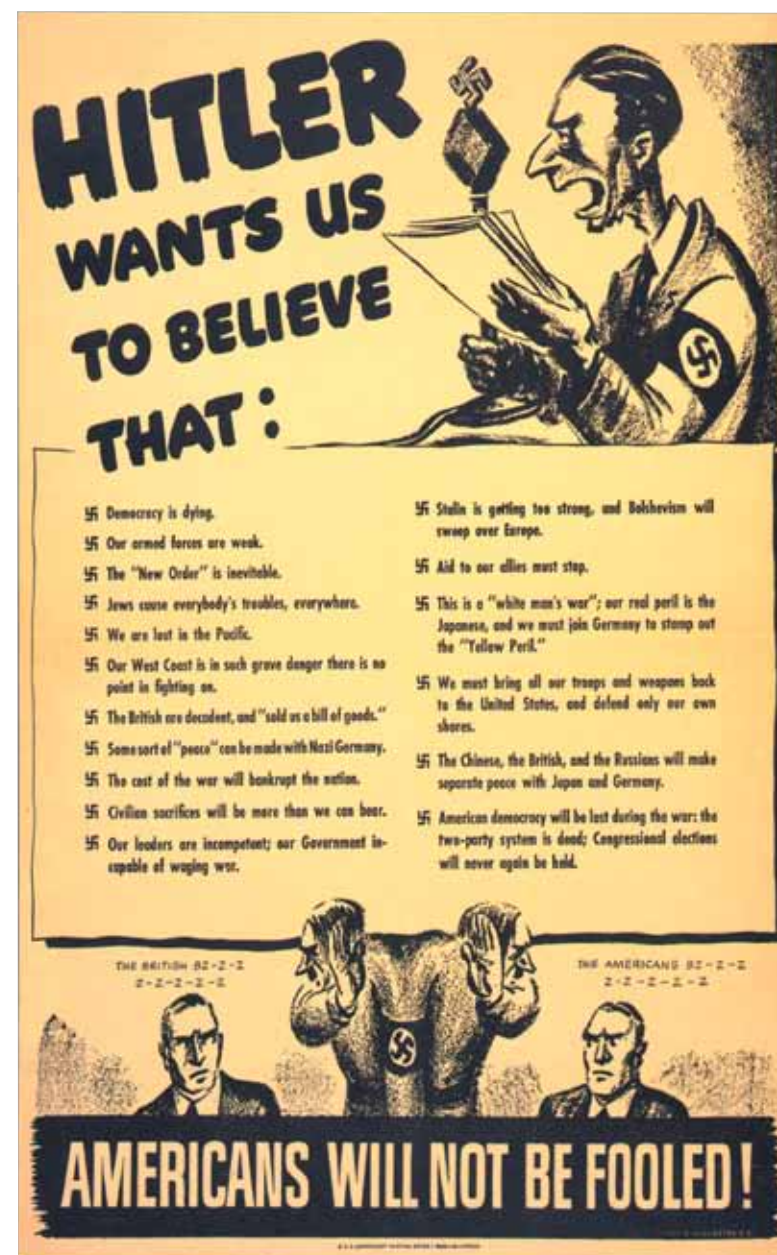
Что же касается запасов еды, то они были самыми богатыми людьми в Европе. Из-за канцелярской ошибки в самом начале войны, когда пленным еще посылали посылки, Красный Крест стал посылать им вместо пятидесяти по пятьсот посылок в месяц. Англичане прятали их так хитро, что теперь, к концу войны, у них скопилось три тонны сахара, тонна кофе, тысяча сто фунтов шоколаду, семьсот фунтов табаку, тысяча семьсот фунтов чаю, две тонны муки, тонна мясных консервов, тысяча сто фунтов масла в консервах, тысяча шестьсот фунтов сыру в консервах, восемьсот фунтов молока в порошке и две тонны апельсинового джема.

Все это они держали в темном помещении. Все помещение было обито расплюснутыми жестянками из-под консервов, чтобы не забрались крысы.

Немцы их обожали, считая, что они точно такие, какими должны быть англичане. Воевать с такими людьми было шикарно, разумно и интересно. И немцы предоставили англичанам четыре барака, хотя все они могли поместиться в одном. А в обмен на кофе, или шоколад, или табак немцы давали им краску, и доски, и гвозди, и парусину, чтобы можно было устроиться как следует.

Англичане уже накануне знали, что привезут американских гостей. До сих пор к ним гости не ездили, потому они и взялись за работу, как добрые дяди-волшебники, и стали мести, мыть, варить, печь, делать тюфяки из парусины и соломы, расставлять столы и ставить флажки у каждого места за столом.

И вот они приветствовали гостей песней в зимнюю ночь. От англичан вкусно пахло пиршеством, которое они приго-



товили. Одеты они были наполовину в военное, наполовину в спортивное платье — для тенниса или крокета. Они были так восхищены своим собственным гостеприимством и пиршеством, ожидающим гостей, что они даже не рассмотрели, кого они встречают хоровым пением. Они вообразили, что поют таким же офицерам, как они сами, прибывшим прямо с фронта.

Они ласково подталкивали американцев к дверям с мужественными шутками и прибаутками. Они называли их «янки», говорили «молодцы ребята», обещали, что «Джерри¹ скоро будет драпать».

Билли Пилигрим никак не мог сообразить, кто такой «Джерри».

Билли уже сидел в бараке рядом с докрасна раскаленной железной плитой. На плите кипело с десяток чайников. Некоторые чайники были со свистками. Тут же стоял волшебный котел, полный золотистого супа. Суп был густой. Первобытные пузыри с ленивым величием всплывали со дна перед удивленным взором Билли.

На длинных столах было расставлено угощение. На каждом месте стояла чашка, сделанная из консервной банки из-под порошкового молока. Банка пониже изображала блюдце. Узкая и высокая банка служила бокалом. Бокал был полон теплого молока.

На каждом месте лежала безопасная бритва, губка, пакет лезвий, плитка шоколада, две сигары, кусок мыла, десяток сигарет, коробка спичек, карандаш и свечка.

Только свечи и мыло были германского происхождения. Чем-то и мыло и свечи были похожи — какой-то призрачной

¹ Jerry — немец (англ., сленг).

прозрачностью. Англичане не могли знать, что и свечи и мыло были сделаны из жира уничтоженных евреев, и цыган, и бродяг, и коммунистов, и всяких других врагов фашистского государства.

Такие дела.

Банкетный зал был ярко освещен этими свечами. На столах — груды еще теплого белого хлеба, куски масла, банки варенья. На тарелках — ломти консервированного мяса. Суп, яичница и горячий пирог с повидлом ждали своей очереди.

А в дальнем конце барака Билли увидел розовые арки, с которых спускались небесно-голубые портьеры, и огромные стенные часы, и два золотых трона, и ведро, и половую тряпку. В этих декорациях англичане собирались разыгрывать гвоздь вечера — музыкальную комедию «Золушка» собственного сочинения, на тему одной из самых любимых сказок.

Билли Пилигрим вдруг загорелся — он слишком близко стоял у раскаленной печки. Горела пола его пальтишка. Огонь тлел спокойно, терпеливо, как трут.

А Билли думал: нет ли тут телефона? Хотел позвонить своей маме и сообщить ей, что он жив и здоров.

Стояла тишина: англичане с удивлением смотрели на зловонные существа, которых они, весело пританцовывая, втащили в барак. Один англичанин увидел, что Билли горит.

— Да ты горишь, приятель, — сказал он и, оттянув Билли от печки, стал сбивать огонь руками.

И когда Билли ничего не сказал, англичанин спросил его:

— Вы можете говорить? Вы меня слышите?

Билли кивнул.

Англичанин потрогал его, пощупал и жалобно сказал:

— Бог мой, да что же они с вами сделали? Это же не человек — это же сломанная игрушка!



— А вы и вправду американец? — спросил англичанин, помолчав.

— Да, — сказал Билли.

— А ваше звание?

— Рядовой.

— Где же ваши сапоги, приятель?

— Не помню.

— А пальто для смеху, что ли?

— Сэр?

— Где вы его выкопали?

Билли сначала подумал, потом сказал:

— Выдали мне.

— Джерри вам его выдал?

— Кто?

— Ну немцы. Выдали вам эту штуку?

— Да.

Билли надоели расспросы. Он от них устал.

— О-о, янк, янк, янк! — сказал англичанин. — Да это же оскорбление!

— Сэр?

— Они нарочно старались вас унижить. Нельзя допускать, чтобы Джерри позволял себе такие выходки.

Но тут Билли Пилигрим потерял сознание.

Билли пришел в себя на стуле, перед сценой. Как-то его накормили, и теперь он смотрел «Золушку». Очевидно, какой-то частью своего сознания Билли восхищался спектаклем. Он громко хохотал.

Женские роли, разумеется, играли мужчины. Часы только что пробили полночь, и Золушка в отчаянии пела басом:

Бьют часы, ядрена мать,
Надо с бала мне бежать!

Этот куплетик показался Билли таким смешным, что он уже не просто хохотал — он визжал от смеха. Он визжал, пока его не вынесли из барака в другой барак, госпитальный. Госпиталь был на шесть коек. Других больных там не было.

Билли уложили, привязали к постели и сделали ему укол морфия. Другой американец вызвался посидеть около него. Добровольной сиделкой был Эдгар Дарби, школьный учитель, которого потом расстреляли в Дрездене. Такие дела.

Дарби сидел на трехногой табуретке. Ему дали почитать книжку. Это был роман Стивена Крейна «Алый знак доблести». Когда-то Дарби уже читал эту книгу. Теперь он ее перечитывал, пока Билли погружался в морфийный рай.

От морфия Билли видел сон: жирафов в саду. Жирафы шли по усыпанной гравием дорожке, останавливаясь, чтобы пожевать сладкие груши, росшие на ветках деревьев. Билли тоже был жирафом. Он жевал грушу. Груша была твердая. Она не поддавалась его скрежещущим челюстям. Но вдруг раскололась, обиженно истекая соком.

Жирафы признали Билли за своего, за безобидное существо, такое же странное, как они сами. Они окружили его со всех сторон, ласкались к нему. Их длинные подвижные верхние губы вытягивались в трубочку. Они целовали Билли мягкими губами. Это были самочки жирафов — цвета топлёных сливок и лимонада. У них были рожки, похожие на дверные ручки. Рожки были совсем как бархатные.

Почему?

Ночь опустилась на сад с жирафами. Билли уже спал без снов, а потом стал путешествовать во времени. Он проснулся, укрытый с головой одеялом, в палате для тихих психических больных в военном госпитале близ Лейк-Плэсида, в штате Нью-Йорк. Была весна 1948 года. Война окончилась три года назад.

Билли высунул голову из-под одеяла. Окна в палате были открыты. Птицы щебетали за окном. «Пьюти — фьют?» — спросила одна из них у Билли. Солнце стояла высоко. В палате было еще двадцать девять больных, но все они гуляли, наслаждаясь хорошей погодой. Они могли свободно уходить и приходить, даже если захотят, уйти совсем домой, да и Билли Пилигрим тоже. Пришли они сюда добровольно, напуганные внешним миром.

Билли поступил в госпиталь в середине последнего семестра на илиумских курсах оптометрии. Никто и не подозревал, что он свихнулся. Все считали, что он чудесно выглядит и чудесно ведет себя. А он попал в госпиталь. И доктора согласились. Он действительно свихнулся.

Но доктора считали, что война тут ни при чем. Они считали, что Билли расклеился, потому что отец когда-то бросил его в бассейн ХАМЛ, на глубоком месте, а потом привел его к пропасти у Большого каньона.

Рядом с Билли лежал бывший капитан пехоты по имени Элиот Розуотер. Он лечился от затяжного запоя.

Именно Розуотер пристрастил Билли к научной фантастике, и особенно к сочинениям некоего Килгора Траута. Под кроватью у Розуотера скопилось невероятное количество дешевых изданий научной фантастики. Он привез их в госпиталь в дорожном чемодане. От любимых, истрепанных книг шел запах по всей палате, как от фланелевой пижамы, ношенной больше месяца, или от тушеного кролика.

* * *

Килгор Траут стал любимым современным писателем Билли, а научная фантастика — единственным жанром литературы, какой он мог читать.

Розуотер был вдвое умней Билли, но оба они одинаково переживали одинаковый кризис в жизни. Обоим жизнь каза-

лась бессмысленной, отчасти из-за того, что им пришлось пережить на войне. Например, Розуотер нечаянно пристрелил четырнадцатилетнего парнишку-пожарника, приняв его за немецкого солдата. А Билли видел величайшую бойню в истории Европы — бомбежку города Дрездена. Такие дела.

И теперь они оба пытались преобразовать и себя, и свой мир. И научная фантастика была им большим подспорьем.

Розуотер однажды сказал Билли интересную вещь про книгу, не относящуюся к научной фантастике. Он сказал, что абсолютно все, что надо знать о жизни, есть в книге «Братья Карамазовы» писателя Достоевского.

— Но теперь и этого мало, — сказал Розуотер.

В другой раз Билли услышал, как Розуотер говорил психиатру:

— По-моему, вам, господа, придется насочинять тьмутящую всякой потрясающей новой брехни, иначе людям станет совсем неохота жить.

На столике у Билли был целый натюрморт: две пилюли, пепельница с тремя окурками в губной помаде — один из них еще тлел — и стакан с минеральной водой. Вода уже выдохлась. Пузырьки еще пытались вырваться из этой мертвой воды. Некоторые пузырьки прилипли к стенкам — у них не хватало сил подняться кверху.

Сигареты оставила мать Билли, курившая беспрестанно. Она пошла в дамскую уборную, неподалеку от палаты, где лежали девушки из вспомогательных служб армии и флота США, которые малость рехнулись. Каждую минуту мать могла вернуться.

И Билли снова укрылся с головой. Он всегда прятался под одеяло, когда мать приходила навещать его в палате для нервнобольных, а когда она уходила, ему становилось гораздо



хуже. И вовсе не потому, что она была какая-нибудь уродина, или от нее пахло плохо, или характер у нее был скверный. Нет, она была совершенно стандартная, милая темноволосая белая женщина с высшим образованием.

Она просто расстраивала Билли, потому что она — его мать. При ней он чувствовал себя неблагодарным, растерянным и беспомощным, потому что она потратила столько сил, чтобы дать ему жизнь, помочь ему в жизни, а Билли эта жизнь вовсе не по душе.

Билли слышал, как Розуотер вошел и лег. Об этом громко рассказывали пружины на кровати Розуотера. Розуотер был крупный человек, но какой-то не очень сильный, как будто его слепили наспех из пластилина.

И тут вернулась из дамской уборной мать Билли и уселась на стул между постелями Розуотера и Билли. Розуотер поздоровался с ней ласковым звучным голосом, спросил, как она поживает. Казалось, он весь просиял, услышав, что она поживает хорошо. В порядке опыта он старался проявлять самое горячее сочувствие ко всем, кого встречал. Он думал, что от этого жить на свете станет хоть немножко приятнее. Он называл мать Билли «дорогая». В порядке опыта он всех называл «дорогими».

— Наступит день, — сказала она Розуотеру, — когда войду сюда, а Билли снимет одеяло с головы и скажет — знаете что?

— Что же он скажет, дорогая?

— Он скажет: «Здравствуй, мамочка» — и улыбнется. И еще скажет: «Ух, как хорошо, что ты пришла, мамочка. Как же ты живешь?»

— Да, могло бы так быть и сегодня.

— Каждый вечер молюсь за него.

— Как это *прекрасно!*

— Люди, наверно, удивились бы, если им сказать: как много хорошего случается на свете благодаря молитве.

— Ваша правда, дорогая, ваша правда.

— А ваша матушка часто вас навещает?

— Моя мать умерла, — сказал Розуотер.

Такие дела.

— О, простите!

— По крайней мере она прожила всю жизнь очень счастливо.

— Да, это, конечно, утешение.

— Да.

— Отец у Билли тоже умер, — сказала мать Билли.

Такие дела.

— Мальчику отец *необходим.*

И так без конца шел разговор между наивной женщиной, слепо верящей в силу молитвы, и огромным опустошенным человеком, который на все отзывался как ласковое эхо.

— Он был первым учеником, когда это с ним случилось, — сказала мать Билли.

— Может быть, он переутомился, — сказал Розуотер.

В руках у него была книга, и ему очень хотелось читать, но из вежливости он не мог одновременно и читать, и разговаривать с матерью Билли, хотя отвечать ей впопад было совсем легко. Книга называлась «Маньяки четвертого измерения» Килгора Траута. Книга описывала психически больных людей, которые не поддавались лечению, потому что причины заболеваний лежали в четвертом измерении и ни один трехмерный врач-землянин никак не мог определить эти причины и даже вообразить их не мог.

Розуотеру очень понравилось одно высказывание Траута: что и вампиры, и оборотни, и ангелы, и домовые действительно существуют, но существуют они в четвертом измерении. К четвертому измерению, как утверждал Траут, принадлежит и Уильям Блейк, любимый поэт Розуотера. И рай и ад — тоже.

— Он обручен с очень-очень богатой девушкой, — сказала мать Билли.

— Это хорошо, — сказал Розуотер. — Деньги иногда могут очень украсить жизнь человека.

— Конечно, могут.

— Да, вот именно, могут.

— Не очень-то весело зажимать в кулаке каждый грош, прямо до судороги.

— Да, всегда хочется жить посвободней.

— Отец девушки — владелец оптометрических курсов, где учится Билли, еще у него шесть врачебных кабинетов в нашем районе. И собственный самолет, и дача на озере Джордж.

— Очень красивое озеро.

Билли уснул под одеялом. Проснулся он снова в госпитальном бараке, привязанный к больничной койке. Он приоткрыл один глаз и увидел, что бедный старый Эдгар Дарби читает при свете «Алый знак доблести».

Билли прикрыл глаз и увидел в памяти будущего, как бедный старый Эдгар Дарби стоит перед немецким карательным взводом на развалинах Дрездена. В отряде, расстрелявшем Эдгара Дарби, было всего четыре человека. Билли как-то слышал, что обычно одному из взвода дают винтовку с холостым патроном. Но Билли сомневался, что в таком маленьком отряде, да еще в такой долгой войне, кому-то выдадут холостой патрон.

Тут в барак, где лежал Билли, зашел его проведать командир англичан. Он был полковником пехоты и попал в плен еще при Дюнкерке. Это он сделал Билли укол морфия. Настоящего врача в их бараках не было, так что всех лечил этот полковник.

— Ну, как наш пациент? — спросил он Эдгара Дарби.

— Лежит как мертвый.

— Но на самом деле он не умер?

— Нет.



— Как приятно — ничего не чувствовать и все же считаться живым.

Дарби спохватился и с унылым видом встал «смирно».

— Нет, нет, прошу вас — вольно! Тут на каждого офицера приходится всего двое рядовых, а рядовые при этом все больны, так что, по-моему, мы вполне можем обойтись без обычных церемоний между офицерами и солдатами.

Но Дарби остался стоять.

— Вы с виду старше остальных, — заметил офицер.

Дарби сказал, что ему сорок пять лет, оказалось, что он на два года старше полковника. Полковник сказал, что все американцы уже побрились и только у Билли и у Дарби остались бороды. И он еще сказал:

— Знаете, нам тут приходилось вообразить — какая там идет война, и мы считали, что в этой войне сражаются немолдые люди вроде нас с вами. Мы забыли, что войну ведут младенцы. Когда я увидел эти свежесбранные физиономии, я был потрясен. «Бог ты мой! — подумал я. — Да это же крестовый поход детей!»

Полковник спросил беднягу Дарби, как он попал в плен, и Дарби рассказал, как он сидел в зарослях с сотней других перепуганных насмерть солдат. Бой шел уже пятый день. Эту сотню загнали в заросли танки.

Дарби описывал ту невыносимую атмосферу, которую искусственно создают одни земляне, когда они не хотят оставить других землян жить на Земле. Снаряды со страшным грохотом рвались в верхушках деревьев, рассказывал Дарби, из них сыпались ножи, иглы и бритвы. Маленькие кусочки свинца в медной оболочке шныряли пониже взрывающихся снарядов со скоростью быстрее скорости звука.

И многие люди были ранены или убиты. Такие дела.

Потом обстрел артиллерии прекратился, и скрытый немец с мегафоном велел американцам сложить оружие и выйти из

лесу, положив руки на голову, иначе обстрел начнется снова и не прекратится, пока всех не убьют.

И американцы сложили оружие и вышли из лесу, положив руки на голову, потому что им хотелось жить, если была хоть малейшая возможность.

Билли снова пропутешествовал во времени обратно в госпиталь ветеранов войны. Снаружи все было тихо. Он по-прежнему был с головой укрыт одеялом.

— Моя мать ушла? — спросил Билли.

— Да.

Билли выглянул из-под одеяла. У постели на стуле посетителей теперь сидела его невеста. Ее звали Валенсия Мербл. Валенсия была дочерью владельца Илиумских оптометрических курсов. Она была очень богата. Она была огромная, как дом, потому что без конца что-то ела. Она и сейчас ела. И ела она шоколадку «Три мушкетера». На ней были выпуклые очки в пестрой оправе, и вся оправка была усыпана фальшивыми бриллиантками. К блеску этих камешков примешивался блеск настоящего бриллианта в обручальном кольце. Бриллиант был застрахован в тысячу восемьсот долларов. Билли нашел этот бриллиант в Германии. Это был военный трофей.

Билли вовсе не хотел жениться на некрасивой Валенсии. Их обручение было симптомом его заболевания. Он понял, что сходит с ума, когда услышал, как он сам делает ей предложение, просит ее принять бриллиантовое кольцо и стать спутницей его жизни.

Билли поздоровался с невестой, и она спросила, не хочет ли он конфетку, и он сказал:

— Нет, спасибо.

Она спросила его, как он себя чувствует, и он сказал:

— Спасибо. Гораздо лучше.

Она сказала, что все слушатели оптометрических курсов огорчены его болезнью и надеются, что он вскоре выздоровеет, и Билли сказал:

— Увидишь их, передай им привет.

Она обещала передать им привет.

Она спросила, не может ли она принести ему что-нибудь с воли, и он сказал:

— Нет, у меня есть все, что мне нужно.

— А книжки? — сказала Валенсия.

— У меня тут рядом одна из самых больших частных библиотек в мире, — сказал Билли, намекая на собрание научной фантастики под кроватью Элиота Розуотера.

Розуотер читал, лежа на соседней кровати, и Билли втянул его в разговор, спросив, что он читает.

Розуотер ответил сразу. Он сказал, что читает «Космическое евангелие» Килгора Траута. Это была повесть про пришельца из космоса, кстати, очень похожего на тральфадорца. Этот пришелец из космоса серьезно изучал христианство, чтобы узнать, почему христиане легко становятся жестокими. Он решил, что виной всему неточность евангельских повествований. Он предполагал, что замысел Евангелия был именно в том, чтобы, кроме всего прочего, учить людей быть милосердными даже по отношению к ничтожнейшим из ничтожных.

Но на самом деле Евангелие учило вот чему: *прежде чем кого-то убить, проверь как следует, нет ли у него влиятельной родни?* Такие дела.

Загвоздка во всех рассказах о Христе, говорит пришелец из космоса, в том, что Христос, с виду такой незаметный, на самом деле был Сыном Самого Могущественного Существа во Вселенной. Читатели это понимали, так что, дойдя до описа-

ния распятия, они, естественно, думали... тут Розуотер снова прочел несколько слов вслух:

— *«О черт, они же собираются линчевать совсем не того, кого надо».*

А эта мысль рождала следующую: значит, *есть те, кого надо линчевать.* Кто же они? Люди, у которых нет влиятельной родни.

* * *

Пришелец из космоса подарил землянам новое Евангелие. В нем Христос действительно был никем и страшно раздражал людей с более влиятельной родней, чем у него. Но он, конечно, и тут говорил все те же чудесные и загадочные слова, какие приводились в прежних Евангелиях.

Тогда люди устроили себе развлечение и распяли его на кресте, а крест вкопали в землю. Никаких откликов это дело не вызовет, думали эти линчеватели. То же самое думал и читатель нового Евангелия, потому что ему все время вдалбливали, что Христос был без роду без племени.

И вдруг, прежде чем сирота скончался, разверзлись небеса, загремел гром, засверкала молния. Глас Божий раскатился над землей. И Бог сказал, что нарекает сироту своим сыном и на веки веков наделяет его всей властью и могуществом сына Творца Вселенной. И Господь изрек: отныне он покарает страшной карой каждого, кто будет мучить любого бродягу без роду и племени!

Невеста Билли доела шоколадку «Три мушкетера» и теперь жевала конфету «Млечный Путь».

— К черту книжки, — сказал Розуотер, швырнув эту книгу под кровать.

— А книжка, кажется, интересная, — сказала Валенсия.

— О черт, если бы только этот Килгор Траут умел писать! — воскликнул Элиот Розуотер. Розуотер считал, что непопулярность Килогра Траута была вполне заслуженной. Прозу он писал прескверную. Только мысли были хорошие.

— По-моему, он никогда и не выезжал из Америки, — добавил Розуотер. — Пишет, черт его возьми, про землян вообще, а они у него все — американцы. А фактически чистокровных американцев на земле почти что нет.

— А где он живет? — спросила Валенсия.

— Никто не знает, — ответил Розуотер. — И вообще, насколько я могу судить, я — единственный человек, который о нем слышал. Ни одно издательство не выпускает две его книги подряд. Каждый раз, как я ему пишу на адрес издательства, письмо возвращается, потому что издатель прогорел.

И чтобы переменить тему разговора, он похвалил обручальное кольцо Валенсии.

— Благодарю вас, — сказала она и протянула кольцо Розуотеру, чтобы он как следует рассмотрел камень. — Билли привез его с войны.

— И в войне есть свои приятности, — сказал Розуотер. — Каждый привозит с нее хоть какой-то пустячок.

Кстати, о месте жительства Килгора Траута: на самом деле он жил в Илиуме, родном городе Билли, без друзей, презираемый всеми. Впоследствии Билли с ним познакомился.

— Билли... — сказала Валенсия Мербл.

— М-мм?

— Давай посоветуемся, какое столовое серебро нам выбрать?

— Пожалуйста.

— Я остановилась на двух образцах: либо «Датский король», либо «Шток-роза».

— «Шток-роза», — сказал Билли.

— Собственно говоря, спешить не стоит, — сказала она. — Понимаешь, что бы мы ни выбрали, нам всю жизнь с этим жить.

Билли еще раз посмотрел картинки.

— Ну, «Датский король», — сказал он наконец.

— «Лунный свет» тоже очень мило.

— Мило, — согласился Билли.

И Билли пропутешествовал во времени на Тральфамадор. Ему было сорок четыре года, и он был выставлен напоказ под прозрачным куполом. Он полулежал на кушетке, служившей ему люлькой при полете в космос. Он был голый. Тральфамадорцев интересовало его тело — все, целиком. Тысячи жителей Тральфамадора стояли вокруг купола, подняв ладоши, чтобы их глазки видели Билли. Билли уже пробыл на Тральфамадоре шесть земных месяцев. Он привык к толпе.

О том, чтобы убежать, и речи не было. Атмосфера вне купола была чистейшей синильной кислотой, а Земля находилась на расстоянии 44612000000000000 миль.

Билли был выставлен в зоопарке, в искусственном земном жилище. Большая часть мебели была украдена со складов Сирса и Роубека в Айове. Там был цветной телевизор и диван-кровать. У кушетки стояли столики с лампами и пепельницами. Был там и стенной бар, и к нему две табуретки. И маленький бильярд. Везде, кроме кухни, ванной и железной крышки над люком в центре комнаты, пол был устлан золотистым ковром. На низеньком столике перед диваном веером лежали журналы.

Был там и стереофонический проигрыватель. Проигрыватель работал. А телевизор — нет. На экране была прилеплена картинка — один ковбой убивает другого. Такие дела.

Стен у купола не было, и спрятаться было некуда. Умывальные и туалетные принадлежности светло-зеленого цвета стояли прямо на виду. Билли встал со своей кушетки, пошел в туалет и помочился. Толпа пришла в дикий восторг.

Билли вычистил зубы на Тральфамадоре, вставил зубной протез и пошел на свою кухню. Плита на баллонном газе, холодильник и мойка для посуды тоже были бледно-зеленого цвета. На дверце холодильника была нарисована картинка. Это так и полагалось. На картинке была изображена парочка из веселых девяностых годов, на двойном велосипеде.

Билли поглядел на картинку, попытался что-нибудь придумать об этой парочке. Но мысли не приходили. Об этих двух людях думать было абсолютно нечего.

Билли позавтракал всякими консервами. Он вымыл чашку, и тарелку, и ножик, и вилку, и ложку, и кастрюльку и убрал их в шкаф. Потом он стал делать гимнастику, как его учили в армии: прыжки, наклоны, приседания и повороты. Большинство тральфамадорцев не знало, что у Билли некрасивое лицо и некрасивое тело. Они считали его великолепным экземпляром. Это очень благотворно влияло на Билли, и впервые в жизни он радовался своему телу.

После гимнастики он принял душ, подстриг ногти на ногах. Он побрился и побрызгал дезодорантом под мышками, в то время как экскурсовод зоопарка, стоя извне, на высокой эстраде, объяснял, что Билли делает и зачем. Экскурсовод читал лекцию телепатически, он просто стоял и посылал мысленные волны в публику. На эстраде около него стоял маленький передатчик с клавишами, по которому он передавал Билли вопросы из публики.

Прозвучал первый вопрос — его передал репродуктор на телевизоре:

— Вам тут хорошо?

— Не хуже, чем на Земле, — сказал Билли Пилигрим, и это была правда.

Жители Тральфамадора были пятиполые, и каждый пол вносил свою лепту в создание новой особи. Для Билли они все выглядели одинаково, потому что каждый пол отличался от другого только в четвертом измерении.

Одной из самых взрывчатых идей, преподнесенных Билли тральфамадорцами, было их открытие, касающееся вопросов пола на Земле. Они сказали, что команды их летающих блюд обнаружили не меньше семи различных полов на Земле, и все они были необходимы для продолжения человеческого рода. И опять-таки Билли даже представить себе не мог, что же это еще за пять из семи половых групп и какое отношение они имеют к деторождению, тем более что действовали они только в четвертом измерении.

Тральфамадорцы старались подсказать Билли, как ему представить себе секс в невидимом для него измерении. Они сказали, что ни один земной житель не может родиться, если не будет гомосексуалистов. А без лесбиянок дети вполне могли появляться на свет. Без женщин старше шестидесяти пяти лет дети рождаться не могли. А без мужчин того же возраста могли. Не могло быть новых детей без тех младенцев, которые прожили после рождения час или меньше. И так далее.

Для Билли все это было сплошным бредом.

Но многое, что говорил Билли, было бредом для тральфамадорцев. Они не могли понять, как он воспринимает время. Билли бросил всякие попытки объяснить им это.

Пришлось экскурсоводу зоопарка своими силами взяться за объяснение.

И экскурсовод предложил слушателям вообразить, что они глядят через пустыню на горную цепь в озаренный солнцем

ясный день. Они могут смотреть на вершину горы, на птицу или на облако, на скалу перед ними или даже на дно пропасти позади себя. Но среди них находится несчастный этот землянин, и голова его заключена в стальной шар, который он не может снять. И в этом шаре есть один-единственный глазок, через который он может глядеть, да еще к этому глазку приварена шестифутовая трубка.

И это было только предварительное метафорическое описание всех бед Билли. Будто бы он еще был привязан к стальной решетке, привинченной к платформе на рельсах, и никак не мог повернуть голову или сдвинуть трубку. Дальний конец трубки лежал на треноге, тоже привинченной к платформе. Билли только мог видеть крошечный просвет в конце трубки. Он не знал, что привязан к платформе, и даже не понимал, в каком странном положении он находится.

А платформа то ползла очень медленно, то неслась по рельсам, подымалась в гору, катилась вниз, заворачивала, ехала напрямик. И только про то, что бедный Билли видел сквозь дырочку в трубке, он и мог говорить: «Это жизнь».

Билли ожидал, что тральфамадорцы будут удивляться и возмущаться войнами и другими способами убийства на Земле. Он ожидал, что они будут бояться, как бы земляне, с их жестокостью и мощным вооружением, не разрушили часть, а может быть, и всю ни в чем не повинную Вселенную. Эти мысли ему подсказала научная фантастика.

Но никаких разговоров о войне не было, пока Билли сам об этом не заговорил. Кто-то из толпы зрителей в зоопарке спросил Билли через экскурсовода, что самое ценное узнал он на Тральфамадоре. И Билли ответил:

— Узнал, что жители целой планеты могут жить в мире. Как вам известно, я — с той планеты, где с незапамятных времен идет бессмысленная бойня. Я сам видел тела школьников,

сожженных заживо в водонапорной башне моими же соотечественниками, которые в то время гордились своей борьбой с воплощением зла. — И это была чистая правда. Билли видел сожженные тела в Дрездене. — И я по вечерам проходил по тюрьме со свечкой, сделанной из жира человеческих существ, убитых отцами и братьями тех сожженных заживо школьников. Наверно, вся Вселенная с ужасом смотрит на землян! И если другим планетам Земля пока еще не угрожает, то скоро эта угроза может появиться. Так что откройте мне вашу тайну, и я отнесу ее на Землю и спасу нас всех. Как планета может жить в мире?

Билли чувствовал, что говорит возвышенно. Он растерялся, когда увидел, что тральфамадорцы сжали свои ручки в кулак, закрывая глазки. Ему уже было известно значение этого жеста: видно, он опять наговорил глупостей.

— Вы... Вы не можете мне объяснить, — упавшим голосом спросил Билли, — что я такого глупого сказал?

— А мы ведь знаем, как погибнет Вселенная, — сказал экскурсовод, — и Земля тут совершенно ни при чем, хотя и она погибнет.

— А как — а как же погибнет Вселенная? — спросил Билли.

— Мы ее взорвем, испытывая новое горючее для наших летающих блюд. Летчик-истребитель на Тральфамадоре нажмет кнопку — и вся Вселенная исчезнет. Такие дела.

— Но если вам это заранее известно, — сказал Билли, — то разве нет способа предупредить катастрофу? Неужели вы не можете помешать летчику нажать кнопку?

— Он ее всегда нажимал и всегда будет нажимать. Мы всегда даем ему нажать кнопку, и всегда так будет. Такова структура данного момента.

— Но тогда... — Билли замялся, — значит, тогда глупо думать, что можно предупредить войны на Земле?

— Конечно.

— Но у вас-то на планете мир?

— Сегодня — да. А в другое время у нас идут войны страшнее всего, что вы видели, о чем читали. И сделать мы тут ничего не можем, так что мы просто на них не смотрим. Мы не обращаем на них внимания. Мы их игнорируем. Мы проводим вечность, созерцая только приятное — вот как сегодня, в зоопарке. Правда, сейчас все так приятно?

— Да.

— Вот этому земляне могли бы научиться у нас, если бы постарались. Не обращать внимания на плохое и сосредотачиваться на хороших минутах.

— Гм, — сказал Билли.

Этой ночью, как только Билли заснул, он пропутешествовал во времени к довольно приятному моменту — это была первая брачная ночь с Валенсией, урожденной Мербл. Уже с полгода, как он выписался из военного госпиталя. Он совсем выздоровел. И он окончил Илиумские оптометрические курсы — третьим из сорока семи учащихся своего выпуска.

И теперь он лежал в постели с Валенсией в очаровательном домике, стоящем на Кейп-анн, в Массачусетсе, у самой оконечности мыса. На другом берегу блестели огоньки Глостера. Билли лежал с Валенсией, обнимая ее. В результате этого объятия родился Роберт Пилигрим — впоследствии он доставит массу огорчений в школе, но потом выправится и станет одним из знаменитых «зеленых беретов».

Валенсия не умела путешествовать во времени, но воображение у нее здорово работало. Пока Билли обнимал ее, она воображала себя знаменитой исторической личностью. Она была королевой Елизаветой Первой, а Билли как будто был Христофором Колумбом.

Билли издал стон, похожий на скрип заржавленной дверной петли. Его семенные железы только что отдали семя

Валенсии, внося свою лепту в создание «зеленого берета». Правда, по тральфамадорским понятиям, у «зеленого берета» в общем и целом было семь родителей.

Теперь Билли откатился от своей огромной супруги, чья блаженная улыбка не погасла, когда он ее покинул. Он лежал, упираясь позвоночником в край тюфяка и заложив руки за голову. Теперь он был богатый человек. Он был вознагражден за то, что женился на девице, на которой никто в здравом уме жениться бы не стал. Тесть подарил ему новый «Бьюик», сплошь электрифицированную квартиру и назначил заведующим самого процветающего кабинета в Илиуме, где Билли мог надеяться заработать по меньшей мере тридцать тысяч долларов в год. Это было хорошо. Отец Билли был всего лишь парикмахером.

Как сказала его мать: «Пилигримы пошли в гору».

* * *

Медовый месяц они проводили в горько-сладкой и таинственной осени Новой Англии. В домике новобрачных одна стена была особенно романтичной — целиком застекленная, она выходила на балкон над маслянистой водой залива.

Зеленая с оранжевым баржа, чернея в темноте, ворча и скрипя, прошла под их балконом, всего футах в тридцати от их брачного ложа. Баржа уходила в море, притушив огни. Пустые трюмы резонировали, и машины отзывались густым, звучным басом. На их голос откликнулась вся гавань, и эхом зазвенело изголовье кровати новобрачных. И звенело еще долго, когда баржа уже ушла.

— Спасибо, — сказала наконец Валенсия. Изголовье кровати звенело комариным писком.

— На здоровье.

— Мне так хорошо.

— Очень рад.
И тут она заплакала.
— Что с тобой?
— Я так счастлива.
— Прекрасно.
— Никогда не думала, что кто-нибудь на мне женится.
— Гм-ммм, — сказал Билли Пилигрим.

— Буду ради тебя худеть, — сказала она.
— Что?
— Начну соблюдать диету. Хочу стать красивой — для тебя.
— А ты мне и так нравишься.
— Правда?
— Правда, — сказал Билли Пилигрим. Благодаря путешествию во времени он уже видел, каким будет их брак, и знал, что их жизнь будет вполне сносной.

* * *

Громадная моторная яхта под названием «Шехерезада» скользила мимо их брачного ложа. Ее машины пели мелодично, как орган. Все огни горели.

Двое красивых людей, юноша и девушка в вечернем платье, стояли на корме у поручней, радуясь своей любви, своим мечтам и бегу волны. Они тоже совершали свадебное путешествие. Его звали Лэнс Рэмфорд из Ньюпорта, Род-Айленд, а в его молодую жену, урожденную Синтию Лэндри, был в детстве влюблен Джон Ф. Кеннеди, живший тогда в Хайаннисе, штат Массачусетс.

Получилось некоторое совпадение: Билли Пилигрим впоследствии оказался в одной палате с дядюшкой Рэмфорда, профессором Бертрамом Коуплендом Рэмфордом, официальным историком военно-воздушных сил США.

Когда красивая пара проплыла мимо, Валенсия стала расспрашивать своего нескладного мужа про войну. Это была обычная глупая привычка жительницы Земли — ассоциировать секс и страсть с войной.

— Ты когда-нибудь вспоминаешь о войне? — спросила она, кладя руку на бедро Билли.

— Иногда, — сказал Билли Пилигрим.

— А я иногда смотрю на тебя, — сказала Валенсия, — и у меня странное чувство, как будто у тебя много-много тайн.

— Вовсе нет, — сказал Билли. Он, конечно, соврал. Он никому не рассказывал о путешествии во времени, о Тральфамдоре и так далее.

— Нет, у тебя, наверно, есть тайны про войну. А может быть, и не тайны, а просто то, о чем тебе не хочется говорить.

— Нет.

— Я горжусь, что ты был солдатом. Ты это знаешь?

— Прекрасно.

— Плохо там было?

— Всякое бывало. — У Билли мелькнула дикая мысль: как это верно! Хорошая была бы эпитафия для Билли Пилигрима. И для меня тоже.



— А ты расскажешь о войне, если я тебя попрошу? — сказала Валенсия. В крохотной ячейке ее огромного тела уже собирался материал для создания «зеленого берета».

— Будет похоже на сон, — сказал Билли. — А чужие сны обычно слушать не очень интересно.

— Я слышала, как ты рассказывал папе, как немцы кого-то расстреляли, — сказала Валенсия. Она говорила о расстреле бедного старого Эдгара Дарби.

— Угу.

— И тебе пришлось его хоронить?

— Да.

— А он видел вас с лопатами перед тем, как его расстреляли?

— Да.

— А он что-нибудь сказал?

— Нет.

— Он боялся?

— Нет, они его чем-то напоили. Глаза у него как-то остекленели.

— А они прилепили к нему мишень?

— Да, кусок бумаги, — сказал Билли. Он встал с постели, сказал «извини, пожалуйста» и пошел в темную уборную помочиться. Нащупывая выключатель, он почувствовал шероховатую стенку и понял, что пропутешествовал обратно, в 1944 год, и снова очутился в лагерном лазарете.

Свеча в лазарете потухла. Бедный старый Эдгар Дарби уснул на соседней койке. Билли встал с койки, шаря в темноте по стенке, чтобы найти выход, потому что ему ужасно нужно было в уборную.

Он вдруг нащупал дверь, она открылась, и он, шатаясь, вышел в лагерную ночь. Билли обалдел от морфия и путешествий во времени. Он помочился у колючей проволоки, и она впи-



лась в него десятками колючек. Билли пытался выпутаться, но колючки не отпускали его. По-дурацки приплясывая, Билли без толку вертелся у проволоки, дергая ее во все стороны.

Русский солдат, тоже вышедший ночью оправиться, увидел по ту сторону проволоки дергающегося Билли. Он подошел к этому странному пугалу, попробовал ласково заговорить с ним, спросить, из какой оно страны. Но пугало не обращало внимания и только прыгало у проволоки. И русский солдат выпростал колючки одну за другой, и пугало запрыгало куда-то во тьму, не поблагодарив ни единым словом.

А русский помахал ему вслед рукой и крикнул по-русски: — Счастливо!

* * *

Билли снова расстегнул штаны и в темноте лагерной ночи стал без конца орошать землю. Потом застегнулся как попало и стал соображать, откуда же он вышел и куда ему сейчас идти?

Где-то в темноте раздавались горькие стоны. Не зная, что делать, Билли прошаркал в том направлении. Он подумал: какая трагедия заставляет столько людей так громко стонать где-то на дворе?

Сам того не зная, Билли подходил к задней стенке нужника. Нужник состоял из перекладины с двенадцатью ведрами под ней. С трех сторон перекладина была закрыта стенками из обломков фанеры и расплюснутых консервных банок. Открытая сторона выходила на черную, обшитую толем стенку барака, где был устроен банкет.

Билли пошел вдоль стенки и дошел до того места, где на черном толе было только что написано объявление. Краска была еще свежая — та самая розовая краска, которой были расписаны декорации к «Золушке». Билли с таким трудом разбирался в окружающем, что ему показалось, будто бы слова висели в

воздухе, словно нарисованные на прозрачном занавесе. И еще на занавесе были какие-то очень хорошенькие серебряные кружочки. На самом деле это были гвозди, которыми толь был прибит к стенке барака. Билли никак не мог себе представить, каким образом занавес держался ни на чем, и он решил, что и волшебный занавес, и театральные стены были частью какой-то религиозной церемонии, о которой он никогда не слышал.

Вот что было написано на объявлении:

ПРОСЬБА
СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ
И НЕ ОСТАВЛЯТЬ ПОСЛЕ СЕБЯ БЕСПОРЯДКА

Вилли заглянул в нужник. Стоны шли именно оттуда. Все места были заняты американцами. Пышная встреча превратила их желудки в вулканы. Все ведра были переполнены или опрокинуты.

Один из американцев поближе к Билли простонал, что из него вылетели все внутренности, кроме мозгов. Через миг он простонал:

— Ох, и они выходят, и они.

«Они» были его мозги.

Это был я. Лично я. Автор этой книги.

Шатаясь, Билли выбрался из этого ада. Он прошел мимо трех англичан, издали глядевших на этот экскрементальный фестиваль. Они окаменели от омерзения.

— Застегнитесь как следует, — сказал один из них, когда Билли проходил мимо.

И Билли застегнул брюки. Он случайно нашел вход в больничный барак. Войдя в дверь, он снова очутился в свадебном путешествии и возвращался из ванной комнаты в постель к своей жене.

— Мне без тебя скучно, — сказала Валенсия.

— А мне без тебя, — сказал Билли.

Билли и Валенсия уснули, примостившись друг к другу, как ложки, и Билли пропутешествовал во времени назад, в 1944 год, в ту поездку, когда он уехал с маневров в Южной Каролине на похороны отца в Илиум. Он еще не участвовал в войне в Европе. Это было еще в те времена, когда ходили паровозы.

Билли приходилось много раз пересаживаться с поезда на поезд. Шли поезда ужасно медленно. В вагонах воняло угольным дымом, и пайковым табаком, и газами людей, сидевших на военных пайках. Металлические диваны были обиты колючей материей, и Билли никак не мог выспаться. Перед самым Илиумом, когда ехать оставалось часа три, он вдруг крепко заснул, раскинув ноги, у входа в вагон-ресторан.

Проводник разбудил его, когда поезд пришел в Илиум. Билли вышел, пошатываясь под тяжестью вещевого мешка, и очутился на платформе рядом с проводником, стараясь стряхнуть сон.

— Что, выспался? — спросил проводник.

— Да, — сказал Билли.

— Ну, братец, — сказал проводник, — видно было, что тебе снилось...

В три часа ночи в больничный барак, где лежал Билли, двое дюжих англичан внесли нового пациента. Он был крошечного роста.

Это был Поль Лаззаро, прыщавый вор из города Цицерио, штат Иллинойс. Его поймали, когда он воровал сигареты из-под подушки у одного англичанина. Англичанин со сна сломал Лаззаро правую руку и едва не вышиб из него дух.

Этот самый англичанин и помогал нести его. Он был огненно-рыжий, совершенно безбровый. В оперетте он играл Голубую Фею — крестную Золушки. Сейчас он одной рукой поддерживал Лаззаро с одного конца, а другой закрывал двери.

— Весу в нем, как в цыпленке, — сказал он.

Англичанин, державший Лаззаро за ноги, был тот самый полковник, который сделал Билли укол морфия.

Голубая Фея был ужасно смущен, хотя и очень зол.

— Если бы я знал, что дерусь с цыпленком, я бил бы полегче, — сказал он.

— Угу.

Голубая Фея не стал скрывать свое отвращение к американцам.

— Слабые, вонючие, себя жалеют — ну просто сопливое, грязное, гнусное ворье, — сказал он. — Куда хуже этих русских, черт подери.

— Да, погань порядочная, — согласился полковник.

Тут вошел немецкий майор. Он считал англичан своими лучшими друзьями. Почти ежедневно он заходил к ним, играл с ними во всякие игры, читал им лекции по истории Германии, играл у них на рояле, учил их говорить по-немецки. Он часто говорил им, что, если бы не их высокоцивилизованное общество, он давно сошел бы с ума. По-английски он говорил блестяще.

Он очень извинялся, что пришлось англичанам навязать американских рядовых. Он обещал, что больше двух-трех дней им не придется терпеть такое неудобство и что американцев скоро отправят в Дрезден на принудительные работы. У него с собой была монография, выпущенная Всегерманским объединением служащих мест заключения. Это был доклад о поведении американских рядовых, попавших в плен в Германии. Автор книги, бывший американец, занимал видное место в германском министерстве пропаганды. Звали его Говард У. Кэмбл-младший. Впоследствии он повесился в тюремной камере, ожидая суда как военный преступник.

Такие дела.

Пока английский полковник вправлял руку Лаззаро и готовил гипсовую повязку, немецкий майор переводил вслух длинные отрывки из монографии Говарда У. Кэмбла. Когда-то Кэмбл был довольно преуспевающим драматургом. Начиналась монография так:

Америка — богатейшая страна мира, но народ Америки по большей части беден, и бедных американцев учат ненавидеть себя за это. По словам американского юмориста Кина Хаббарда, «бедность не позор, но большое свинство». Фактически для американца быть бедным — преступление, хотя вся Америка, в сущности, нация нищих. У всех других народов есть народные предания о людях очень бедных, но необычайно мудрых и благородных, а потому и большие заслуживающих уважения, чем власть имущие и богачи. Никаких таких легенд нищие американцы не знают. Они издеваются над собой и превозносят тех, кто больше преуспел в жизни. В самом захудалом кабаке или ресторанчике, где сам хозяин тоже бедняк, часто можно увидеть на стене плакат с таким злым, жестоким вопросом: «Раз ты такой умный, где же твои денежки?» Там же всегда найдется американский флажок, не шире детской ладони, его приклеивают к палочке от эскимо и втыкают около кассы.

Ходили слухи, что автор монографии, уроженец города Шепектеди, штат Нью-Йорк, был самым одаренным из всех военных преступников, которых приговорили к повешению. Такие дела.

Американцы, как и все люди во всех странах, — говорили дальше в монографии, — верят во множество явно ложных идей. Самая большая ложь, в которую они ве-

рят, — это то, что каждому американцу очень легко разбогатеть. Они никак не хотят признать, что деньги достаются с великим трудом, и потому те, у кого нет денег, без конца клянут и клянут самих себя. И это их внутреннее недовольство самими собой всегда было счастьем для власть имущих и богачей, так как они своим беднякам могли оказывать, как частным, так и государственным путем, меньше помощи, чем любой правящий класс примерно со времен Наполеона.

Много нового дала миру Америка. Самое поразительное, беспрецедентное явление — это огромное количество бедняков без чувства собственного достоинства. Они не любят друг друга, потому что не любят себя. И стоит только уяснить это, как недостойное поведение американских рядовых в немецких тюрьмах становится вполне понятным.

Говард У. Кэмбл-младший затем переходил к вопросу обmundирования американских солдат во Второй мировой войне:

Любая другая армия в истории, богатая или бедная, всегда старалась обmundировать своих солдат, даже нижние чины, так, чтобы, они и другим, и самим себе казались молодцами во всем, что касалось выпивки, женщин, грабежей и внезапных встреч со смертью. Напротив, американская армия посылает своих рядовых сражаться и гибнуть в чем-то вроде городского платья, явно сшитого не по росту и присланного в продезинфицированном, но неглаженном виде какими-то благотворительными учреждениями, где обычно, зажав нос, раздают одежду пьяницам из трущоб.

И когда одетый с иголки офицер обращается к выряженному таким образом чучелу, он отчитывает его, как и

полагается офицеру любой армии. Но презрительный тон офицера — не напускная строгость доброго дядюшки, как в других армиях. Это искреннее выражение ненависти к беднякам, которые сами, и только сами, виноваты в своей нищете.

Тюремную администрацию, имеющую дело с пленными солдатами американской армии, надо предостеречь: не ищите у них братской любви даже между родными братьями. Никакого контакта между отдельными личностями тут ожидать не приходится. Каждый из них будет вести себя как капризный ребенок и думать, что лучше бы ему умереть.

Кэмбл рассказывал о поведении американских солдат в немецком плену. Везде американцев считали самыми большими нытиками, самыми недружелюбными, самыми грязными из всех военнопленных, писал Кэмбл. Они презирали любого из своей среды, кого бы ни назначили старшим, отказывались подчиняться ему по той причине, что он ничуть не лучше их и пусть не задается.

Ну и так далее. Билли Пилигрим уснул и проснулся вдовцом в своем опустевшем доме в Илиуме. Его дочь Барбара попрекала его за то, что он писал нелепые письма в газеты.

— Ты слышал, что я сказала? — спросила Барбара.

Был опять 1968 год.

— Конечно. — Но он дремал.

— Если ты будешь вести себя как ребенок, нам и обращаться с тобой придется как с маленьким.

— Нет, дальше все будет по-другому.

— *Посмотрим, что будет дальше.*— Толстая Барбара обхватила себя руками.— Тут страшный холод. Тепло идет?

— *Тепло?*



— Ну, отопление, эта штука в подвале, та, что гонит теплый воздух сюда в батареи. По-моему, она не работает.

— Все возможно.

— Разве тебе не холодно?

— Как-то не заметил.

— О боже, ты и вправду ребенок. Оставить тебя одного, так ты замерзнешь насмерть, умрешь с голоду. И так далее. Из любви к нему она с удовольствием подрывала его чувство собственного достоинства.

Барбара позвала истопника и уложила Билли в постель, взяв с него слово, что он полежит под электрическим одеялом, пока не пустят отопление. Она включила грелку в одеяла на самую высокую температуру, и постель Билли вскоре нагрелась так, что хоть пеки в ней хлеб.

Когда Барбара ушла, хлопнув дверью, Билли пропутешествовал во времени назад, в тральфамадорский зоопарк. Ему только что доставили с Земли самочку. Это была Монтана Уайлдбек, кинозвезда.

Монтану усыпили. Тральфамадорцы в противогазах внесли ее, положили на желтую кушетку Билли и вышли через люк. Огромная толпа зрителей пришла в восторг. Никогда еще в зоопарке не бывало столько посетителей. Вся планета желала посмотреть, как будут спариваться земляне.

На Монтане ничего не было, и на Билли, конечно, тоже. Кстати, он был мужчиной что надо. Никогда не знаешь, кто чего стоит.

Наконец ее веки затрепетали. Ресницы у нее были длинные, как хлысты.

— Где я? — спросила она.

— Все в порядке, — ласково сказал Билли. — Пожалуйста, не пугайтесь.

Пока Монтану везли с Земли, она была без сознания. Тральфамадорцы с ней не разговаривали и ей не показывались.

Последнее, что она помнила, был бассейн в Палм-Спрингс, в Калифорнии, где она загорала. Монтане было всего двадцать лет. На шее у нее висело серебряное сердечко на цепочке, оно спускалось между грудями.

Тут она повернула голову и увидела мириады тральфамадорцев вокруг их купола. Они приветствовали ее, быстро открывая и закрывая свои зеленые ручки.

И Монтана завизжала. Она визжала не умолкая.

Все зеленые ручки сразу закрылись, потому что очень неприятно было видеть страх Монтаны. Главный хранитель зоопарка велел крановщику, стоявшему наготове, опустить темно-синий полог на купол, симулируя земную ночь внутри. Настоящая ночь спускалась на зоопарк только на один земной час из шестидесяти двух.

Билли зажег торшер. Единственный источник света резко очертил детали тела Монтаны. Оно напоминало Билли фантастическую архитектуру барокко, которую он видел в Дрездене до бомбежки.

Со временем Монтана полюбила Билли, доверилась ему. Он ее не трогал, пока она сама не дала ему понять, что она этого хочет.

Пробыв на Тральфамадоре по земным понятиям неделю, она робко спросила Билли, не хочет ли он обнять ее, что он и сделал. Это было упоительно.

И снова Билли пропутешествовал во времени из той дивной постели в 1968 год. Он лежал в своей постели в Илиуме, и электрическое одеяло грело изо всех сил. Он был весь в поту и смутно помнил, что дочь уложила его в постель и велела не вставать, пока не исправят отопление.

Кто-то постучал в дверь его спальни.

— Да? — сказал Билли.

- Я истопник.
- Да?
- Работает отлично. Тепло пошло хорошо.
- Прекрасно.
- Мышь прогрызла изоляцию провода в термостате.
- Да ну? Вот чертовщина!

Билли блаженно потянулся. От постели шел спертый запах, как из подвала с шампиньонами. Ему приснилась ночь с Монтаной Уайлдбек.

Утром, после соблазнительного сна, Билли решил вернуться в свою приемную в центре города. Его ассистенты неплохо поработали и без него. Они удивились, когда он приехал. Его дочь сказала им, что Билли вряд ли вернется к практике.

Но Билли решительно вошел в свой кабинет и велел позвать очередного пациента. К нему впустили двенадцатилетнего мальчика с матерью-вдовой. Они недавно приехали в город, никого тут не знали. Билли расспросил про их жизнь, узнал, что отец мальчика был убит во Вьетнаме в знаменитом пятидневном сражении на высоте 875 при Дакто. Такие дела.

Пока Билли проверял зрение мальчика, он мимоходом рассказал ему про свои приключения на Тральфамадоре и уверил осиротевшего мальчика, что отец его живет в какие-то моменты и мальчик тогда его увидит.

— Разве это не утешительно? — спросил его Билли.

А в это время мать мальчика вышла в приемную и сказала секретарше, что Билли явно сошел с ума. За Билли приехали и отвезли его домой. И дочь снова спросила его:

— Папа, папа, папа, ну что же нам с тобой делать?

6

Послушайте.

Билли Пилигрим говорит, что он попал в немецкий город Дрезден на следующий день после того, как ему сделали укол морфия в британском бараке, стоявшем посреди лагеря уничтожения для русских военнопленных. В тот январский день Билли проснулся на рассвете. В маленьком больничном бараке не было окон, а зловещие свечи потухли. Свет шел только сквозь мелкие дырочки в стенах и сквозь мутный прямоугольник неплотно прилаженной двери. Маленький Поль Лаззаро со сломанной рукой храпел на одной койке. Эдгар Дарби, школьный учитель, которого впоследствии расстреляли, храпел на другой.

Билли сел на койку. Он не знал, какой сейчас год, на какой он планете. Но как бы ни называлась планета, на ней было холодно. Однако Билли проснулся не от холода. Его била дрожь и мучил зуд от какого-то животного магнетизма. От этого болели все мускулы, как после тяжелой муштры.

Животный магнетизм исходил от чего-то за спиной Билли. Если бы Билли попросили угадать, что там такое, он сказал бы, что там, на стенке за его спиной, огромная летучая мышь-вампир.

Билли отодвинулся в дальний угол койки, прежде чем обернуться и взглянуть, что там такое. Он боялся, что животное упадет ему на лицо и, чего доброго, выцарапает глаза или откусит его длинный нос. И он обернулся. Источник магнетизма и вправду был похож на летучую мышь. Но это было пальто покойного импресарио, с меховым воротником. Оно висело на гвоздике.

Билли осторожно пододвинулся к пальто, поглядывая на него через плечо, чувствуя, как магнетизм усиливается. Потом он обернулся и, стоя на коленях на койке, осмелился пощупать и потрогать пальто. Билли искал источник радиации.

Он нашел два небольших источника, два твердых комка, зашитых в подкладку. Один был похож на горошину. Другой по форме напоминал крошечную подкову. Через радиацию, исходившую от этих комков, Билли получил указание. Ему сказали, чтобы он не старался узнать, что это за комки. Ему посоветовали удовольствоваться сознанием, что комки могут делать для него чудеса, если он не станет допытываться, из чего они состоят. Билли охотно принял эти указания. Он был благодарен. Он был рад.

Билли задремал и снова проснулся на койке в больничном бараке. Солнце стояло высоко. За окном слышались звуки, напоминающие о Голгофе, — сильные люди копали ямы для столбов в твердой как камень земле. Это англичане строили себе новый нужник. Они уступили старый нужник американцам вместе со своим театром — тем баракком, где устраивали праздничную встречу.

Шесть англичан прошествовали через больничный барак, неся бильярдный стол, на который были навалены тюфяки. Тюфяки переносили в помещение около больничной палаты. Сзади шел англичанин, который сам тащил свой тюфяк и нес еще мишень для стрельбы.

Это был тот, кто играл роль Золушкиной крестной — Голубой Феи, тот, кто избил маленького Поля Лаззаро. Он остановился у койки Лаззаро и спросил, как он себя чувствует.

Лаззаро сказал, что после войны он его убьет.

— Да ну?

— Большую ошибку допустили, — сказал Лаззаро. — Кто меня тронул, уж лучше бы сразу убил, не то я его убью.

Голубая Фея знал толк в убийствах. Он сдержанно улыбнулся Лаззаро.

— Но я еще успею тебя убить, — сказал он, — если ты мне докажешь, что так будет правильнее.

— Иди ты знаешь куда!

— Напрасно думаешь, что я и там не побывал! — сказал Голубая Фея.

Голубая Фея ушел, снисходительно улыбаясь. Когда он вышел, Лаззаро пообещал Билли и бедному старому Эдгару Дарби, что он за себя отомстит, а месть сладка.

— Слаще ничего на свете нет, — сказал Лаззаро. — Пусть только кто попробует меня уесть, уж я его заставлю поплакать! Пожалуют, мать их, а я только захохочу во всю глотку! Мне плевать, юбка на нем или штаны. Меня самому президенту США не уесть, я и ему башку сверну. Вы бы посмотрели, чего я сделал с тем псом.

— С каким псом? — спросил Билли.

— Укусил меня, сукин сын. Достал я тогда кусок бифштекса, достал пружину от часов. Разрезал я эту пружину на кусочки, а кусочки заточил на концах. Острые стали, как бритвы. Засунул я их в бифштекс — в самую середину. И пошел туда, где этот пес сидел на цепи. Он опять на меня — укусить хочет. А я ему говорю:

«Брось, песик, давай дружить. Зачем нам ссориться! Я на тебя не сержусь!» Он и поверил.

— Поверил?

— Да, я ему бифштекс бросил. Он его одним глотком слопал. А я постоял, подождал минут десять. — Глазки Лаззаро заморгали. — У него сразу кровь из пасти пошла. Как взвоят, так по земле и покатился, будто его ножи сверху режут, а не изнутри. Кусать сам себя начал, будто все кишки хотел выкусить. А я хохочу, я ему говорю: «Правильно, правильно, песик, вырви из себя кишки. Это я там тебя внутре сажу, с ножичками, понял?»

Такие дела.

— Спросят вас, что самое приятное на свете, — сказал Лаззаро, — вы так и говорите: мечь.

Кстати, когда Дрезден впоследствии разбомбили, Лаззаро совсем не радовался. Он сказал, что с немцами ему делить нечего. И еще сказал, что любит расправляться с каждым врагом поодиночке. И еще он гордился, что никогда не задел случайного зрителя. «Никогда Лаззаро не тронет человека, ежели тот его не обидел».

Тут вмешался бедный старый Эдгар Дарби, школьный учитель. Он спросил Лаззаро, не собирается ли он и англичанину, Голубой Фее, скормить бифштекс с пружинами?

— Дерьма, — сказал Лаззаро.

— А он роста немалого, — сказал Дарби, который и сам был немалого роста.

— Рост тут ни при чем, — сказал Лаззаро.

— Пристрелишь его, что ли?

— Его за меня пристрелят, — сказал Лаззаро. — Вернется он домой с войны. Герой будет, как же. Дамочки на него вешаться станут. Устроится, заживет. И вдруг в один прекрасный день — стучат! Открывает он дверь — а там стоит незнакомый человек. Испрашивает его: «Вы тот самый?» — «Да, скажет, я тот самый». А незнакомый человек ему скажет: «Меня прислал Поль Лаззаро». И вытащит револьвер, и прямо ему в пах выстрелит. И даст

ему минутку подумать: кто такой Лаззаро и как теперь жить калекой. А потом добьет его одним выстрелом прямо в живот.

Такие дела.

* * *

Лаззаро сказал еще, что он на кого угодно может напустить убийцу за тысячу долларов плюс дорожные расходы. У него уже в голове целый список составлен.

Дарби спросил его, кто же там, в этом списке, и Лаззаро сказал:

— Главное, смотри, чтобы ты, гад, не попал. Ты меня не задевай, вот и все. — И, помолчав, Лаззаро добавил: — И дружок моих не трогай.

— А у тебя есть дружки? — поинтересовался Дарби.

— Тут, на войне? — сказал Лаззаро. — Да, был у меня и на войне друг. Был, да помер.

Такие дела.

— Это плохо.

Лаззаро сверкнул глазами:

— Да. Он мне был другом в теплушке. Звали его Роланд Вири. — Тут он ткнул в Билли здоровой рукой: — А помер он из-за дурака этого, мать его. Я ему пообещал, что я и этого дурака после войны прикончу.

Лаззаро отмахнулся от Билли: никаких слов не надо.

— Забудь про это, малый, — сказал он. — Живи, радуйся, пока живешь. Ничего с тобой не случится лет пять, десять, а то и пятнадцать, двадцать. Только я тебя предупреждаю: услышишь звонок — пошли кого другого открывать.

Билли Пилигрим всегда говорит, что именно так он и умрет. Как путешественник во времени, он много раз видал свою собственную смерть и записал на магнитофоне, как это будет.

По его словам, магнитофонная лента заперта вместе с его записями и другими ценностями в его сейфе, в Илиумском торгово-промышленном банке:

*Я, Билли Пилигрим, умирал, умер и всегда буду умирать
13 февраля 1976 года.*

В момент своей смерти, говорит Билли Пилигрим, он будет находиться в Чикаго и читать в огромной аудитории лекцию о летающих блюдцах и об истинной природе времени. Он будет по-прежнему жить в Илиуме; чтобы добраться до Чикаго, ему придется пересечь три международных границы. Соединенные Штаты к этому времени перестроятся по образцу балканских государств: их разделят на двадцать малых наций, чтобы они больше никогда не стали угрозой миру. Чикаго будет разрушен водородной бомбой рассерженных китайцев. Такие дела. Потом его отстроят заново.

Билли выступает перед полным залом, на бывшей бейсбольной площадке, накрытой прозрачным куполом. Местный флаг развевается за его спиной. На зеленом поле флага красуется породистый бык. Билли предсказывает, что ровно через час он умрет. Он сам над собой смеется и подзадоривает публику — пусть смеются вместе с ним.

— Мне давным-давно пора умереть, — говорит он. — Много лет назад, — говорит Билли, — один человек пообещал меня убить. Теперь он совсем старик, живет где-то поблизости. Он читал рекламу обо всех моих выступлениях в вашем прекрасном городе. Он сумасшедший. Сегодня он выполнит свою угрозу.

Толпа в зале шумно протестует.

Билли Пилигрим с укором говорит:

— Если вы будете протестовать, если вы считаете смерть страшной, значит, вы не поняли ни слова из того, что я вам гово-

рил. — И Билли кончает лекцию, как он кончает все свои выступления: «Прощайте-здравствуйте, прощайте-здравствуйте!»

Он сходит с трибуны, и его окружает полиция. Она охраняет его от слишком восторженных поклонников. Никто не угрожал его жизни с самого 1945 года. Полицейские предлагают сопровождать его повсюду. Они любезно готовы всю ночь стоять у его постели, держа револьверы наготове.

— Нет, нет, — безмятежно говорит Билли. — Вам пора по домам, к женам и деткам, а мне пора ненадолго умереть, а потом снова ожить.

В этот миг высокий лоб Билли уже попал в прицельное поле меж волосками мощного лазерного ружья. Ружье нацелено на него из темной ложи прессы. Миг — и Билли Пилигрим мертв. Такие дела.

И Билли переживает временную смерть. Это просто фиолетовый свет и легкий звон. Больше там ничего и никого нет. Даже самого Билли Пилигрима там нет.

А потом он снова возвращается в жизнь, далеко назад, в тот час, когда Лаззаро погрозился убить его, — в 1945 год. Ему приказали встать с койки и одеться, так как он уже выздоровел. И он, и Лаззаро, и бедный старый Эдгар Дарби должны вернуться в театр к своим землякам. Там они должны выбрать себе старшего — тайным голосованием.

Билли, Лаззаро и бедный старый Эдгар Дарби прошли через двор блока к театральному бараку. Билли нес свое пальтецо, как дамскую муфту. Он обернул им руки. Он был центральной шутовской фигурой в процессии, неумышленно пародирующей знаменитую картину «Герои 76-го года».

Эдгар Дарби мысленно писал домой письма, сообщая своей жене, что он жив и здоров и пусть она не волнуется: война почти что кончилась и скоро он вернется домой.

Лаззаро бормотал себе под нос, как он после войны будет подсылать убийц к разным людям и каких женщин он заставит спать с ним, захотят они или нет. Если бы он был собакой и бегал по городу, полицейский пристрелил бы его и послал его голову на анализ в лабораторию проверить — бешеный он или нет. Такие дела.

Когда они подходили к театру, они увидели, как один англичанин каблуком сапога рыл канавку в земле. Он проводил границу между американской и английской секциями блока. И Билли, и Лаззаро, и Дарби могли не спрашивать, что значит эта канавка. Этот символ был им знаком с детства.

Пол театрального барака был устлан телами американцев, примостившихся друг к другу, как ложки в ящике. Большинство американцев спали или лежали в забытьи. Сухая судорога сводила их кишки.

— Закрой двери, мать твою... — сказал кто-то. — В сарае ты родился, что ли?

Билли закрыл двери, вынул руку из муфты, потрогал печку. Печка была холодная как лед. На сцене все еще стояли декорации к «Золушке». Лазоревые портьеры спускались с ярко-розовых арок. Золотые троны стояли под макетом часов, и стрелки показывали двенадцать. Золушкины туфельки — на самом деле это были сапоги летчика, выкрашенные серебряной краской, — валялись под золотым тронном.

Когда англичане раздавали тюфяки и одеяла, Билли, и бедный старый Эдгар Дарби, и Лаззаро лежали в больничном бараке, так что им ничего не досталось. Пришлось что-то придумывать. Единственным свободным местом оказалась сцена, и они забрались туда, сорвали лазоревые портьеры и устроили себе гнезда.

Свернувшись в своем лазоревом гнезде, Билли вдруг увидел серебряные Золушкины сапоги под тронном. И тут он вспомнил, что его обувь разлезлась, что сапоги ему необходимы. Ужасно не хотелось вылезать из гнезда, но он заставил себя через силу. Он подполз на четвереньках к сапогам и примерил их.

Сапоги были в самый раз. Билли Пилигрим стал Золушкой, а Золушка стала Билли Пилигримом.

Потом главный англичанин прочел лекцию о соблюдении личной гигиены, после чего были устроены свободные выборы. Половина американцев их проспала. Англичанин поднялся на сцену, постучал по спинке трона хлыстиком:

— Господа, господа, господа, прошу внимания! — И так далее.

В лекции по гигиене англичанин сказал о том, как выжить:

— Если вы перестанете следить за своим внешним видом, вы скоро умрете. — Он еще сказал, что видел, как люди умирали: — Они перестали держаться прямо, потом перестали бриться и мыться, потом не вставали с постели, потом перестали разговаривать, а потом умерли. Конечно, можно только сказать одно в их защиту: уйти из жизни таким способом очень легко и безболезненно.

Такие дела.

Англичанин еще сказал, что, попав в плен, он дал себе такое обещание: чистить зубы дважды в день, бриться ежедневно, мыть лицо и руки перед едой и после уборной, раз в день чистить сапоги, по крайней мере полчаса делать утром зарядку, а потом идти в уборную, часто смотреться в зеркало, беспристрастно оценивая свой внешний вид, особенно манеру держаться.

Билли Пилигрим все это слушал, свернувшись в своем гнезде. Он смотрел не на лицо англичанина, а на его сапоги.

— *Я завидую вам, господа,* — сказал англичанин.

Кто-то засмеялся. Билли не понял, что тут смешного.

— Вы, господа, сегодня же уедете в Дрезден, прекрасный город, как мне говорили. Вы не будете сидеть взаперти, как мы. Вы попадете в самую гущу жизни, да и еда там, наверно, будет вкуснее, чем тут. Разрешите мне небольшое чисто личное отступление: уже пять лет, как я не видел ни дерева, ни цветка, ни женщины, ни ребенка, не видел ни кошки, ни собаки, ни места, где развлекаются, ни человека, занятого любой полезной работой. Кстати, бомбежки вам бояться нечего. Дрезден — открытый город. Он не защищен, в нем нет военной промышленности и сколько-нибудь значительной концентрации войск противника.

Тогда же бедного старого Эдгара Дарби выбрали старшим. Англичанин просил назвать кандидатуры, но все молчали. Тогда он сам выдвинул кандидатуру Дарби и произнес хвалебную речь о его зрелости, его долгом опыте работы с людьми. Больше никаких кандидатур не было, и список кандидатов был закрыт.

— Единогласно?

Послышалось два-три голоса:

— Да-а...

И бедный старый Дарби произнес речь. Он поблагодарил англичанина за добрые советы, обещал следовать им неукоснительно. Он сказал, что и другие американцы, несомненно, присоединятся к нему. Он еще сказал, что теперь главная его задача — добиться, чтобы все они, как один, черт возьми, благополучно добрались домой.

— Попробуй уконтрапуть бублик на лету, — пробормотал Лаззаро в своем лазоревом гнезде, — а заодно и луну в небе.

Ко всеобщему удивлению, температура назавтра поднялась. Днем стояла теплынь. Немцы привезли суп и хлеб на двух каталках — их тянули русские. Англичане прислали настоящий кофе, и сахар, и апельсиновый джем, и сигареты, и сигары, а двери театра были распахнуты настежь, чтобы с улицы шло тепло.

Американцы уже чувствовали себя гораздо лучше. Их желудки хорошо переваривали еду. Вскоре настал час отправки в Дрезден. Американцы в полном параде вышли из британского блока. Билли Пилигрим снова возглавлял шествие. Теперь на нем были серебряные сапоги, и муфта, и кусок лазоревой портьеры, в которую он завернулся, как в тогу. Билли все еще не сбрил бороду. Не побрился и бедный старый Эдгар Дарби, который вышагивал рядом с Билли. Дарби мысленно сочинял письма домой, беззвучно шевеля губами:

«Дорогая Маргарет, сегодня отправляемся в Дрезден. Не волнуйся. Бомбить его никогда не будут. Дрезден — открытый город. Сегодня днем у нас были выборы, и угадай, кого...»

И так далее.

Они снова подошли к лагерной узкоколейке. Приехали они в двух вагонах. Теперь они отправлялись куда комфортабельнее — в четырех. На путях они снова увидели мертвого бродягу. Его труп заледенел в кустах у рельсов. Он скорчился в позе эмбриона, пытаясь и в смерти примоститься около других, как ложка. Но других около него не было. Он уместился среди угольной пыли, в морозном воздухе. Кто-то снял с него сапоги. Его босые ноги были цвета слоновой кости с просинью. Но это было в порядке вещей, раз он умер. Такие дела.

Поездка в Дрезден была сплошным развлечением. Она продолжалась всего часа два. В сморщенных желудках было пол-

но пищи. Лучи солнца и мягкий ветерок проникали через отдушины. Англичане дали им с собой много курева.

Американцы прибыли в Дрезден в пять часов пополудни. Двери теплушек открылись, и перед американцами возник прекраснейший город — такого они еще не видели никогда в жизни. Он вырисовывался в небе причудливыми мягкими контурами, сказочный, неправдоподобный город. Билли Пилгрим вспомнил картинку в воскресной школе — «Царствие небесное».

Кто-то сзади него сказал: «Страна Оз»¹. Это был я. Лично я. До тех пор я видел один-единственный город — Индианаполис, штат Индиана.

Все остальные большие города в Германии были страшно разбомблены и сожжены. В Дрездене даже ни одно стекло не треснуло. Каждый день адским воем выли сирены, люди уходили в подвалы и там слушали радио. Но самолеты всегда направлялись в другие места — Лейпциг, Хемниц, Плауэн и всякие другие пункты. Такие дела.

Паровое отопление в Дрездене еще весело посвистывало. Звякали трамваи. Свет зажигался и когда щелкали выключатели. Работали рестораны и театры. Зоопарк был открыт. Город в основном производил лекарства, консервы и сигареты.

В это время люди шли домой с работы. Они устали.

Восемь дрезденцев перешли через стальную лапшу рельсов к вагонам. На них было новое обмундирование. Только накануне они приняли присягу. Это были мальчишки, и пожилые люди, и два инвалида, жутко израненные в России. Им было

¹ «Мудрец из страны Оз» — известная детская сказка о волшебной стране американского писателя Лимана Франка Баума.

RAILROADING IS

People

Nothing in this world is as interesting as people! Nothing is as important as people . . . people who live and grow, love and get married . . . people with their habits and manners, their likes and dislikes. Nothing really matters but—people.

The city? We think of it as people. The countryside is people. And so is the railroad . . . just folks—all of them!



SOLDIER, SAILOR, MARINE: we wish to serve you well on

Locomotives, cars, equipment . . . all these have been thought out, designed, engineered, developed and built by people for people. They are of value only as they serve people.

We of the Pennsylvania Railroad try to keep in mind always: everything we do is measured by how we help people, how we get along with people, how we treat people. Our

PENNSYLVANIA RAILROAD
Serving the Nation



предписано охранять сто американских военнопленных, назначенных на работу. В отряде были дедушка и внук. Дедушка раньше был архитектором.

Все восемь, сердито хмурясь, подошли к теплушкам, где находились их подопечные. Они знали, какой у них самих нелепый и нездоровый вид. Один из них ковылял на протезе и нес в руках не только винтовку, но и палку. Однако им предписывалось добиться полного повиновения и уважительности от высоких, нахальных разбойников — американцев, убийц, только что явившихся с фронта.

И тут они увидели бородатого Билли Пилигрима в лазоревой тоге и серебряных сапогах, с руками в муфте. С виду ему было лет шестьдесят. Рядом с Билли стоял маленький Поль Лаззаро, кипя от бешенства. Рядом с Лаззаро стоял бедный старый учитель Эдгар Дарби, весь исполненный унылого патриотизма, немолодой усталости и воображаемой мудрости. Ну и так далее.

Восемь нелепейших дрезденцев наконец удостоверились, что эти сто нелепейших существ и есть те самые американские солдаты, недавно взятые в плен на фронте. Дрезденцы стали улыбаться, а потом расхохотались. Их страх испарился. Бояться было некого. Перед ними были такие же искалеченные людишки, такие же дураки, как они сами. Это было похоже на оперетку.

И опереточное шествие вышло из ворот железнодорожной станции на улицы Дрездена. Билли Пилигрим был главной опереточной примадонной. Он возглавлял парад. Тысячи людей шли по тротуарам домой с работы. Лица у них были водяночные, распухшие — в течение двух лет люди ели почти что одну картошку. Они шли, не ожидая никаких радостей, кроме мягкой погоды. И вдруг — такое развлечение.

Билли не замечал, что на него смотрят во все глаза, забавляясь его видом. Он был восхищен архитектурой города. Ве-

сельные амурчики обвивали гирляндами окна. Лукавые фавны и нагие нимфы глазели с разукрашенных карнизов. Каменные мартышки резвились меж свитков, раковин и стеблей бамбука.

Уже помня будущее, Билли знал, что город будет разбит вдребезги и сожжен примерно дней через тридцать. Знал он и то, что большинство смотревших на него людей скоро погибнет. Такие дела.

И Билли на ходу стискивал руки в муфте. Кончиками пальцев он старался нащупать в теплой темноте муфты твердые комки, зашитые в подкладку пальто маленького импресарио. Пальцы пробрались за подкладку. Они ощупали комки: один походил на горошину, другой — на маленькую подкову. Тут парадное шествие остановилось. Семафор загорелся красным светом.

На углу, в первом ряду пешеходов, стоял хирург, который весь день оперировал больных. Он был в гражданском, но щеголял военной выправкой. Он участвовал в двух мировых войнах. Вид Билли чрезвычайно оскорбил его чувства, особенно когда охрана сказала ему, что Билли — американец. Хирургу казалось, что Билли — отвратительный кривляка, что он нарочно постарался вырядиться таким шутком.

Хирург говорил по-английски и сказал Билли:

— Очевидно, война вам кажется забавной шуткой?

Билли посмотрел на него с недоумением. Он совсем потерял всякое понятие о том, где он и как он сюда попал. Ему и в голову не приходило, что люди могут подумать, будто он кривляется. Конечно же, его так вырядила Судьба. Судьба и слабое желание выжить.

— Вы хотите нас *рассмешить*? — спросил хирург.

Хирурга надо было как-то убогатить. Билли растерялся. Билли хотел проявить дружелюбие, чем-нибудь помочь, но у него не было никаких возможностей. Он держал в руке

те два предмета, которые он выудил из подкладки. Он решил показать их хирургу.

— Вы, очевидно, полагаете, что нам понравится такое *издевательство*? — сказал хирург. — Неужели вы гордитесь, что представляете Америку таким образом?

Билли вынул руку из муфты и сунул ладонь под нос хирургу. На ладони лежал бриллиант в два карата и половинка искусственной челюсти. Эта непристойная штучка была сделана из серебра с перламутром и с оранжевой пластмассой. Билли улыбался.

Шествие, хромя, спотыкаясь и сбивая шаг, подошло к воротам дрезденской бойни. Пленных ввели во двор. Бойня уже давно не работала. Весь скот в Германии давно уже был убит, съеден и испражнен человеческими существами, по большей части в военной форме. Такие дела.

Американцев повели в пятое здание за воротами. Это был одноэтажный цементный сарай с раздвижными дверями в передней и задней стене. Он был построен для свиней, предназначенных на убой. Теперь он должен был стать жильем для сотни американских военнопленных. Там стояли койки, две пузатые печки и умывальник с краном. Сзади был пристроен нужник — дощатый заборчик, за ним ведра.

На двери здания стояла огромная цифра. Это был номер пять. Прежде чем впустить американцев внутрь, единственный охранник, говоривший по-английски, велел им запомнить простой адрес в случае, если они заблудятся в огромном городе. Их адрес был такой: «Шлахтхоф фюнф». «Шлахтхоф» значило «бойня». «Фюнф» была попросту добрая старая пятерка.

7

Двадцать пять лет спустя Билли Пилигрим сел в Илиуме в специально заказанный самолет. Он знал, что самолет разобьется, по говорить об этом не хотел: зачем зря трепаться? Самолет вез Билли с двадцатью восьмью другими оптометристами на конференцию в Монреаль.

Жена Билли, Валенсия, осталась на аэродроме, а тесть Билли, Лайонел Мербл, сидел рядом с ним в кресле, затянув ремни.

Лайонел Мербл был машиной. Конечно, тральфамадорцы считают, что все живые существа и все растения во Вселенной — машины. Им смешно, что многие земляне так обижаются, когда их считают машинами.

На аэродроме машина по имени Валенсия Мербл Пилигрим ела шоколадку и махала на прощание платочком.

* * *

Самолет взлетел благополучно. Такова была структура данного момента. На самолете летел квартет любителей — тоже оптометристов.

Они называли себя «чэпы», что означало «четыреглазые подонки».

Когда самолет уже был в воздухе, машина-тесть Билли попросил квартет спеть его любимую песенку. Они знали, что он просил, и спели ему такие куплетики:

Снова я сижу в тюрьме,
Снова по уши в дерьме,
И болят, болят различные места.
Я клянусь свою судьбу,
Ох, увидеть бы в гробу
Эту стерву, что кусалась неспроста.

И тесть Билли гоготал как сумасшедший и все просил спеть ему еще одну его любимую песенку. И квартет охотно запел, подражая акценту пенсильванских шахтеров-поляков:

Вместе в шахте, Майк и я,
Закадычные друзья,
Уголек загребай,
Раз в неделю погуляй!

Кстати, о поляках: дня через три после приезда в Дрезден Билли случайно увидел, как публично вешали поляка. Билли приходил на работу вместе с другими ранним утром и на футбольном поле увидел виселицу и небольшую толпу. Поляк работал на ферме, и его повесили за связь с немецкой женщиной. Такие дела.

* * *

Зная, что самолет вскоре разобьется, Билли закрыл глаза и пропутешествовал во времени обратно, в 1944 год. Снова он оказался в Люксембургском лесу с «тремя мушкетерами». Роланд Вири тряс его, стучал его головой о дерево.

— Идите без меня, ребята, — говорил Билли Пилигрим.

Квартет на самолете пел: «Жди восхода солнца, Нелли», когда самолет врезался в горную вершину Шугарбуш, в Вермонте. Погибли все, кроме Билли и второго пилота. Такие дела.

Первыми к месту катастрофы прибыли молодые австрийцы — инструкторы со знаменитой горнолыжной станции. Они переговаривались по-немецки, переходя от трупа к трупу. На них были закрытые черные шлемы-маски с прорезями для глаз и красными помпонами на макушке. Они были похожи на фантомы или на белых людей, для смеху наряженных неграми.

Билли был ранен в голову, но сознания не потерял. Он не понимал, где он. Губы у него шевелились, и один из фантомов приложил к ним ухо, чтобы уловить слова, которые могли стать для Билли и последними.

Билли подумал, что фантом имеет какое-то отношение ко Второй мировой войне, и шепнул ему свой адрес: «*Шлахтхоф фюнф*».

Вниз с горы Билли спускали на горных санках. Фантомы правили веревками и звонко кричали, требуя дать им дорогу. У подножия тропа заворачивала вокруг подъемника с креслицами. Билли смотрел, как вся эта молодежь, в ярких эластичных костюмах, в огромных башмаках и выпуклых защитных очках, словно выперших из их черепов, взлетала в желтых креслицах до неба. Ему показалось, что это какой-то новый потрясающий этап Второй мировой войны. Но Билли Пилигриму было все равно. Да и почти все на свете было ему безразлично.

Билли был помещен в небольшую частную клинику. Знаменитый нейрохирург прибыл из Бостона и три часа оперировал Билли. После операции Билли два дня лежал без сознания, и ему снились миллионы событий, из которых кое-что было правдой. Все правдивые события были путешествием во времени.

Правдивым событием был и первый вечер на территории боен. Вместе с бедным старым Эдгаром Дарби он вез пустую двухколесную тачку по тропке между загонами для скота. Они направлялись на кухню, за ужином для всех. Их охранял шестнадцатилетний немец по имени Вернер Глюк. Оси колес на тачке были смазаны жиром убитой скотины. Такие дела.

Солнце зашло, и последние отблески подсвечивали город за деревенским пустырем, у праздных боен. Город был в затемнении — вдруг начнется налет, — в Дрездене Билли не увидал самой радостной на свете картины — как после захода солнца город, мигая, зажигает один за другим все свои огоньки.

А внизу протекала широкая река, и в ней отразились бы эти огни, и они так мило подмигивали бы в темноте. Река звалась Эльба.

Молодой солдат Вернер Глюк родился в Дрездене. Он никогда не бывал на бойнях и не знал, где тут кухня. Он был высокий и слабосильный, как Билли, даже мог сойти за его младшего брата. Да, впрочем, они и были дальними родственниками, только никогда об этом так и не узнали. Глюк был вооружен невероятно тяжелым мушкетом, одноствольным музейным экспонатом с восьмигранным прикладом и стволом без нарезки. Он и штык привинтил. Штык был похож на длинную вязальную спицу. Желобков для стока крови на нем не имелось.

Глюк повел американцев к зданию, где, как он думал, помещалась кухня, и открыл раздвижные двери. Но это была вовсе не кухня. Это была раздевалка перед общим душем, вся в клубках пара. Там оказалось тридцать с лишним девочек-школьниц. Это были немки, беженки из Бреславля, где шла страшная бомбежка. Девочки тоже только что приехали в Дрезден. Дрезден был битком набит беженцами.

Девочки стояли совершенно голенькие, все было видно как на ладони. А в дверях как вкопанные остановились Глюк,

и Дарби, и Билли Пилигрим: мальчишка-солдат, и бедный старый школьный учитель, и шут в лазоревой тоге и серебряных сапогах. Девочки завизжали. Они стали прикрываться руками, повернули спины и так далее и стали еще прекрасней.

Вернер Глюк никогда раньше не видел голых женщин и сразу закрыл двери. Билли тоже их никогда не видал. Только для Дарби в этом ничего нового не было.

Когда эти три дурака наконец нашли кухню — раньше там готовили еду для рабочих бойни, — все уже ушли домой, кроме одной женщины, нетерпеливо дожидавшейся их. В войну она овдовела. Такие дела. На ней уже было и пальто и шляпка. Ей давно хотелось домой, хотя там ее никто не ждал. Ее белые перчатки лежали рядышком на обитой жестью буфетной стойке.

Она приготовила для американцев два больших бидона супу. Суп грелся на притушенных газовых горелках. Приготовила она и грудку черного хлеба.

Она спросила Глюка: не слишком ли он молод для армии? Он согласился: да.

Она спросила Эдгара Дарби: не слишком ли он стар для армии? Он сказал: да.

Она спросила Билли Пилигрима, что это он так вырядился. Билли сказал: не знаю. Просто стараюсь согреться.

— Все настоящие солдаты погибли, — сказала она. И это была правда. Такие дела.

Лежа без сознания в Вермонте, Билли видел еще одну правдивую картину — себя за работой, которую он вместе со всеми остальными делал целый месяц, пока город не разрушили. Они мыли окна, подметали полы, чистили нужники, упаковывали в картонные ящики банки и запечатывали эти ящики на заводе, где делали сироп на патоке. Сироп содержал витамины и всякие соли. Сироп выдавали беременным женщинам.



У сиропа был вкус жидкого меда с можжевельным дымком, и все рабочие завода тайком весь день ели этот сироп ложками. Хотя они и не были беременными, но витамины и минеральные соли им тоже были необходимы. В первый день работы Билли не ел сиропа. А другие американцы ели.

Но уже на второй день Билли тоже ел сироп ложками. Ложки были растыканы повсюду — за стенными полками, в ящиках, за радиаторами и так далее. Их прятали, услышав чьи-нибудь шаги. Есть сироп было преступлением.

На второй день Билли вытирал пыль за радиатором и нашел ложку. За его спиной стоял чан со стынувшим сиропом. Видеть Билли мог только один человек — бедный старый Эдгар Дарби, который мыл окно снаружи. Ложка была большая, столовая. Билли сунул ее в чан, покрутил, покрутил, так что вышла липкая тянучка. И сунул ложку в рот.

И через миг все клеточки в его теле затрепетали от жадности, восторга и благодарности.

В окно робко постучали. Дарби стоял там и все видел. Ему тоже хотелось сиропу.

Билли сделал тянучку и для него. Он открыл окошко. Он сунул ложку в разинутый рот бедного старого Дарби. И вдруг Дарби заплакал. Билли закрыл окно и спрятал липкую ложку. Кто-то подходил.

8

За два дня до разрушения Дрездена американцев посетил чрезвычайно интересный гость. Это был Говард У. Кэмбл, американец, ставший нацистом. Этот самый Кэмбл был автором монографии о недостойном поведении американских военнопленных. Научными исследованиями в этой области он теперь больше не занимался. Он пришел на бойни вербовать американцев в немецкую воинскую часть под названием «Свободный американский корпус». Кэмбл сам изобрел этот корпус и сам собирался им командовать, а сражаться они должны были только на русском фронте.

Внешность у Кэмбла была самая заурядная, но на нем была чрезвычайно экстравагантная форма, придуманная им самим. На нем была широкополая ковбойская шляпа белого цвета и черные ковбойские сапоги со свастиками и звездами. Он был туго затянут в синий облегающий костюм с желтыми лампасами от подмышек до щиколоток. Нашивки изображали профиль Авраама Линкольна на бледно-зеленом поле. Наручная повязка была ярко-красного цвета, с синей свастикой в белом круге.

И сейчас, в цементном загоне для свиней, он объяснял значение этой наручной повязки.

Билли Пилигрима мучила изжога, потому что весь день на работе он ложками ел паточный сироп. От изжоги на глазах

выступали слезы, так что дрожащие линзы соленой влаги совершенно исказили образ Кэмбла.

— Синий цвет — это небо Америки, — объяснял Кэмбл, — белый — это цвет белой расы, которая покорила наш континент, осушила болота, вырубил леса и построила мосты и дороги. А красный цвет — это кровь американских патриотов, так щедро пролитая в минувшие годы.

Сон сморил слушателей Кэмбла. Они крепко порботали на сиропном заводе и прошли длинной дорогой по холоду к себе на бойню. Все очень отощали, глаза у них ввалились. Кожа потрескалась, воспалилась. Воспалились и губы, горло, желудки. В паточном сиропе, который они ели ложками весь день, все-таки не хватало и витаминов, и минеральных солей, необходимых каждому жителю Земли.

Кэмбл стал предлагать американцам всякую еду: бифштексы с картофельным пюре с подливкой, мясные пироги — все будет, как только они согласятся вступить в «Свободный американский корпус».

— А как только разобьем русских, вас репатрируют через Швейцарию.

Все молчали.

— Все равно, раньше или позже вам придется драться с коммунистами, — сказал Кэмбл. — Так не лучше ли сейчас разделаться с ними сразу?

И вдруг выяснилось, что Кэмблу эти слова даром не пройдут. Бедный старый Дарби, школьный учитель, обреченный на смерть, с трудом поднялся на ноги — и тут настала лучшая минута его жизни. В нашем рассказе почти нет героев и всяких драматических ситуаций, потому что большинство персонажей этой книги — люди слабые, беспомощные перед мощными силами, которые играют человеком. Одно из самых главных последствий войны состоит в том, что люди в конце



“PHEASANT SANDWICHES!”

*Holy smokes!
Who'd ever believe it*

...cene is enacted every
at The Milwaukee
tion when the trans-
al Olympians roll in-
leen—famous as the
outh Dakota's pheas-
ry. Here, each month,
rvice men are served
sandwiches with am-
ings.

...ke Aberdeen the
women-folk of The Milwaukee
Road have long been doing
good all along the line. Doing
good for members of The Mil-
waukee Road family, for them-
selves, for the community and,
since Pearl Harbor, for men
and women in uniform.

Many Milwaukee Road
workers are members of Em-
ployees' Service Clubs who meet

...of the Women's Club.
Clubs form closer relat-
among employes; this l-
better teamwork and a l-
service to many comm-
the railroad serves.

Many of The Milw-
Road's 6,500 war veter-
returning to rejoi-
strengthen these affilia-
ganizations. All this is

концов разочаровываются в героизме. Но в ту минуту старый Дарби стал героем.

Он стоял как боксер, оглушенный ударами. Он наклонил голову. Он выставил кулаки в ожидании сигнала к бою. Потом поднял голову и назвал Кэмбла гадюкой. Тут же поправился: гадюки, сказал он, никак не могли не родиться гадюками, а Кэмбл, который *мог* не быть тем, чем он стал, в тысячу раз подлее гадюки, или крысы, или даже клеща, насосавшегося крови.

Кэмбл только усмехнулся.

И Дарби взволнованно заговорил об американской конституции, обеспечивающей свободу, и справедливость, и всяческие возможности, и честную игру для всех. Он сказал, что нет человека, который с радостью не отдал бы жизнь за эти идеалы.

Он говорил о братстве американского и русского народов, о том, как эти две страны изничтожат нацистскую чуму, которая грозит заразить весь мир.

И тут жалобно завывали дрезденские сирены.

Американцы вместе со своей охраной и с Кэмблом ушли в убежище — в гулкий подвал, вырубленный прямо в скале, под бойнями. Туда вела железная лесенка с железными дверями наверху и внизу.

Внизу, в подвале, на крюках еще висело несколько туш быков, овец, свиней и лошадей. Такие дела. На пустых крюках можно было бы развесить еще тысячи туш. Холод там был естественный. Никаких холодильных установок не требовалось. Горели свечи. Подвал был выбелен и пахнул карболкой. Вдоль стен стояли скамьи. Американцы подошли к скамьям и, прежде чем сесть, смахнули осыпавшуюся известку.

Говард У. Кэмбл остался стоять, как и охрана. Он разговаривал с охранниками на превосходном немецком языке. В свое время он написал множество популярных пьес и поэм по-немецки и женился на знаменитой немецкой актрисе Хель-

ге Норт. Она была убита в гастрольном турне — развлекала немецкие войска в Крыму. Такие дела.

В ту ночь все обошлось. Только на следующую ночь примерно сто тридцать тысяч жителей Дрездена должны были погибнуть. Такие дела. Билли дремал в подвале бойни. Он снова во всех подробностях переживал спор с дочерью, с которого мы начали этот рассказ.

«Отец, — говорила она, — что нам с тобой делать?» И так далее. «Знаешь, кого я убила бы своими руками?» — спросила она. «Кого же ты убила бы?» — спросил Билли. «Этого Килгора Траута».

Килгор Траут был и остался автором научно-фантастических романов, и, конечно, Билли не только прочитал множество книг Траута, но и стал его другом, насколько можно было стать другом Траута, человека очень угрюмого.

* * *

Траут снимал подвал в Илиуме, милях в двух от красивого белого домика Билли. Сам Траут понятия не имел, сколько книг он написал — наверное, штук семьдесят пять. Денег ни одна из них ему не принесла. И теперь Килгор Траут кое-как перебивался, занимаясь распространением «Илиумского вестника», и ведал оравой мальчишек-газетчиков: он их и запугивал, и подлизывался к этим ребяташкам.

Впервые Билли встретился с ним в 1964 году. Билли ехал в своем «Кадиллаке» по переулку Илиума и увидел, что там не проехать из-за толпы мальчишек с велосипедами. Перед мальчишками разглагольствовал человек с окладистой бородой. Он и робел перед ними, и поругивал их, и, как видно, справлялся со своей работой великолепно. Тогда Трауту было шестьдесят два года.

Он говорил ребятам, что — тут шли нецензурные слова — нечего просиживать штаны зря, надо каждому подписчику в задницу ткнуть и воскресное приложение. Он говорил: кто за два месяца продаст больше всего этих дерьмовых приложений, тому на целую неделю дадут бесплатную путевку вместе с родителями к черту на рога, на самый Мартас-Винъярд.

И так далее.

Один из газетчиков был девчонкой. Она была в полном восторге от нецензурных эпитетов.

Безумная физиономия Траута показалась Билли ужасно знакомой — он видал ее на обложке стольких книжек... Но, увидев это лицо случайно в переулке родного города, Билли никак не мог догадаться, почему это лицо ему так знакомо. Билли подумал: а может быть, этот разглагольствующий псих встречался ему когда-то в Дрездене. Траут, несомненно, был очень похож на тех военнопленных.

Тут девчонка-газетчик подняла руку.

— Мистер Траут, — сказала она, — а если я выиграю, можешь мне взять с собой сестренку?

— Черта с два, — сказал Траут. — Думаешь, деньги растут на деревьях?

Кстати, Траут написал книгу про денежное дерево. Вместо листьев на дереве росли двадцатидолларовые бумажки, вместо цветов — акции, вместо фруктов — бриллианты. Дерево привлекало людей, они убивали друг дружку, бегая вокруг ствола, и отлично удобряли землю своими трупами.

Такие дела.

Билли Пилигрим остановил машину в переулке и стал ждать конца собрания. Наконец все разошлись, но остался один мальчишка, с которым Трауту надо было договориться. Мальчишка решил бросить работу — и трудно, и времени отнима-

ет много, и платят мало. Траут забеспокоился: если мальчишка и впрямь уйдет, придется самому разносить газеты в этом районе, пока не найдется другой мальчик.

— Ты кто такой? — спросил Траут презрительно. — Тоже мне, чудо без кишок.

Кстати, так называлась одна книжка Траута — «Чудо без кишок». В ней описывался робот, у которого скверно пахло изо рта, а когда он от этого излечился, его все полюбили. Но самое замечательное в этой книге, написанной в 1932 году, было то, что в ней предсказывалось употребление сгущенного желеобразного газа для сжигания человеческих существ.

Вещество бросали с самолетов роботы. Совесть у них отсутствовала, и они были запрограммированы так, чтобы не представлять себе, что от этого делается с людьми на земле.

Ведущий робот Траута выглядел как человек, он мог разговаривать, танцевать и так далее, даже гулять с девушками. И никто не попрекал его тем, что он бросает сгущенный газ на людей. Но дурной запах изо рта ему не прощали. А потом он от этого излечился, и человечество радостно приняло его в свои ряды.

Траут никак не мог уговорить мальчишку-газетчика, который хотел бросить работу. Он ему твердил про миллионеров, начавших с продажи газет, и мальчишка ответил:

— Начать-то они начали, да, наверно, через неделю бросили: больно уж вшивая работка!

И мальчишка кинул к ногам Траута сумку с газетами и с адресами своих подписчиков. Трауту надо было разносить эти газеты. Машины у него не было. У него даже велосипеда не было, и он смертельно боялся собак.

Где-то лаял огромный пес.

Траут мрачно вскинул сумку на плечо, и тут к нему подошел Билли:

— Мистер Траут?

— Да?

— Вы... Вы — Килгор Траут?

— Да. — Траут решил, что Билли пришел жаловаться на плохую доставку газет. Он никогда не думал о себе как о писателе по той простой причине, что никто на свете не давал повода для этого.

— Вы... Вы — тот писатель?

— Кто?

Билли был уверен, что ошибся.

— Есть такой писатель — Килгор Траут.

— Такой писатель? — Лицо у Траута было растерянное, глупое.

— Вы никогда о нем не слышали?

Траут покачал головой:

— Никто никогда о нем не слышал.

Билли помог Трауту развезти газеты, объехал с ним всех подписчиков в своем «Кадиллаке». Все делал Билли — находил дом, проверял адрес. Траут совершенно обалдел. Никогда в жизни он не встречал поклонника, а Билли был таким горячим его поклонником. Траут рассказал ему, что никогда не видел своих книг в продаже, не читал рецензий, не видал рекламы.

— А ведь все эти годы я открывал окно и объяснялся миру в любви.

— Но вы, наверно, получали письма? — сказал Билли. — Сколько раз я сам хотел вам написать.

Траут поднял палец:

— Одно!

— Наверно, очень восторженное?

— Нет, очень сумасшедшее. Там говорилось, что я должен стать Президентом земного шара.

Оказалось, что автором письма был Элиот Розуотер, приятель Билли по военному госпиталю около Лейк-Плэсида.

Билли рассказал Трауту про Розуотера.

— Бог мой, а я решил, что ему лет четырнадцать, — сказал Траут.

— Нет, он взрослый, был капитаном на войне.

— Апишет как четырнадцатилетний, — сказал Килгор Траут.

Через два дня Билли пригласил Траута в гости. Он праздновал восемнадцатилетие со дня своей свадьбы. И сейчас веселье было в самом разгаре.

В столовой у Билли Траут поглощал один сандвич за другим. Дожевывая икру и сыр, он разговаривал с женой одного из оптометристов. Все гости, кроме Траута, были так или иначе связаны с оптометрией. И только он один не носил очков. Он пользовался большим успехом. Всем льстило, что среди гостей — настоящий писатель, хотя книг его никто не читал.

Траут разговаривал с Мэгги Уайт, которая бросила место помощницы зубного врача, чтобы создать домашнее гнездышко оптометристу. Она была очень хорошенькая. Последняя книга, которую она прочла, называлась «Айвенго».

Билли стоял неподалеку, слушая их разговор. Он нащупывал пакетик в кармане. Это был подарок, приготовленный им для жены, — белая атласная коробочка, в ней — кольцо с сапфиром. Кольцо стоило восемьсот долларов.

Трауту страшно льстило восхищение глупой и безграмотной Мэгги, оно опьяняло его, как марихуана. Он отвечал ей громко, весело, нахально.

— Боюсь, что я читаю куда меньше, чем надо, — сказала Мэгги.

— Все мы чего-нибудь боимся, — ответил Траут. — Я, например, боюсь рака, крыс и доberman-пинчеров.

— Мне очень неловко, что я не знаю, но все-таки скажите, какая ваша книжка самая знаменитая?

— Роман про похороны прославленного французского шеф-повара, — ответил Траут.

— Как интересно!

— Его хоронили все самые знаменитые шеф-повара мира. Похороны вышли прекрасные, — сочинял Траут на ходу. — И прежде чем закрыть крышку гроба, траурный кортеж посыпал дорогого покойника укропом и перчиком. Такие дела.

* * *

— А это действительно было? — спросила Мэгги Уайт. Женщина она была глупая, но от нее шел неотразимый соблазн — делать с ней детей. Стоило любому мужчине взглянуть на нее — и ему немедленно хотелось начинить ее кучей младенцев. Но пока что у нее не было ни одного ребенка. Контролировать рождаемость она умела.

— Ну конечно, было, — уверил ее Траут. — Если бы я писал про то, чего не было, и продавал такие книжки, меня посадили бы в тюрьму. Это же *мошенничество*.

Мэгги ему поверила.

— Вот уж никак не думала, — сказала она.

— А вы подумайте!

— И с рекламой тоже так. В рекламах надо писать правду, не то будут неприятности.

— Точно. Тот же параграф закона.

— Скажите, а вы когда-нибудь опишете в книжке *нас* всех?

— Все, что со мной бывает, я описываю в книжках.

— Значит, надо быть поосторожнее, когда с вами разговариваешь.

— Совершенно верно. А кроме того, не я один вас слышу. Бог тоже слушает нас, и в Судный день он вам напомнит все, что вы говорили, и все, что вы делали. И если окажется, что слова и дела были плохие, так вам тоже будет очень плохо,

потому что вы будете гореть на вечном огне. А гореть очень больно, и конца этому нет.

Бедная Мэгги стала серого цвета. Она и *этому* поверила и просто окаменела.

Килгор Траут громко захохотал. Икринка вылетела у него изо рта и прилипла к декольте Мэгги.

* * *

Тут один из оптометристов попросил внимания. Он предложил выпить за здоровье Билли и Валенсии, в честь годовщины их свадьбы. Как и полагалось, квартет оптометристов, «чэпы», пел, пока все пили, а Билли с Валенсией, сияя, обняли друг друга. Глаза у всех заблестели. Квартет пел старую песню «Мои дружки».

«Где вы, где вы, старые друзья, — пелось в песне, — *за встречу с вами все отдал бы я*» — и так далее. А под конец там пелось: «*Прощайте навек, дорогие друзья, прощай навеки, подруга моя, храни их господь...*» — и так далее.

Неожиданно Билли очень расстроился от песни, от всего. Никаких старых друзей у него никогда не было, никаких девушек в прошлом он не знал, и все равно ему стало тоскливо, когда квартет медленно и мучительно тянул аккорды — сначала нарочито унылые, кислые, потом все кислее, все тягучее, а потом сразу вместо кислоты — сладкий до удушья аккорд, и снова — несколько аккордов, кислых до оскомины. И на душу и на тело Билли чрезвычайно сильно действовали эти изменчивые аккорды. Во рту появился вкус кислого лимонада, лицо нелепо переконилось, словно его и на самом деле пытали на так называемой дыбе.

Вид у него был настолько нехороший, что многие это заметили и заботливо окружили его, когда квартет допел песню. Они решили, что у Билли сердечный припадок, и он подтвердил эту догадку, тяжело опустившись в кресло.

Все умолкли.

— Боже мой! — ахнула Валенсия, наклоняясь над ним. — Билли, тебе плохо?

— Нет.

— Ты ужасно выглядишь.

— Ничего, ничего, я вполне здоров. — Так оно и было, только он не мог понять, почему на него так странно подействовала песня. Много лет он считал, что понимает себя до конца. И вдруг оказалось, что где-то внутри в нем скрыто что-то таинственное, непонятное, и он не мог представить себе, что это такое.

Гости оставили Билли в покое, увидев, что бледность у него прошла, что он улыбается. Около него осталась Валенсия, а потом подошел стоявший поблизости Килгор Траут и пристально, с любопытством посмотрел на него.

— У тебя был такой вид, как будто ты увидел привидение, — сказала Валенсия.

— Нет, — сказал Билли. Он ничего не видел, кроме лиц музыкантов, четырех обыкновенных людей с коровьими глазами, в бездумной тоске извлекающих то кислые, то сладкие звуки.

— Можно высказать предположение? — спросил Килгор Траут. — Вы заглянули в окно времени.

— Куда, куда? — спросила Валенсия.

— Он вдруг увидел не то будущее, не то прошлое. Верно я говорю?

— Нет, — сказал Билли Пилигрим. Он встал, сунул руку в карман, нашел футляр с кольцом. Он вынул футляр и рассеянно подал его Валенсии. Он собирался вручить ей кольцо, когда кончится пение и все будут на них смотреть. А теперь на них смотрел один Килгор Траут.

— Это мне? — сказала Валенсия.

— Да.

— Ах, боже мой! — сказала она. И еще громче: — Ах, боже мой! — так, что услышали все гости.

Они окружили ее, и она открыла футляр и чуть не взвизгнула, увидев кольцо с сияющим сапфиром.

— О боже! — повторила она. И крепко поцеловала Билли. — Спасибо тебе, спасибо! Большое спасибо! — сказала она.

Все заговорили, вспомнили, сколько драгоценностей Билли подарил Валенсии за все эти годы.

— Ну, знаете, — сказала Мэгги Уайт, — у нее есть огромный бриллиант, только в кино такие и увидишь. — Она говорила о бриллианте, который Билли привез с войны.

Игрушку в виде челюсти, найденную в подкладке пальто убитого импресарио, Билли спрятал в ящик, в коробку с запонками. У Билли была изумительная коллекция запонки. Обычно родные на каждый день рождения дарили ему запонки. И сейчас на нем были подарочные запонки. Они стоили больше ста долларов. Сделаны они были из старинных римских монет. В спальне у него были запонки в виде колесиков рулетки, которые и в самом деле крутились. А в другой паре на одной запонке был настоящий термометр, а на другой — настоящий компас...

Билли обходил гостей, и вид у него был совершенно нормальный. Килгор Траут шел за ним как тень — ему очень хотелось узнать, что померещилось или увиделось Билли. В своих романах Траут почти всегда писал про пертурбации во времени, про сверхчувственное восприятие и другие необычайные вещи. Траут очень верил во все это и жадно искал подтверждения.

— Вам не приходилось класть на пол большое зеркало, а потом пускать на него собаку? — спросил Траут у Билли.

— Нет.

— Собака посмотрит вниз и вдруг увидит, что под ней ничего нет. Ей покажется, что она висит в воздухе. И как отскочит назад — чуть ли не на милю!

— Неужели?

— Вот и у вас был такой вид, будто вы повисли в воздухе.

Квартет любителей снова запел. И снова их пение расстроило Билли. Его переживания были определенно связаны с видом четырех музыкантов, а вовсе не с их пением. Но от этой песни у Билли опять защемило внутри:

Хлопок десять центов,
мясо — сорок шесть,
человеку бедному
ничего есть.
Просишь солнца с неба,
а с неба хлещет дождь,
от такой погоды
и впрямь с ума сойдешь.
Выстроил хороший
новый амбар,
выкрасил славно,
да съел его пожар.
Хлопок десять центов,
а чем платить налог?
Спину сломаешь,
собьешься с ног...

Билли убежал на верхний этаж своего красивого белого дома.

Килгор Траут хотел было пойти за ним наверх, но Билли сказал: не надо. Билли пошел в ванную. Там было темно. Билли

крепко запер дверь, света он не стал зажигать, но сразу понял, что он тут не один. Там сидел его сын.

— Папа? — спросил сын в темноте. Роберту, будущему «зеленому берету», было тогда семнадцать лет. Билли его любил, но знал его довольно плохо. Билли смутно подозревал, что и знать про Роберта особенно нечего.

Билли включил свет. Роберт сидел на унитазе, спустив пижамные штаны. Через плечо, на ленте, у него висела электрическая гитара. Он ее купил в этот день. Играть он еще не умел, впрочем, он так никогда играть и не научился. Гитара была перламутрово-розового цвета.

— Привет, сынок, — сказал Билли Пилигрим.

Билли прошел к себе в спальню, хотя ему надо было бы заниматься гостей внизу. Он лег на кровать, включил «волшебные пальцы». Матрас стал вибрировать и спугнул из-под кровати собаку. Это был Спот. Славный старый Спот тогда еще был жив. Спот пошел и лег в углу.

Билли сосредоточенно думал, почему этот квартет так на него подействовал, и наконец установил, какие ассоциации с очень давним событием вызвали у него эти песни. Ему не понадобилось путешествовать во времени, чтобы восстановить пережитое. Он смутно вспомнил вот что.

Он был внизу, в холодном подвале, в ту ночь, когда разбомбили Дрезден. Наверху слышались звуки, похожие на топот великанов. Это взрывались многотонные бомбы. Великаны топали и топали. Подвал был надежным убежищем. Только изредка спотолка осыпалась известка. Внизу не было никого, кроме американцев, четырех человек из охраны и нескольких туш. Остальные четыре охранника, еще до налета, разошлись по домам, в семейный уют. Сейчас их убивали вместе с их семьями.

Такие дела.

Девочки, те, кого Билли видел голенькими, тоже все были убиты в менее глубоком убежище, в другом конце боен.

Такие дела.

Один из охранников то и дело поднимался по лестнице — посмотреть, что там делалось снаружи, потом спускался и перешептывался с другими охранниками. Наверху бушевал огненный ураган. Дрезден превратился в сплошное пожарище. Пламя пожирало все живое и вообще все, что могло гореть.

До полудня следующего дня выходить из убежища было опасно. Когда американцы и их охрана вышли наружу, небо было сплошь закрыто черным дымом. Сердитое солнце казалось шляпкой гвоздя. Дрезден был похож на Луну — одни минералы. Камни раскалились. Вокруг была смерть.

Такие дела.

Охранники инстинктивно встали в ряд, глаза у них бегали. Они пытались мимикой выразить свои чувства, без слов, их губы беззвучно шевелились. Они были похожи на немой фильм про тот квартет певцов. «Прощайте навек, дорогие друзья, — словно пели они, — прощай навеки, подруга моя, храни их господь...»

— Расскажи мне что-нибудь, — как-то попросила Билли Монтана Уайлдбек в тральфамадорском зоопарке. Они лежали рядом в постели. Никто их не видел. Ночной полог закрывал купол. Монтана была на седьмом месяце, большая, розовая, и время от времени лениво просила Билли что-нибудь для нее сделать. Она не могла послать Билли за мороженым или за клубникой, потому что атмосфера за куполом была насыщена синильной кислотой, а самое короткое расстояние до мороженого и клубники равнялось миллионам световых лет.











Правда, она могла послать его достать что-нибудь из холодильника, украшенного веселой парочкой на велосипеде, или попросить, как сейчас:

— Расскажи мне что-нибудь, Билли, миленький.

— Дрезден был разрушен в ночь на тринадцатое февраля 1945 года, — начал свой рассказ Билли Пилигрим. — На следующий день мы вышли из нашего убежища. — Он рассказала Монтане про четырех охранников и как они, обалдевшие, расстроенные, стали похожи на квартет музыкантов. Он рассказал ей о разрушении боен, где были снесены все ограды, сорваны крыши, выбиты окна, он рассказал ей, как везде валялось что-то, похожее на короткие бревна. Это были люди, попавшие в огненный ураган. Такие дела.

Билли рассказал ей, что случилось со зданиями, которые возвышались, словно утесы, вокруг боен. Они рухнули. Все деревянные части сгорели, и камни обрушились, сшиблись и наконец застыли живописной грядой.

— Совсем как на Луне, — сказал Билли Пилигрим.

Охрана велела американцам построиться по четыре, что они и выполнили. Их повели к хлеву для свиней, где они жили. Стены хлева были еще целы, но крышу сорвало, стекла выбило, и ничего, кроме пепла и кусков расплавленного стекла, внутри не осталось. Все поняли, что ни пищи, ни воды там не было и что тем, кто выжил, если они хотят выжить и дальше, надо пробираться через гряду за грядой по лунной поверхности.

Так они и сделали.

Гряды и груды только издали казались ровными. Те, кому пришлось их преодолевать, увидели, что они коварны и колючи. Горячие на ощупь, часто неустойчивые, эти груды стремились рассыпаться и лечь плотнее и ниже, стоило только тронуть какой-нибудь опорный камень. Экспедиция пробиралась по

лунной поверхности молча. О чем тут было говорить? Ясно было только одно: предполагалось, что все население города, без всякого исключения, должно быть уничтожено, и каждый, кто осмелился остаться в живых, портил дело. Людям оставаться на Луне не полагалось.

И американские истребители вынырнули из дыма посмотреть — не движется ли что-нибудь внизу. Они увидели Билли и его спутников. Самолет полил их из пулемета, по пули пролетели мимо. Тут самолеты увидели, что по берегу реки тоже движутся какие-то люди. Они и их полили из пулеметов. В некоторых они попали. Такие дела.

Все это было задумано, чтобы скорее кончилась война.

Как ни странно, рассказ Билли кончился тем, что он оказался на дальней окраине города, не тронутой взрывами и пожарами. К ночи американцы со своей охраной подошли к постоялому двору, открытому для приема посетителей. Горели свечи. Внизу топились три печки. Там, в ожидании гостей, стояли пустые столы и стулья, а наверху были уже аккуратно постланы постели.

Хозяин постоялого двора был слепой, жена у него была зрячая, она стряпала, а две молоденькие дочки подавали на стол и убирали комнаты. Все семейство знало, что Дрезден уничтожен. Зрячие видели своими глазами, как город горел и горел, и понимали, что они очутились на краю пустыни. И все же они ждали, ждали, не придет ли кто к ним.

Но особого притока беженцев из Дрездена не было. Тикали часы, трещал огонь в печах, капали воском прозрачные свечи. И вдруг раздался стук, и вошли четыре охранника и сто американских военнопленных.

Хозяин спросил охрану, не из города ли они пришли.

— Да.

— А еще кто-нибудь придет?

И охранники сказали, что на нелегкой дороге, по которой они пришли, им не встретилась ни одна живая душа.

Слепой хозяин сказал, что американцы могут расположиться на ночь у него в сарае, накормил их супом, напоил эрзац-кофе и даже выдал понемножку пива. Потом он подошел к сараю, послушал, как американцы, шурша соломой, укладываются спать.

— Доброй ночи, американцы! — сказал он по-немецки. — Спите спокойно.

9

Билли Пилигрим потерял свою жену Валенсию так.

Он лежал без сознания в вермонтском госпитале после того, как самолет разбился в горах Щугарбуш, а Валенсия, услышав о катастрофе, выехала из Илиума в госпиталь на их «Кадиллаке». Валенсия была в истерике, потому что ей откровенно сказали, что Билли может умереть, а если и выживет, то превратится в растение.

Валенсия боготворила Билли. Она так рыдала и охала, правя машиной, что пропустила нужный поворот с шоссе. Она резко затормозила, и сзади в нее врезался «Мерседес». Никто, слава богу, не пострадал, потому что на тех, кто вел машину, были пристегнуты ремни. Слава богу, слава богу. У «Мерседеса» была разбита только одна фара. Но задняя часть кузова «Кадиллака» стала голубой мечтой ремонтника. Задние крылья были смяты. Разломанный багажник был разинут, как рот деревенского дурачка, который признается, что он ни в чем ни черта не понимает. Бампер задрался кверху, словно салютуя прохожим. «Голосуйте за Ригана!» — гласила нашлапка на бампере. Заднее стекло было изрезано трещинами. Система выхлопа валялась на земле.

Водитель «Мерседеса» подошел к Валенсии — справиться, все ли в порядке... Она что-то залопотала в истерике — про

Билли, про катастрофу — и вдруг тронула машину и поехала, оставив всю систему выхлопа на земле.

Когда она подкатила к госпиталю, люди выскочили посмотреть, что там за шум. «Кадиллак», потерявший оба глушителя, ревел, как тяжелый бомбардировщик, приземляющийся на честном слове и на одном крыле. Валенсия выключила мотор и упала грудью на руль, и гудок стал выть без остановки. Доктор с сестрой выбежали взглянуть, что случилось. Бедная Валенсия была без сознания, отравленная выхлопными газами. Она вся стала небесно-голубого цвета.

Час спустя она скончалась. Такие дела.

Билли ничего об этом не знал. Он спал, видел сны, путешествовал во времени и так далее. Больница была так переполнена, что отдельной палаты ему не дали. С ним лежал профессор истории Гарвардского университета по имени Бертрам Копленд Рэмфорд. Рэмфорду смотреть на Билли не приходилось, потому что вокруг Биллиной койки стояла белая полотняная ширма на резиновых колесиках. Но Рэмфорд время от времени слышал, как Билли разговаривает сам с собой.

У Рэмфорда нога была на вытяжке. Он сломал ее, катаясь на лыжах. Было ему уже семьдесят лет, но душой и телом он был вдвое моложе. Ногу он сломал, проводя медовый месяц со своей пятой женой. Ее звали Лили. Лили было двадцать три года.

Примерно в тот час, когда умерла бедная Валенсия, Лили пришла в палату к Рэмфорду и Билли с грудой книг. Рэмфорд специально послал ее за этими книгами в Бостон. Он работал над однотомной историей военно-воздушных сил США во Второй мировой войне. Лили принесла книги про бомбежки и воздушные бои, происходившие, когда ее еще и на свете не было.

— Идите без меня, ребята, — бредил Билли, когда в палату вошла красотка Лили. Она была о-го-го какая, когда Рэмфорд ее увидал и решил сделать своей собственностью. Из школы ее выгнали. Интеллект у нее был ниже среднего.

— Я его боюсь! — шепнула она мужу про Билли Пилигрима.

— Амне он надоел до чертиков, — басом сказал Рэмфорд. — Только и знает, что спросонья сдаваться, поднимать руки вверх, извиняться перед всеми и просить, чтобы его не трогали. — Сам Рэмфорд был бригадный генерал в отставке, числился в резерве военно-воздушных сил и еще был профессором, автором двадцати шести книг, мультимиллионером с самого рождения и одним из лучших яхтсменов в мире. Самой популярной его книгой было исследование о сексе и усиленных занятиях спортом для мужчин старше шестидесяти пяти лет. Сейчас он процитировал Теодора Рузвельта, на которого был очень похож:

— Я мог бы вырезать из банана человека получше.

Среди других книг Рэмфорд велел Лили достать в Бостоне копию речи президента Гарри Трумэна, в которой он объявлял всему миру, что на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Лили привезла ксерокопию, и Рэмфорд спросил ее, читала ли она эту речь.

— Нет. — Читала она очень плохо, и это была одна из причин, почему ее выставили из школы.

Рэмфорд приказал ей сесть и прочитать про себя заявление Трумэна. Он не знал, что она неважно читает. И вообще он знал про нее очень мало: она была главным образом еще одним явным доказательством для всего света, что он — супермен.

Лили села и сделала вид, что читает трумэновское заявление, звучавшее так:

Шестнадцать часов тому назад американский самолет сбросил бомбу на Хиросиму, важную военную базу япон-

ской армии. Бомба превышала мощностью 20 000 тонн Т.Н.Т., она в две тысячи раз превышала взрывную силу британской бомбы «большой шлем» — самой мощной бомбы в военной истории.

Японцы начали войну нападением на Перл-Харбор. Они получили стократное возмездие. И это еще не конец. Эта бомба вошла в наш арсенал как новое решающее средство для усиления растущей разрушительной мощи наших военных сил. Бомбы этого типа уже находятся в производстве, и еще более мощные бомбы уже в проекте.

Это атомная бомба. Для ее создания мы покорили мощные силы природы. Источник, которым питается солнечная энергия, был направлен против тех, кто развязал войну на Дальнем Востоке.

До 1939 года ученые уже признавали теоретическую возможность высвободить атомную энергию. Но практически никто этого сделать не мог. Однако в 1942 году мы узнали, что Германия лихорадочно работает в поисках способа овладеть энергией атома и прибавить ее к той военной машине, при помощи которой немцы стремились поработить весь мир. Но они просчитались. Мы можем возблагодарить провидение за то, что немцы поздно пустили в ход «ФАУ-1» и «ФАУ-2», притом в весьма ограниченных количествах, и что они не овладели атомной бомбой.

Битва лабораторий была для всех нас сопряжена с таким же смертельным риском, как и битва в воздухе, на суше и на море, но мы победили в битве лабораторий, как победили и во всех других битвах.

Теперь мы готовы окончательно и без промедления уничтожить любую промышленность Японии, в любом их городе на поверхности земли, — говорил далее Гарри Трумэн. — Мы разрушили их доки, их заводы, их пути со-

общения. Пусть никто не заблуждается: мы полностью разрушим военную мощь Японии. И чтобы уберечь...

Ну и так далее.

Одна из книжек, привезенных Лили для Рэмфорда, называлась «Разрушение Дрездена», автором был англичанин по имени Дэвид Эрвинг. Выпустило книгу американское издательство «Холт, Райнгарт и Уинстон» в 1964 году. Рэмфорду нужны были отрывки из двух предисловий, написанных его друзьями — Айрой Икером, генерал-лейтенантом военно-воздушного флота США в отставке, и маршалом британских военно-воздушных сил сэром Робертом Сондби, кавалером многих военных орденов и медалей.

Затрудняюсь понять англичан или американцев, рыдающих над убитыми из гражданского населения и не проливших ни слезинки над нашими доблестными воинами, погибшими в боях с жестоким врагом, — писал, между прочим, друг Рэмфорда генерал Икер. — Мне думается, что неплохо было бы мистеру Эрвингу, нарисовавшему страшную картину гибели гражданского населения в Дрездене, припомнить, что и «ФАУ-1» и «ФАУ-2» в это время падали на Англию, без разбору убивая граждан — мужчин, женщин, детей, для чего эти снаряды и были предназначены. Неплохо было бы ему вспомнить и о Бухенвальде, и о Ковентри.

Предисловие Икера кончалось так:

Я глубоко сожалею, что бомбардировочная авиация Великобритании и США при налете убила 135 тысяч жителей Дрездена, но я не забываю, кто начал войну, и еще

больше сожалею, что более пяти миллионов жизней было отдано англо-американскими вооруженными силами в упорной борьбе за полное уничтожение фашизма.

Такие дела.

Среди прочих высказываний маршала военно-воздушных сил Сондби было следующее:

Никто не станет отрицать, что бомбардировка Дрездена была большой трагедией. Ни один человек, прочитавший эту книгу, не поверит, что это было необходимо с военной точки зрения. Это было страшное несчастье, какие иногда случаются в военное время, вызванное жестоким стечением обстоятельств. Санкционировавшие этот налет действовали не по злобе, не из жестокости, хотя вполне вероятно, что они были слишком далеки от суровой реальности военных действий, чтобы полностью уяснить себе чудовищную разрушительную силу воздушных бомбардировок весны 1945 года.

Защитники ядерного разоружения, очевидно, полагают, что, достигни они своей цели, война станет пристойной и терпимой. Хорошо бы им прочесть эту книгу и подумать о судьбе Дрездена, где при воздушном налете с дозволенным оружием погибло сто тридцать пять тысяч человек. В ночь на 9 марта 1945 года при налете на Токио тяжелых американских бомбардировщиков, сбросивших зажигательные и фугасные бомбы, погибло 83 793 человека. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, убила 71 379 человек.

Такие дела.

— Приедете в Коди, штат Вайоминг, сразу спросите Бешеного Боба, — сказал Билли Пилигрим за полотняной ширмой.

Лили Рэмфорд передернулась и продолжала делать вид, что читает опус Гарри Трумэна.

К вечеру в госпиталь пришла дочка Билли, Барбара. Она наелась успокоительных таблеток, и глаза у нее совсем остекленели, как глаза бедного старого Эдгара Дарби перед тем, как его расстреляли в Дрездене. Доктора скормили ей эти таблетки, чтобы она продолжала функционировать, хотя мать у нее умерла, а отец разбился.

Такие дела.

С ней вошли доктор и сестра. Ее брат Роберт вылетел домой с театра военных действий во Вьетнаме.

— Папочка... — позвала она нерешительно. — Папочка. Но Билли ушел на десять лет назад — в 1958 год. Он проверял зрение слабоумного молодого монголоида, чтобы прописать ему очки. Мать слабоумного стояла тут же, выполняя роль переводчика.

— Сколько точек вывидите? — спрашивал Билли Пилигрим.

И тут же Билли пропутешествовал во времени еще дальше: ему было шестнадцать лет, и он ждал в приемной врача. У него нарывал большой палец. Кроме него приема ожидал еще один больной, старый-престарый человек. Старика мучили газы. Он громко пукал, потом икал.

— Извините, — сказал он Билли. И снова икнул. — О господи! — сказал он. — Я знал, что старость скверная штука. — Он покачал головой. — Но что будет так скверно, я не знал.

Билли Пилигрим открыл глаза в палате вермонтской больницы, не понимая, где он находится. У постели сидел его сын, Роберт. На Роберте была форма знаменитых «зеленых беретов». Роберт был коротко острижен, волосы — соломенная

щетина. Роберт был чистенький, аккуратный. На груди красовались ордена — Алое сердце, Серебряная звезда и Бронзовая звезда с двумя лучами.

И это был тот мальчик, которого выгнали из школы, который пил без просыпу в шестнадцать лет, шлялся с подозрительной бандой, был арестован за то, что однажды свалил сотни памятников на католическом кладбище. А теперь он выправился. Он отлично держался, сапоги у него были начищены до блеска, брюки отглажены, и он был начальником целой группы людей.

— Папа?

Но Билли снова закрыл глаза.

Билли не пришлось поехать на похороны жены — он еще был слишком болен. Но он был в сознании, когда его жену опускали в землю, в Илиуме. Однако, даже придя в сознание, Билли почти ничего не говорил ни о смерти Валенсии, ни о возвращении Роберта с войны, вообще ни о чем, так что считалось, что он превратился во что-то вроде растения. Шел даже разговор о том, чтобы ему впоследствии сделать операцию и тем самым улучшить кровообращение в мозгу.

А на самом деле безучастность Билли была просто ширмой. За этой безучастностью скрывалась кипучая, неустанная деятельность мозга. И в этом мозгу рождались письма и лекции о летающих блюдцах, о несущественности смерти и об истинной природе времени.

Профессор Рэмфорд говорил вслух ужасные вещи про Билли в уверенности, что у Билли мозг вообще не работает.

— Почему они не дадут ему умереть спокойно? — спросил он у Лили.

— Не знаю, — сказала она.

— Ведь он уже не человек. А доктора существуют для людей. Надо бы его передать ветеринару или садовнику. Они бы

знали, что с ним делать. Посмотри на него! По их медицинским понятиям, это жизнь. Но ведь жизнь прекрасна, верно?

— Не знаю, — сказала Лили.

Как-то Рэмфорд заговорил с Лили про бомбежку Дрездена, и Билли все слышал.

У Рэмфорда с Дрезденом возникли некоторые сложности. Его одноклассник по истории военно-воздушных сил был задуман как сокращенный литературный пересказ двадцатисемитомной официальной истории военно-воздушных сил во Второй мировой войне. Но дело было в том, что во всех двадцати семи томах о налете на Дрезден почти ничего не говорилось, хотя эта операция и прошла с потрясающим успехом. Но размер этого успеха в течение многих лет после войны держали в тайне — в тайне от американского народа. Разумеется, это не было тайной для немцев или для русских, занявших Дрезден после войны.

— Американцы в конце концов услышали о Дрездене, — сказал Рэмфорд через двадцать три года после налета. — Теперь многие знают, насколько этот налет был хуже Хиросимы. Так что придется мне упомянуть об этом в своей книге. В официальной истории военно-воздушных сил это будет впервые.

— А почему этот налет так долго держали в тайне? — спросила Лили.

— Из страха, что во многих чувствительных сердцах может возникнуть сомнение, что эта операция была такой уж блестящей победой.

И тут Билли Пилигрим заговорил вполне разумно.

— Я там был, — сказал он.

Рэмфорду было трудно отнестись к словам Билли всерьез, потому что Рэмфорд уже давно воспринимал его как нечто отталкивающее, нечеловеческое и считал, что лучше бы ему умереть. И теперь, когда Билли вдруг заговорил совершенно

отчетливо, слух Рэмфорда воспринял его слова как иностранную речь, которую не стоит изучать.

— Что он сказал? — спросил Рэмфорд.

Лили взялась за роль переводчика.

— Сказал, что он там был, — объяснила она.

— Где это там?

— Не знаю, — сказала Лили. — Где вы были? — спросила она у Билли.

— В Дрездене, — сказал Билли.

— В Дрездене, — сказала Лили Рэмфорду.

— Да он просто, как эхо, повторяет наши слова, — сказал Рэмфорд.

— Правда? — сказала Лили.

— У него эхолалия.

— Правда?

Эхолалией называется такое психическое заболевание, когда люди неукоснительно повторяют каждое слово, услышанное от здоровых людей. Но никакой эхолалией Билли не болел. Просто Рэмфорд выдумал это для самоуспокоения. По военной привычке Рэмфорд считал, что каждый неугодный ему человек, чья смерть, из практических соображений, казалась ему весьма желательной, непременно страдает какой-нибудь скверной болезнью.

Рэмфорд несколько часов подряд долбил всем, что у Билли эхолалия. И врачам и сестрам он повторял: у него началась эхолалия. Над Билли произвели несколько экспериментов. Врачи и сестры пытались заставить Билли отзываться эхом на их слова, но Билли не произносил ни звука.

— Сейчас не отзывается, — раздраженно говорил Рэмфорд, — а как только вы уйдете, он опять примется за свое.

Никто не соглашался с диагнозом Рэмфорда всерьез. Персонал считал его противным старикашкой, самодовольным и жестоким. Он часто говорил им, что так или иначе слабые

люди заслуживают смерти. А медицинский персонал, конечно, исповедовал ту идею, что слабым надо помогать чем только можно и что никто умирать не должен.

Там, в госпитале, Билли пережил состояние беспомощности, подобное тому, какое испытывают на войне многие люди: он пытался убедить нарочно оглохшего и ослепшего ко всему врага, что надо непременно выслушать его, Билли, взглянуть на него. Билли молчал, пока вечером не погасили свет, и после долгого молчания, когда не на что было отзываться эхом, сказал Рэмфорду:

— Я был в Дрездене, когда его разбомбили. Я был в плену.

Рэмфорд нетерпеливо крикнул.

— Честное слово, — сказал Билли Пилигрим. — Вы мне верите?

— Разве непременно надо об этом говорить сейчас? — сказал Рэмфорд. Он услышал, но не поверил.

— Об этом никогда говорить не надо, — сказал Билли. — Просто хочу, чтобы вы знали: я там был.

В тот вечер о Дрездене больше не говорили, и Билли, закрыв глаза, пропутешествовал во времени и попал в майский день через два дня после окончания Второй мировой войны в Европе. Билли с пятью другими американцами-военнопленными ехал в зеленом, похожем на гроб фургоне — они нашли фургон целехоньким, даже с парой лошадей, в дрезденском пригороде. И теперь, под цоканье копыт, они ехали по узким дорожкам, проложенным на лунной поверхности, среди развалин. Они ехали на бойню — искать военные трофеи. Билли вспоминал, как ранним утром в Илиуме он еще мальчишкой слушал, как стучат копыта лошадки молочника.

Билли сидел в кузове фургона. Он откинул голову, ноздри у него раздувались. Билли был счастлив. Ему было теп-

ло. В фургоне была еда, и вино, и коллекция марок, и чучело совы, и настольные часы, которые заводились при изменении атмосферного давления. Американцы обошли пустые дома на окраине, где их держали в плену, и набрали много всяких вещей.

Владельцы домов, напуганные слухами о приходе русских, убежали из своих домов.

Но русские не пришли даже через два дня после окончания войны... В развалинах стояла тишина. По дороге к бойням Билли увидел только одного человека. Это был старик с детской коляской. В коляске лежали чашки, кастрюльки, остов от зонтика и всякие другие вещи, подобранные по пути.

Когда фургон остановился у боен, Билли остался в нем погреться на солнышке. Остальные пошли искать трофеи. Позднее жители Тральфамадора советовали Билли сосредоточиваться на счастливых минутах жизни и забывать несчастливые и вообще, когда бег времени замирает, смотреть только на красоту. И если бы Билли мог выбирать самую счастливую минуту в жизни, он, наверно, выбрал бы тот сладкий, залитый солнцем сон в зеленом фургоне.

Билли Пилигрим дремал во всеоружии. Впервые после военного обучения он был вооружен. Его спутники настояли, чтобы он вооружился: одному Богу известно, какая смертельная опасность кроется в трещинах лунной поверхности — бешеные псы, разжиревшие на трупах крысы, беглые маньяки, разбойники, солдаты, всегда готовые убивать, пока их самих не убьют.

За поясом у Билли торчал огромный кавалерийский пистолет — реликвия Первой мировой войны. В рукоять пистолета было вделано кольцо. Он заряжался пулями величиной с лесной орех. Билли нашел пистолет в ночном столике пус-

того дома. Это была одна из примет конца войны — любой человек, без исключения, которому хотелось иметь оружие, мог его раздобыть. Оружие валялось повсюду. Для Билли нашлась и сабля. Это была парадная сабля летчика. На рукояти красовался орел с широко разинутым клювом. Орел держал в когтях свастику и смотрел вниз. Кто-то вонзил саблю в телеграфный столб, где ее и увидел Билли. Он вытащил саблю из столба, проезжая мимо на фургоне.

Внезапно его сон был нарушен: он услышал голоса — женский и мужской, они жалостливо говорили что-то по-немецки. Эти люди явно над чем-то сокрушались. Прежде чем Билли открыл глаза, он подумал, что такими жалостливыми головами, наверно, переговаривались друзья Иисуса, снимая его изуродованное тело с креста. Такие дела.

Билли открыл глаза. Пожилая чета ворковала над лошадьми. Эти люди заметили то, чего не замечали американцы, — что губы у лошадей кровоточили, израненные удилами, что копыта у них были разбиты, так что каждый шаг был пыткой, что лошади обезумели от жажды. Американцы обращались с этим видом транспорта, словно он был не более чувствителен, чем шестицилиндровый «Шевроле».

Оба жалельщика лошадей прошли вдоль фургона и, увидев Билли, со снисходительным упреком поглядели на него — на Билли Пилигрима, такого длинного, такого нелепого в своей лазоревой тоге и серебряных сапогах. Они его не боялись. Они ничего не боялись. Оба — и муж и жена — были врачами, акушерами. Они принимали роды, пока не сгорели все больницы. Теперь они отдыхали у того места, где раньше был их дом.

Женщина была красивая, нежная, вся прозрачная от питания одной картошкой. На мужчине был деловой костюм, галстук и все прочее. От картошки он совсем отощал. Он был



такой же длинный, как Билли, в выпуклых очках со стальной оправой. Эта пара, вечно возившаяся с новорожденными, сама свой род не продлила, хотя у них были все возможности. Интересный комментарий к вопросу о продлении рода человеческого вообще.

Они оба говорили на девяти языках. Сначала они попытались заговорить с Билли по-польски, потому что он был одет таким шутком, а несчастные поляки были невольным предметом шуток во Второй мировой войне.

Билли спросил по-английски, чего им надо, и они сразу стали бранить его по-английски за состояние лошадей. Они заставили Билли сойти с фургона и взглянуть на лошадей. Когда Билли увидал, в каком состоянии его транспорт, он заплакал. До сих пор за всю войну он ни разу не плакал.

Потом, уже став пожилым оптометристом, Билли иногда плакал втихомолку наедине с собой, но никогда не рыдал в голос.

Вот почему эпиграфом этой книги выбрано четверостишие из знаменитого рождественского гимна. Билли и видел часто много такого, над чем стоило поплакать, но плакал он очень редко и хотя бы в этом отношении походил на Христа из гимна:

Ревут быки.
Теленок мычит.
Разбудили Христа-младенца,
Но он молчит.

Билли снова пропутешествовал во времени в вермонтский госпиталь. Завтрак был съеден, посуда убрана, и профессор Рэмфорд поневоле заинтересовался Билли как человеческим

существом. Рэмфорд ворчливо расспросил Билли, уверился, что Билли на самом деле был в Дрездене. Он спросил, как там было, и Билли рассказал ему про лошадей и про чету врачей, отдыхавших на Луне.

Конец у этого рассказа был такой: Билли с докторами распрягли лошадей, но лошади не тронулись с места. У них слишком болели ноги. И тут подъехали на мотоциклах русские и задержали всех, кроме лошадей.

Через два дня Билли был передан американцам, и его отправили домой на очень тихоходном грузовом судне под названием «Луcreция А. Мотт». Луcreция А. Мотт была знаменитой американской суфражисткой. Она давно умерла. Такие дела.

— Но это надо было сделать, — сказал Рэмфорд: речь шла о разрушении Дрездена.

— Знаю, — сказал Билли.

— Это война.

— Знаю. Я не жалею.

— Наверно, там был сущий ад.

— Да.

— Пожалейте тех, кто вынужден был это сделать.

— Жалею.

— Наверно, у вас там, внизу, было смешанное чувство?

— Ничего, — сказал Билли, — вообще все ничего не значит, и все должны делать именно то, что они делают. Я узнал об этом на Тральфамadore.

Дочь Билли Пилигрима увезла его в тот день домой, уложила в постель в его спальне, включила «волшебные пальцы». При Билли дежурила специальная сиделка. Пока что он не должен был ни работать, ни выходить из дому. Он был под наблюдением.



Но Билли тайком выскользнул из дому, когда сиделка вышла, и поехал на машине в Нью-Йорк, где надеялся выступить по телевидению. Он собирался поведать миру о том, чему он выучился на Тральфамадоре.

В Нью-Йорке Билли Пилигрим остановился в отеле «Ройалтон», на Сорок четвертой улице. Случайно ему дали номер, где обычно жил Джордж Жан Натан, редактор и критик. Согласно земному понятию о времени, Натан умер в 1958 году. Согласно же тральфамадорским понятиям, Натан по-прежнему был где-то жив и будет жив всегда.

Номер был небольшой, просто обставленный, помещался он на верхнем этаже, и через широкие балконные двери можно было выйти на балкон величиной с комнату. А за перилами балкона лежал воздушный простор над Сорок четвертой улицей. Билли перегнулся через перила и посмотрел вниз, на снующих взад и вперед людей. Они походили на дергающиеся ножницы. Они были очень смешные.

Ночь стояла прохладная, и Билли через некоторое время вернулся в комнату и закрыл за собой балконные двери. Закрывая двери, он вспомнил свой медовый месяц. В их свадебном гнездышке на Кейп-анн тоже были и всегда будут такие же широкие балконные двери.

Билли включил телевизор, переключая программу за программой. Он искал программу, по которой ему можно было бы выступить. Но для тех программ, в которых позволяют выступать разным людям и высказывать разные мнения, время еще не подошло. Было около восьми часов, а потому по всем программам показывали только всякую чепуху и убийства.

Билли вышел из номера, спустился на медленном лифте вниз, прогулялся до Таймс-сквер, заглянул в витрину захудалой

книжной лавчонки. В витрине лежали сотни книг про прелюбодейство, и содомию, и убийства, а рядом — путеводитель по Нью-Йорку и модель статуи Свободы с термометром на голове. Кроме того, в витрине, засыпанные сажей и засиженные мухами, лежали четыре романа приятеля Билли — Килгора Траута.

Между тем за спиной Билли на здании неоновыми буквами вспыхивали новости дня. В витрине отражались слова. Они рассказывали о борьбе за власть, о спорте, о злобе и смерти. Такие дела.

Билли зашел в книжную лавку.

В лавке висело объявление: несовершеннолетним вход в помещение за лавкой воспрещался. Там можно было посмотреть в глазок фильм — молодых мужчин и женщин без одежды. За минуту брали четверть доллара. Кроме того, там продавались фотографии голых людей. Их можно было унести домой. Фотографии были очень тральфамадорские, потому что на них можно было смотреть в любое время и они не менялись. И через двадцать лет эти барышни останутся молодыми и все еще будут улыбаться, или пылать страстью, или просто лежать с дурацким видом, широко расставив ноги. Некоторые из них жевали тянучки или бананы. Так они и будут жевать их вечно. А у молодых людей все еще будет возбужденный вид и мускулы будут выпуклыми, как пушечные ядра.

Но та часть лавки не соблазняла Билли Пилигрима. Он был в восторге, что увидел в витрине романы Килгора Траута. Их названия он прочел впервые. Он открыл одну из книг. Ничего предосудительного в этом не было. Многие покупатели хватили и листали книжки. Роман Траута назывался «Большая доска». Билли прочел несколько абзацев и понял, что когда-то, много лет назад, уже читал эту книгу в военном госпитале.

Там описывалось, как двух землян — мужчину и женщину — похитили неземные существа. Эту пару выставили в зоопарке на планете по имени Циркон-212.

У этих выдуманных героев романа на одной стене их обиталища в зоопарке висела большая доска, якобы показывающая биржевые цены и стоимость акций, а у другой стены стоял телефон и телеграфный аппарат, якобы соединенный с маклерами на Земле. Существа с планеты Циркон-212 сообщили своим пленникам, что для них на Земле вложен в акции миллион долларов, а теперь дело их, пленников, управлять этим вкладом так, чтобы, вернувшись на Землю, они стали сказочно богатыми.

Разумеется, и телефон, и большая доска, и телеграфный аппарат были бутафорией. Вся эта механика просто служила возбудителем для землян, чтобы те вытворяли всякие штуки перед зрителями зоопарка — вскакивали, метались, кричали «ура», хихикали или хмурились, рвали на себе волосы, пугались до колик или блаженствовали, как дитя на руках у матери.

Земляне отлично записывали курс акций. И это тоже было специально подстроено. Примешали сюда и религию. По телеграфу сообщили, что президент Соединенных Штатов объявил национальную неделю молитвы. Перед этим у землян выдалась на бирже скверная неделя. Они потеряли целое состояние на оливковом масле. И они пустили в ход молитвы.

И помогло. Цены на оливковое масло сразу подскочили.

В другом романе Килгора Траута, который Билли снял с витрины, рассказывалось, как один человек изобрел машину времени, чтобы вернуться в прошлое и увидеть Христа. Машина сработала, и человек увидел Христа, когда Христу было всего двенадцать лет. Христос учился у Иосифа плотничьему делу.

Два римских воина пришли в мастерскую и принесли пергамент с чертежом приспособления, которое они просили сколотить к восходу солнца. Это был крест, на котором они собирались казнить возмутителя черни.

Христос и Иосиф сделали такой крест. Они были рады получить работу.

И возмутителя черни распяли.

Такие дела.

В книжной лавке хозяйничало пять человек, похожих как пять близнецов, — маленьких, лысых, жующих потухшие мокрые сигары. Они никогда не улыбались.

У каждого из них был свой высокий табурет. Они зарабатывали тем, что держали публичный дом из целлулоида и фотобумаги. Сами они никакого возбуждения от этих экспонатов не испытывали. И Билли Пилигрим тоже. А другие испытывали. Смешная это была лавка — все про любовь да про младенцев.

Эти приказчики иногда говорили кому-нибудь — покупайте или уходите, нечего все лапать да лапать, глазеть да глазеть. Были и такие покупатели, которые глазели не на товары, а друг на дружку.

Один из приказчиков подошел к Билли и сказал, что настоящий товар в задней комнате, а что книжки, которые Билли взял читать, лежат на витрине только для отвода глаз.

— Это не то, что вам надо, черт возьми, — сказал он Билли. — То, что надо, там, дальше.

И Билли прошел немного дальше, в глубь лавки, но не до той комнаты, куда пускали только взрослых. Он прошел вглубь из вежливости, по рассеянности, захватив с собой книжку Траута — ту, где рассказывалось о Христе.

Изобретатель машины времени пропутешествовал в библейские времена специально, чтобы дознаться об одной вещи:

действительно ли Христос умер на кресте или его живым сняли с креста и он продолжал жить? Герой книги захватил с собой стетоскоп.

Билли пролистал книгу до того места, когда герой смешался с группой людей, снимавших Христа с креста. Путешественник во времени первым поднялся на лестницу — он был одет как тогда одевались все, и он прильнул к груди Христа, чтобы никто не увидел его стетоскоп, и стал выслушивать его.

В исхудалой груди все молчало. Сын Божий был совершенно мертв.

Такие дела.

Путешественнику во времени — его звали Лэнс Корвин — удалось измерить рост Христа, но не удалось его взвесить. Христос был ростом в пять футов и три с половиной дюйма.

К Билли подошел другой приказчик и спросил, покупает он эту книгу или нет. Билли сказал, да, пожалуйста. Билли стоял спиной к полке с дешевыми книжонками про всякие сексуальные извращения, от Древнего Египта до наших дней, и приказчик решил, что Билли читает одну из них. Он очень удивился, увидав, что именно читает Билли.

— Фу ты черт, да где вы ее откопали? — ну и так далее, а потом стал рассказывать другим приказчикам про психопата, который захотел купить старье с витрины. Но другие приказчики уже знали про Билли. Они тоже наблюдали за ним.

Около кассы, где Билли ожидал сдачи, стояла корзина со старыми малопрстойными журнальчиками. Билли мельком взглянул на один из этих журналов и увидал вопрос на обложке: «Куда девалась Монтана Уайлдбек?»

И Билли прочел эту статью. Он-то хорошо знал, где находится Монтана. Она была далеко, на Тральфамadore, и нянчила их младенца, но журнал, который назывался «Киски-полу-

ночницы», уверял, что она, одетая камнем, лежит на глубине ста восьмидесяти футов в соленых водах залива Педро.

Такие дела.

Билли разбирал смех. Журнал, который печатался для возбуждения одиноких мужчин, поместил эту статью специально для того, чтобы можно было опубликовать кадры из игривых фильмов, в которых Монтана снималась еще девчонкой. Билли не стал смотреть на эти картинки. Грубая фактура — сажа и мел. Фото могло изображать кого угодно.

Приказчики снова предложили Билли пройти в заднюю комнату, и на этот раз он согласился. Занюханый морячок отшатнулся от глазка, за которым все еще шел фильм. Билли заглянул в глазок — а там одна, в постели, лежала Монтана Уайлдбек и чистила банан. Щелкнул выключатель. Билли не хотелось смотреть, что будет дальше, а тут еще к нему пристал приказчик, уговаривая его взглянуть на самые что ни на есть секретные картинки — их особо прятали для любителей и знатоков.

Билли заинтересовался, что они могли там прятать такое уж особенное. Приказчик захихикал и показал ему картинку. Это была старинная фотография — женщина с шотландским пони. Они пытались заниматься любовью меж двух дорических колонн, на фоне бархатных драпировок, обшитых помпончиками.

В тот вечер Билли не попал на телевидение в Нью-Йорке, но ему удалось выступить по радио. Совсем рядом с отелем, где остановился Билли, была радиостудия. Билли увидал табличку на дверях и решил войти. Он поднялся в студию на скоростном лифте, а там, у входа, уже ждали какие-то люди. Это были литературные критики, и они решили, что Билли тоже критик. Они пришли участвовать в дискуссии — жив роман или же он умер. Такие дела.

Вместе с другими Билли уселся за стол мореного дуба, и перед ним поставили отдельный микрофон. Ведущий программу спросил, как его фамилия и от какой он газеты. Билли сказал: от «Илиумского вестника».

Он был взволнован и счастлив. «Попадете в город Коди, спросите там Бешеного Боба!» — сказал он себе.

В самом начале программы Билли поднял руку, но ему пока что не дали слова. Выступали другие. Один критик сказал, что сейчас, когда один вирджинец, через сто лет после битвы при Аппоматоксе, снова написал «Хижину дяди Тома», пришло самое время похоронить роман. Другой сказал, что теперешний читатель уже не умеет читать как следует, так, чтобы у него в голове из печатных строчек складывались волнующие картины, и потому писателям приходится поступать, как Норман Мэйлер, то есть публично делать то, что он описывает. Ведущий спросил участников беседы, какова, по их мнению, задача романа в современном обществе, и один критик сказал: «Дать цветные пятна на чисто выбеленных стенах комнат». Другой сказал: «Художественно описывать взрыв». Третий сказал: «Научить жен мелких чиновников, как следовать моде и как вести себя во французских ресторанах».

Потом дали слово Билли. И тут он своим хорошо поставленным голосом рассказал и про летающие блюдца, и про Монтану — словом, про все.

Его деликатно вывели из студии во время перерыва, когда шла реклама. Он вернулся в свой номер, опустил четверть доллара в электрические «волшебные пальцы», подключенные к его кровати, и уснул. И пропутешествовал во времени на Тральфамадор.

— Опять летал во времени? — спросила его Монтана. У них под куполом стоял искусственный вечер. Монтана кормила грудью их младенца.

— М-мм? — спросил Билли.

— Ты опять летал во времени. По тебе сразу всегда видно.

— Угу.

— А куда ты теперь летал? Только не на войну. Это тоже сразу видно.

— В Нью-Йорк.

— А-а, Большое Яблоко!

— А?

— Так когда-то называли Нью-Йорк.

— Ммм-мм...

— Видел там какие-нибудь пьесы или фильмы?

— Нет. Походил по Таймс-сквер, купил книжку Килгора Траута.

— Тоже мне счастливчик! — Монтана никак не разделяла его восхищение Килгором Траутом.

Билли мимоходом сказал, что видел кусочек скабрезного фильма, где она снималась. Она ответила тоже мимоходом. Ответ был тральфамадорский — никакой вины она не чувствовала.

— Ну и что? — сказала она. — А я слышала, каким шутком ты был на войне. И еще слышала, как расстреляли школьного учителя. Тоже сплошное неприличие — такой расстрел. — Она приложила младенца к другой груди, потому что структура этого мгновения была такова, что она должна была так сделать.

Наступила тишина.

— Опять они возятся с часами, — сказала Монтана, вставая, чтобы уложить ребенка в колыбель. Она хотела сказать, что сторожа зоопарка пускают часы под куполом то быстрее, то медленнее, то снова быстрее и смотрят в глазок, как себя поведет маленькая семья землян.

На шее у Монтаны висела серебряная цепочка. С цепочки на грудь спускался медальон, в нем была фотография ее мате-

ри-алкоголички — грубая фактура: сажа и мел. Фото могло изображать кого угодно. Сверху на медальоне были выгравированы слова:



10

Роберт Кеннеди, чья дача стоит в восьми милях от дома, где я живу круглый год, был ранен два дня назад. Вчера вечером он умер. Такие дела.

Мартина Лютера Кинга застрелили месяц назад. Он тоже умер. Такие дела.

И ежедневно правительство США дает мне отчет, сколькоtrupов создано при помощи военной науки во Вьетнаме. Такие дела.

Мой отец умер несколько лет назад естественной смертью. Такие дела. Он был чудесный человек. И помешан на оружии. Он оставил мне свои ружья. Они ржавеют.

На Тральфамadore, говорит Билли Пилигрим, не очень интересуются Христом. Из земных образов тральфамадорцев больше всего привлекает Чарлз Дарвин, который учил, что тот, кто умирает, должен умирать, что трупы идут на пользу. Такие дела.

Та же мысль лежит в основе романа «Большая доска» Килгора Траута. Существа с летающих блюдец, похитившие героя книги, спрашивают его о Дарвине. Они также спрашивают его о гольфе.

Если то, что Билли узнал от тральфамадорцев, — истинная правда, то есть что все мы будем жить вечно, какими бы

мертвыми мы иногда ни казались, меня это не очень-то радует. И все же, если мне суждено провести вечность, переходя от одного момента к другому, я благодарен судьбе, что хороших минут было так много.

В последнее время одним из самых приятных событий была моя поездка в Дрезден с О'Хэйром, старым приятелем еще с войны.

В Берлине мы сели на самолет венгерской авиакомпании. У пилота были усы в стрелку. Он был похож на Адольфа Менжу¹. Пока заправляли самолет, он курил гаванскую сигару. Когда мы взлетали, никто не попросил нас пристегнуть ремни.

Когда мы поднялись в воздух, молодой стюард подал нам ржаной хлеб, салями, масло, сыр и белое вино. Раскладной столик на моем месте никак не открывался. Стюард пошел в служебное отделение за отверткой и вернулся с консервным ножом. Этим ножом он открыл столик.

Кроме нас было еще шесть пассажиров. Они говорили на многих языках. Им было очень весело. Под нами лежала Восточная Германия, там было светло. Я представил себе, как на эти огни, на эти села, города и жилища бросают бомбы.

Ни я, ни О'Хэйр никогда не думали разбогатеть — и — однако, мы стали очень состоятельными.

— Попадете в город Коди, в Вайоминге, — лениво сказал я ему, — спросите Бешеного Боба.

У О'Хэйра с собой был маленький блокнот, и там в конце были даны цены почтовых отправок, длина авиалиний, высота знаменитых гор и другие ценные сведения о нашем мире. Он искал данные о численности населения в Дрездене, но в блокноте этого не было, зато он там нашел и дал мне прочесть вот что:

¹ Адольф Менжу (1890—1963) — американский киноактер.

В среднем на свете ежедневно рождается 324 000 младенцев. В то же время около 10 000 человек ежедневно умирают от голода или недоедания. Такие дела. Кроме того, 123 000 умирают от разных других причин. Такие дела. В результате чистый прирост населения во всем мире ежедневно равняется 191 000 человек. Бюро учета народонаселения предсказывает, что до 2000 года население Земли увеличится вдвое и дойдет до 7 000 000 000 человек.

— И наверно, все они захотят жить достойно, — сказал я.

— Наверно, — сказал О'Хэйр.

* * *

Тем временем Билли Пилигрим снова пропутешествовал в Дрезден, но не в настоящее время. Он вернулся в 1945 год, в третий день после разрушения Дрездена. Билли вместе со всеми остальными вели к развалинам под караулом. И я был там. И О'Хэйр там был. Двое суток мы провели в сарае на постоялом дворе у слепого хозяина. Там нас нашло начальство. Нам дали задание. Велено было собрать вилы, лопаты, ломы и тачки у соседей. С этим нехитрым оборудованием мы должны были отправиться в определенное место, в развалины, и там приступить к работе.

На главных магистралях, ведущих в город, стояли заграждения. Немецкому населению запрещалось идти дальше. Им не разрешалось производить раскопки на Луне.

А военнопленных из многих стран собрали в то утро в определенном месте, в Дрездене. Было решено отсюда начать раскопки. И раскопки начались.

Билли оказался в паре с другим копачом — маори, взятым в плен при Тобруке. Маори был шоколадного цвета. На лбу и щеках у него были вытатуированы спиральные узоры. Билли и маори раскапывали бездушный и косный щебень Луны. Все осыпалось, то и дело происходили мелкие обвалы.

Копали сразу во многих местах. Никто не знал, что там окажется. Часто они ни до чего не докапывались — упирались в мостовую или в огромные глыбы, которые нельзя было сдвинуть. Никакой техники не было. Даже лошади, мулы или быки не могли пройти по лунной поверхности.

Потом Билли с маори и с теми, кто помогал им копать яму, наткнулись на дощатый настил, подпертый камнями, вклинившимися друг в друга так, что образовался купол. Они сделали дырку в настиле. Под ним было темно и пусто.

Немецкий солдат с фонарем спустился в темноту и долго не выходил. Когда он наконец вернулся, он сказал старшему, стоявшему у края ямы, что там, внизу, десятки трупов. Они сидели на скамьях. Повреждений видно не было.

Такие дела.

Старший сказал, что надо расширить проход в настиле и спустить вниз лестницу, чтобы можно было вынести тела. Так была заложена первая шахта по добыче трупов в Дрездене.

Постепенно такие шахты стали насчитываться сотнями. Сначала трупы не пахли, и шахты походили на музеи восковых фигур. Но потом трупы стали загнивать, расползаться, и вонь походила на запах роз и горчичного газа.

Такие дела.

Маори, с которым работал Билли, надорвался и умер. После того, как он по приказу спустился работать в этот смрад, его так выворачивало, что он надорвал себе кишки.

Такие дела.



Пришлось ввести новую технику. Трупы больше не стали подымать на поверхность, солдаты сжигали их огнеметами на месте. Стоя над убежищами, солдаты просто пускали туда струю огня.

Где-то поблизости бедного старого учителя Эдгара Дарби поймали с чайником, который он вынес из катакомб. Его арестовали за мародерство. Его судили и расстреляли.

Такие дела.

* * *

А где-то была весна. Добыча трупов прекратилась. Солдаты ушли на русский фронт. В окрестностях женщины и дети рыли окопы. Билли и всех его дружков держали взаперти в сарае, на окраине. Однажды утром они проснулись и увидели, что двери не заперты. Вторая мировая война в Европе окончилась.

Билли со всеми вместе вышел на тенистую улочку. Деревья распускались. Ни пешеходов, ни транспорта вокруг не было. Только один пустой фургон, запряженный парой лошадей, проезжал мимо. Фургон был зеленый и похож на гроб.

Разговаривали птицы.

Одна птичка спросила Билли Пилигрима: «Пьюти-фьют?»

1968



Список иллюстраций

- С. 6. Портрет Курта Воннегута.
- С. 15. Д. Р. Оппенгеймер (1904—1967).
- С. 23, 39, 75, 77, 103, 113, 129, 149, 175, 197, 225.
Pin-Up. США. 1960-е годы.
- С. 28-29, 86-87, 160-161, 188-189, 232-233.
Фотохроника. СССР.
- С. 47. Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер.
- С. 48-49, 50-51, 52-53. Испытания атомной бомбы.
Фотографии.
- С. 64-65. Лаборатория по созданию атомной бомбы.
Лос-Аламос, США.
- С. 125. Фульхенсио Батиста. Президент Кубы, 1940—1944.
- С. 137, 157, 178-179, 223, 344-345, 349, 353, 378-379, 493.
Фотохроника. Третий Рейх.
- С. 141. Дада Иди Амин. Президент Уганды, 1971—1979.
- С. 202-203, 216-217, 228-229, 240-241, 250-251, 262-263,
268-269. Кадры из фильма «Послезавтра».
- С. 211. Мао Цзэдун. Председатель КНР, 1954—1959.
- С. 255. Пилот бомбардировщика «ENOLA GAY» полковник
Пол В. Тиббетс, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму.
- С. 259. 9 августа 1945. Нагасаки. Ядерный взрыв.
- С. 274-275. Хиросима после ядерной бомбардировки.
- С. 287, 289, 318-319, 371, 383. Агитационные плакаты.
США. 1941—1945.
- С. 298-299, 331, 336-337, 359, 361, 368-369, 386-387, 392-393,
397, 413, 421, 438-439, 448-449, 467, 468-469, 470, 475,
492, 496-497, 513. Фотохроника. США.
- С. 307, 437, 453. Рекламные полосы американского журнала.
- С. 471, 472-473, 474, 511. Дрезден после бомбардировки
американскими и английскими войсками. 1945.

Содержание

<i>Об авторе</i>	7
<i>Колыбель для кошки. Перевод Р. Райт-Ковалевой</i>	11
<i>Бойня номер пять, или Крестовый поход детей. Перевод Р. Райт-Ковалевой</i>	283
<i>Список иллюстраций</i>	514

Курт Воннегут
Колыбель для кошки
Бойня номер пять,
или Крестовый поход детей

Подписано в печать 08.08.2008

Гарнитура Arno Pro
Бумага Alterna Design

Издательский дом «Дейч»
www.deichbooks.com

Отпечатано в типографии
Print&Art Faksimile, Austria
Тираж 99 экз.

Переплетные работы выполнены
г-ми Алоизом Гутманом
и Манфредом Яндлом

Издательский дом «Дейч» благодарит за сотрудничество
Российскую государственную библиотеку по искусству

ББК 84 (7Сое)-445
УДК 821.111(73)
В 73

ISBN 978-5-98691-047-5

